1

Юрий Домбровский



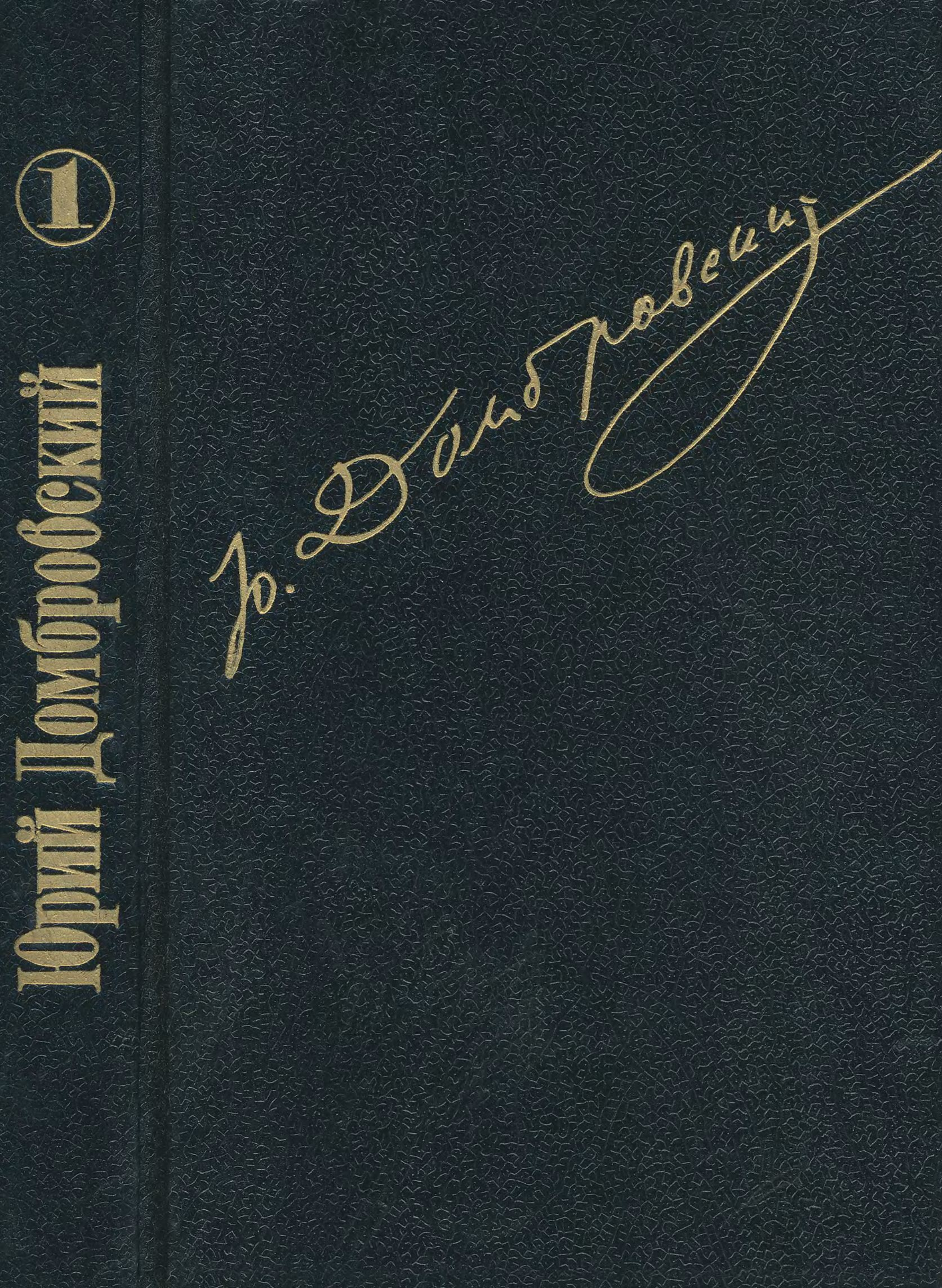
Юрий Домбровский

собрание сочинений
в шести томах

том первый

2 3 4 5 6

издательский центр
«Терра»


1
Юрий Домбровский
Ю. Домбровский



собрание сочинений

в шести томах

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР ••ТЕРРА••

Юрий Домбровский

собрание сочинений в шести томах

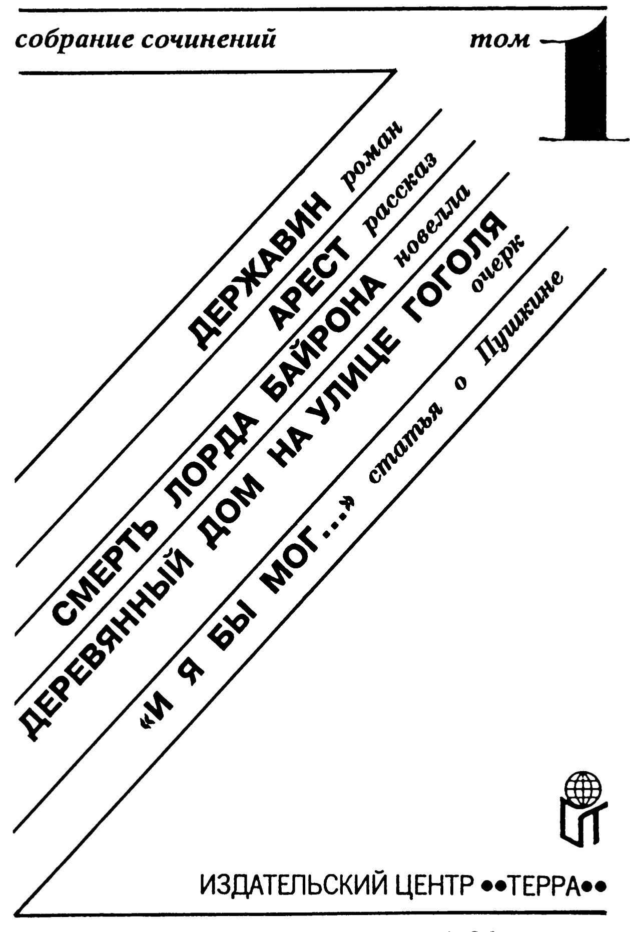


ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ••ТЕРРА••

МОСКВА 1992

Юрий Домбровский

собрание сочинений *том* 1



ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ••ТЕРРА••

МОСКВА 1992

ББК 84, Р7
Д 66

Редактор-составитель
К. Турумова-Домбровская

Художник
В. Виноградов

Д $\frac{4702010200-062}{АЗО (03) -92}$ Подписное

ISBN 5-85255-172-4 (т. 1)
ISBN 5-85255-173-2

Десятилетия имя и произведения этого замечательного писателя были в тени. Мы только-только начинаем по-настоящему осмысливать величину личности и значительность его творчества.

Внешнюю канву биографии Юрия Осиповича Домбровского легко выразить довольно короткой колонкой дат и довольно кратким пояснением к ним:

12 мая 1909 года — родился в Москве в семье адвоката;

1932 год — окончил Высшие литературные курсы; первый арест, выслан из столицы в Казахстан;

1937 год — второй арест;

1938 год — опубликована повесть "Державин" ("Крушение империи");

1939 год — третий арест;

1939-1943 годы — в заключении на Колыме;

1943-1944 годы — работа над романом "Обезьяна приходит за своим черепом";

1946 год — работа над циклом новелл о Шекспире "Смуглая леди";

1949 год — четвертый арест;

1949-1955 годы — в заключении на Крайнем Севере и в Тайшете;

1956 год — реабилитирован за отсутствием состава преступления;

1959 год — опубликован роман "Обезьяна приходит за своим черепом";

1964 год — в "Новом мире" опубликован роман "Хранитель древностей"; заключен с журналом договор на роман "Факультет ненужных вещей";

1969 год — вышла книга "Смуглая леди";

1974 год — опубликована в Алма-Ате книга очерков о казахских художниках "Факел";

1978 год — в начале весны в Париже опубликован роман "Факультет ненужных вещей";

29 мая 1978 года — скончался; похоронен на Кузьминском кладбище Москвы.

За безмолвными *здесь* — на бумаге — датами *там* — в реальной жизни — встают тысячи людей, сотни событий, десятки городов.

Кровавая круговерть, гордость и позор, жизнь и смерть, любовь и разлука, предательство и верность — *там*.

Малюсенький дефис между тридцать девятым и сорок третьим годами, сколько же таит он за собой! И как много сокрыто за другим дефисом — между сорок девятым и пятьдесят пятым годами!

Нам не пережить пережитого писателем. К счастью, не пережить. Он остался несломленным и гордым, а какими бы вернулись *оттуда* мы? Кто поручится, что тоже несломленными и гордыми? Кто поручится, что у нас остались бы еще силы писать стихи?

Даже в пекле надежда заводится,
Если в адские вхожа края.
Матерь Божия, Богородица,
Непорочная дева моя.

Она ходит по кругу проклятому,
Вся надламываясь от тягот,
И без выбора каждому пятому
Ручку маленькую подает...

Это — начало стихотворения "Амнистия", написанного Ю.Домбровским зимой 1940 года на Колыме. Боль — и свет! Страдание — и надежда! Безверие — и глубочайшая вера! И — жизнь. Для кого-то — *будничная*.

Пока это жизнь, и считаться
Приходится бедной душе
Со смертью без всяких кассаций,
С ночами в гнилом шалаше.
С дождями, с размокшей дорогой,
С ударом ружья по плечу.
И с многим, и очень со многим,
О чем и писать не хочу.

И он об *этом*, по сути дела, не писал, уступив место хроникеров другим: Александру Солженицыну, Варламу Шаламову, Евгении Гинзбург. Сам Ю.Домбровский в романе "Факультет ненужных вещей" осмыслил глубинную природу *этого*.

Яркое, резкое, основанное на динамичных столкновениях и контрастах политическое бытие (пример тому — Солженицын) не органично для Ю. Домбровского. Он весь — в бытии философском.

Виктор Лихоносов еще в 1968 году в повести "Люблю тебя светло" с присущей ему лиричностью отобразил это свойство души Ю. Домбровского.

А через несколько лет в автобиографическом романе "Прощание из ниоткуда" писатель противоположного темперамента — Владимир Максимов — как бы закрепил эту особенность миропонимания Юрия Осиповича, уж так ломанного Системой, так мучимого ею, но оставшегося Поэтом несмотря ни на что. Поэтом в главном — в отношении к жизни: без оголтелой злобы; с осознанием хрупкости ее смысла; с ежесекундным ощущением неслучайности нашего явления из тьмы на свет.

"Выезжал я из Москвы в ростепель, в хмурую и теплую погодку. То и дело моросил дождичек, и только-только начали набухать за заборами, на мокрых бульварах и в бутылках на подоконниках бурые податливые почки. Провожали меня с красными прутиками расцветшей вербы, потешными желтыми и белыми цветами ее, похожими на комочки пуха. А здесь я очутился среди южного лета. Цвело все, даже то, чему вообще цвести не положено, — развалившиеся заплоты (трава била прямо из них), стены домов, крыши, лужи под желтой ряской, тротуары и мостовые".

Это — начало романа "Хранитель древностей". О первых впечатлениях Зыбина, литературного двойника Ю. Домбровского, от Алма-Аты. Пейзаж нарисован словно бы и не пережившим пятнадцатилетний ад человеком: цветение, сияние, радость, которые не блекнут и на последующих страницах и этого романа, и его продолжения "Факультета ненужных вещей", хотя там уже примешана к ним боль, а лирика освещена высокой мыслью — о праве и бесправии в тоталитарном обществе.

Он сполна испытал "прелести" времени, в которое ему выпало жить и работать. Уточним: жить — честно, работать — честно.

Иногда трудно представить, как в атмосфере литературы, примитивной до силуэтности наскальных рисунков, могли созреть и воплотиться (пусть только в виде неизданных ру-

кописей) замыслы романа "Обезьяна приходит за своим черепом" или цикла новелл о Шекспире — "Смуглая леди".

На самом деле, не поленитесь, воскресите в памяти прозу или поэзию полувековой давности. Что осталось от нее? Где ее хваленые "шедевры", плакатные в своей первооснове, неправдоподобно-жизнерадостные? Исчезли. Растаяли, "яко дым". А помним мы и читаем сейчас вещи тогда до печатного станка не дошедшие или дошедшие с большим трудом. Среди первых и произведения Ю. Домбровского.

"Доходяга", вышвырнутый из советского концлагеря умирать, вынес с собою оттуда замысел романа "Обезьяна приходит за своим черепом", тема которого как бы витала в воздухе, — шла война с фашизмом. Участвовать в ней непосредственно Ю. Домбровский не мог, но сполна использовал доступную ему — писателю — возможность сразиться с "коричневой чумой".

Роман этот не мог в то время "прийтись ко двору". И не пришелся. От момента написания "Обезьяны" до момента публикации пролег временной отрезок длиной в пятнадцать лет. Все последующие произведения Ю. Домбровского ждала похожая судьба — страшная, как казалось когда-то, счастливая, как оказалось ныне.

Но, с другой стороны, это запоздавшее на многие годы признание, как обворовало оно и нас, и писателя, вынужденного, как он писал сам, "зарабатывать на жизнь подсобными литературными и окололитературными работами"! Он много (и хорошо!) переводил с казахского языка; часто писал внутренние рецензии на произведения, отнюдь не требующие его энциклопедических знаний и его выдающегося писательского дара.

Ю. Домбровский в жизни был очень разный. Один — когда изредка появлялся в ЦДЛ; другой — когда штудировал книги в библиотеке или приходил в книжный магазин; третий — в любимом Доме творчества Голицыно, где ему работалось лучше всего; четвертый — в Алма-Ате, куда часто и надолго уезжал; пятый — беседующий о чем-нибудь с любым из прохожих в любой географической точке, куда заносили его судьба или случай; шестой — дома; седьмой — с грибным лукошком в осеннем подмосковном лесу.

Внешне он мало походил на писателя (как и всякий настоящий писатель!), хотя именно писателем был до мозга

костей. Своим негромким присутствием в литературе Ю.Домбровский многих удерживал от фальши, от чрезмерного самолюбования и завышенных самооценок, учил объективному взгляду на происходящее вокруг. Даже если об этом прямо не говорилось. Однако личный пример Ю. Домбровского подразумевал, что жить можно и надо только так — постоянно помня о великой, неизменной во времени Культуре.

Как бы отсутствующий в "текущем литературном процессе", Ю. Домбровский несомненно и всегда присутствовал в русской литературе, которой *текущие* проблемы и *текущие* запросы власть предержащих смешны из-за их гротескности и несоответствия запросам Истории.

Если вдуматься, то совсем не случайно "последние из могикан" серебряного века русской литературы Б. Зайцев и Г. Адамович отозвались на появление "Хранителя древностей": первый — письмом автору, второй — рецензией на роман. И так же совсем не случайно в орбиту Ю. Домбровского оказались вовлеченными многие из видных современных писателей: Ю. Казаков и В. Лихоносов, В. Максимов и Ю. Давыдов, Б. Окуджава и Ф. Светов, Ч. Амираджиби и Ф. Искандер... Список можно длить и длить.

После публикации "Хранителя древностей" в "Новом мире" редакция журнала признала роман лучшим материалом года. Автор получил премию и пригласил Твардовского, Виктора Некрасова, некоторых сотрудников журнала отметить это событие в "Метрополе".

— Но все прошли, — рассказывал Юрий Осипович своему алма-атинскому другу Павлу Косенко, — а я разделся — и меня не пропускают: я, оказывается, в тот день пиджак не надел, прямо под пальто пестрая рубаха. Не пропускают ни в какую. Не знаю, что и делать, неловко же — пригласил... К счастью, Твардовский зачем-то выглянул. Увидел меня, понял, в чем дело, вздохнул, достал удостоверение депутата Верховного Совета, показал швейцару и метрдотелю: "Отойдемте сюда, в сторонку". Я и прошмыгнул. Твардовский — им: "Спасибо, больше мне от вас ничего не нужно". Потом мне говорил: "Ну, хорош! В каком бы положении мы оказались, денег же ни у кого нет..."

В этой жанровой сценке то существенно, что она показывает: Ю. Домбровского *можно было не пускать*. И не пускали.

И все-таки в результате он попадал! Будь то ресторан, будь то цель посерьезнее — литература, к примеру.

Через семь лет после смерти Ю. Домбровского в издательстве "Советский писатель" вышел солидный однотомник его прозы. В предисловии Юрий Давыдов, старый друг писателя, в частности, писал:

"Духовная продукция проверяется не числом учетно-издательских листов, а временем. Медленно, но верно происходит тайное голосование, решающее участь художника. Иные рукописи попадают в типографию тотчас — потому лишь, что промедли день, другой, и они — прах. Есть и такие, что могут подождать, — им предстоит долгое бытие. Приспеет срок, выдадут в свет Собрание сочинений Юрия Домбровского..."

Похоже, приспел. Начинается бытие, на которое произведения Ю. Домбровского и рассчитаны!

Михаил Латышев

ДЕРЖАВИН *роман*

Глава первая

ГЕНЕРАЛ СМОТРИТ В ОКНО

I

Генерал смотрит в окно. На улице мороз. Свежий ветер раскачивает фонари и срывает шапки с прохожих.

Через стекло дверей генерал видит статуи, застывшие в странных позах. Он всматривается, прищуривая близорукие глаза. Но дальше, в глубине передней, царит подводный мрак, и он может различить только занесенные руки, полусогнутые колени, вскинутые головы, выгнутые груди.

Толпа зевак стоит около дверей.

И почему их не гонят, — думает генерал.

Если смотреть с улицы, тела богов кажутся синеватыми от сумерек и плохого стекла.

Зеваки смеются.

Ветер. Мороз. Снег.

Гости все еще продолжают прибывать. Вышел из кареты старик, поддерживаемый двумя слугами. Он еле бредет, нащупывая неверной ногой снежную дорогу. Офицер в домино вылезает из дешевой наемной кареты. Он смугл, худощав, длиннолиц. При ходьбе стан его сохраняет ту деревянную неподвижность и стройность, когда кажется, что даже колени издают звук сокращающейся пружины. Как он идет! Как он идет! Генерал доволен. Муштра, выучка! Хорошая военная школа. Молодец! Молодец!

Он встает со стула и, хромая, отходит от окна.

В дальнем зале гремит музыка и слышится дробный стук каблуков.

Там танцуют.

Наклонив набок большую кудлатую голову, он прислушивается. Нет, эта музыка ему незнакома. Впрочем, он отмечает плохую сыгранность отдельных партий, недостаточную отчетливость басовых нот... От этого звук получается сиплым и волокнистым.

Он недовольно качает головой. Впрочем, темп и беглость исполнения удовлетворительные. Что они играют? Он нахмуривает брови и закрывает глаза. Нет, эту пьесу он не знает и не слышал. Это что-то совсем новое.

Льется легкая, искрящаяся мелодия; на какой-то неслыханно высокой ноте заливается флейта. Глухие тона скрипки только оттеняют ее бравурную истерическую радостность. Почему-то звуки скрипки кажутся ему матовыми. Он вдруг представляет себе всю пьесу, как сноп лучей разной силы и протяженности.

Сильнее и глуше всего звучат толстые, короткие лучи.

Выше и чище — тонкие и острые полоски света.

Вся музыка, как паутина, висит в воздухе.

Пауза. Тишина.

Слышно, как расходятся пары.

Скрипят отодвигаемые стулья.

Оркестр начинает играть снова.

Эту пьесу он знает. Барабаня пальцами по стеклу, старый заслуженный генерал мурлыкает глупую, наивную песенку, когда-то спетую им любимой женщине; безымянную песенку о мотыльке и пастушке.

Двое влюбленных смотрят на мотыльков.

Пастух и пастушка.

Пастушка улыбалась, —

поет генерал.

Пастух ее лобзал,
Он пел, она смущалась,
В обоих жар пылал.

Потом, вскоча, помчались
Как легки ветерки,
Вскочили, обнимались
И стали мотыльки.

Очень старый генерал стоит у окна и барабанит пальцами по стеклу.

Зима, ветер, китайские фонарики, как спелые плоды, раскачиваются на ветру. Желтый квадрат стеклянной двери вырывает кусок улицы — и тени, попавшие в этот квадрат, внезапно становятся осязаемыми для глаза.

Вот он видит, прошел бравый солдат Преображенского полка, за ним протрусила женщина с туго набитой корзиной, просеменил маленький толстый человек в треугольной шляпе.

И снова никого.

Офицер вылез из кареты и все еще стоит на улице. Теперь он нагнулся, и от его стройной одеревенелости не осталось ничего. Растерянно он шарит по карманам. Глупый, растерявшийся молодой человек.

Стой! Где он видел его? Генерал морщит лоб. Кажется, это один из офицеров его комиссии. Нет, такого у него нет. Он слегка походит на Бушуева, но тот ниже и значительно полнее. Он перебирает по пальцам — Лунин, Маврин, Бушуев, Кологривов, Семенов.

Семенов? Нет, Семенова он знает хорошо. Это не он. Офицер все еще шарит в карманах. Лицо его, наклоненное набок, делается хмурым и серьезным.

Потерял билет! Потерял билет!

Эх, ворона!

Бибиков отходит от окна, так и не вспомнив фамилии офицера.

Скрипит дверь, женщина входит в комнату.

Она сильно нарумянена, черные брови ее подняты кверху, короткое быстрое дыхание звучит в тяжелой груди. Это его крестница, племянница хозяйки дома.

Вдова.

Мужа убили в прошлом году на войне.

Бибиков смотрит на нее, прищурив глаза.

— Александр Ильич, — говорит крестница, — вы совсем забыли нас. Дамы хотят устроить на вас заговор.

Бибиков улыбается одними губами, устало и добродушно. Со стороны это должно выглядеть так: старый заслуженный генерал, кряхтя, разговаривает со своей крестницей.

— Устал, ангел мой, — говорит он с легкой хрипотцой. — Годы уже не те, да и ноги изменяют. Мне уж, ангел мой, не до балов. Как-никак, 45 лет стукнуло.

Крестница смотрит на него с недоверчивой улыбкой.

Бибиков качает головой.

— Стар, стар становлюсь, моя прелесть. Мне теперь уж о покое думать нужно, а не о светскости, — он показывает одной рукой на парализованную ногу. — Видишь, — говорит он печально и значительно. — Одной ногой в гробу.

Музыка.

Вальс.

Девушка подходит к окну.

Бибиков смотрит на нее прищурившись. Молодая, стройная, красивая! Вздор, что ему 45 лет! Он еще далеко не старик. А если взять горелки и танцы, то он даст сто очков вперед каждому молокососу, не говоря уже об охоте и стрельбе в цель. Руки у него не дрожат, глаз зорок и точен. Это не шутка, что он попадает на лету в ласточку.

Крестница, не отрываясь, смотрит в окно.

Девочка, девочка, ты напрасно улыбаешься. Он ушел из залы не потому, что ему тяжело принимать участие в играх молодежи, не потому, что он получил важное назначение и теперь ничто не идет ему в голову. Нет, он — солдат и привык в точности выполнять

боевые приказы. Его посылали на усмирение польских конфедератов — он шел туда, не моргнув глазом. Его заставляли пороть, вешать, приводить к присяге непокорных крепостных — он делал это. Ему предписали отправиться на театр турецких военных действий — он попросил только разрешения на три дня проехать в Москву. Теперь, после того, как Кар убежал, бросив на произвол судьбы вверенное ему войско и оренбургского губернатора, зажатого, как мышь в ловушке, в осажденном городе, его посылают на край киргиз-кайсацких степей ловить этого неуловимого каторжника Пугачева, назвавшегося именем покойного императора. Что же, он принимает и это назначение.

А не идет он в залу потому, что возвращается его старая болезнь, захваченная во время польской кампании. И сейчас у него кислит во рту и в висках и все тело дрожит мелкой противной дрожью. Во время приступа этой болезни он видит, как вещи выходят из своих осей и делаются двойными. Морщась от боли, он смотрит на двойную лампу, на две кушетки, на четыре канделябра на столе и на камине. Даже собственный голос отдается от него и становится чужим. Он слышит свои слова, как речи третьего лица; они, кажется, даже немного запаздывают по сравнению с его мыслями.

Мир двоится.

Очень неприятное и болезненное ощущение.

Крестница, не отрываясь, смотрит в окно.

Он глядит на ее обнаженную шею и вдруг о чем-то догадывается.

— Есть ли, — спрашивает он, — среди приглашенных поручик, роста высокого, собою статен и прям, лицо длинное и худощавое, лет никак не больше тридцати? Я где-то с ним встречался, — говорит Бибиков небрежно, — да вот фамилию запамятовал.

— Да, есть, — говорит крестница, и шея у ней вспыхивает, — это подпоручик Преображенского полка Державин.

2–1949

II

Подпоручик Преображенского полка Державин поднимается по лестнице и входит в зал. По старой привычке он смотрит по сторонам, но знакомых нет. Не такое это общество, чтобы приглашать сюда Максимова, Толстого, Протасова и других его собутыльников. Надо сознаться, что ему чертовски повезло. Есть люди, которые годами добиваются, чтобы попасть в этот дом, и готовы заплатить любые деньги, чтобы только краешком глаз посмотреть на эти блистательные пары. А ему это ровно ничего не стоит. Ни трудов, ни хлопот, ни денег. Денег!

Он усмехается.

Матушка Фекла Андреевна пишет из Казани, что мужики совсем перестали платить оброк. Как прислали в октябре воз мороженой птицы да полтораста рублей, так больше ничего и не шлют. Хитрят мужики, жмутся, прячут в солому ружья да топоры, ждут своего царя. Ну погодите, бестии! Будут вам вместо царя кнуты да глаголь. Церемониться ведь с вами не станут! Что-то слишком часто вы себе царей находите! Нынешний-то царь — седьмой по счету.

Он проходит по залу мимо группы гладиаторов. Через корзину с живыми цветами на него глядят откинутые головы с белыми слепыми глазами, высовываются полусогнутые руки, блестят копья. Воин лежит на боку, склонив голову. Мраморная кровь хлещет из его раны.

Он смотрит на эту нарядную, выточенную из мрамора смерть и думает о себе.

Неудача преследует его по пятам. Можно ли представить себе жребий более несчастливый? Десять лет, проведенные в солдатчине, дали ему опыт и закалку, но не дали ни денег, ни чинов, ни чести. Другие его сверстники, куда менее острые и трудолюбивые...

Из зала доносится музыка.

Мимо него проходят замаскированные пары.

Идет, хромая, переваливаясь с ноги на ногу, толстый китайский мандарин с дюймовыми ногтями.

Идет араб под руку с киргизским ханом.

Идет кот в малиновом берете с пером.

Идет черный рыцарь с крестом на щите.

Крылатый ангел смерти, без косы, с песочными часами в руках, проносится мимо него.

И снова идут — араб, рыцарь, кот, мандарин.

Ангел смерти возвращается и берет его под руку.

— Идемте, — говорит ангел.

Толстый мандарин появляется на минуту в дверях, смотрит на них и, припадая на одну ногу, уходит обратно.

* * *

Рука в руку они сидят на малиновом диване.

Синеватое зеркало отражает песочные часы и белые крылья, валяющиеся на полу. Державин тоже снял домино и отирает пот с лица.

Девушка в костюме ангела наклоняется над ним. Голос у нее дрожит.

— Гаврила Романович, — говорит она, — я вижу в вас дух смутный и недовольный, вы таитесь и бежите от меня. Нельзя ли представить любовницу более несчастливую?

Державин молчит, хмуря непокорные мальчишеские брови.

Ангел прижимает руки к левой стороне груди.

— Откройте мне ваше опасение, — говорит она умоляюще, — ибо сердце мое разорвано в клочья.

Державин рывком поворачивает свое тяжелое, длинное лицо, и в глазах его вспыхивают злые искры. Она хочет знать все? Отлично! Пусть тогда слушает!

— Неудача преследует меня по пятам, — говорит он грубо. — Мои сверстники произведены в генералы, я же имею токмо чин подпоручика. Кус, брошен-

ный со стола! Ныне я замыслил одно дело, но и тут мои карты оказались битыми.

— Какое? — спрашивает ангел. Он смотрит на нее и думает.

Сказать — не сказать, — она, конечно, может помочь ему. Бибиков послушался бы ее, но лукавый женский пол больше всего боится разлуки.

Сказать или не сказать?

Он поднимает голову и видит, что лицо у ней стало совсем белым. Она, конечно, знает обо всем, и может быть, даже от самого Бибикова.

Сказать или не сказать?

Сказать!

* * *

А дело обстояло так.

Как только он по слухам узнал, что Кар получил абшид и на его место назначен Бибиков, он сейчас же решил использовать это назначение.

Бибикова он знал по рассказам давно.

Из уст в уста то шопотом, с сочувственным покачиванием головы, то громко со смехом и шутками насчет тугого генеральского разумения, передавалась история о его командировке к голштинским принцессам. Через год после восшествия на престол Екатерина, желая удалить из России опасных соперниц, задумала послать верного и острого человека, чтобы узнать о состоянии духа и планах на будущее опасных претендентов. Человек, посланный на разведку, назвал императрице генерала Александра Ильича Бибикова. Он ей показался, и она немедленно отправила его, снабдив целым ворохом чрезвычайнейших инструкций и наставлений. Он очень скоро вернулся к императрице, исполнив все точно и аккуратно: заговорил принцесс, вошел к ним в доверие и самым подробным образом информировал Екатерину о всех тайных и явных планах узников.

Императрица слушала его благосклонно.

Придворные перешептывались.

Все предвещало быструю и легкую карьеру.

Однако всему помешал случай и непоседливый генеральский нрав; когда зашел разговор о личном свойстве семьи голштинских принцесс, бравый генерал вдруг совсем неприлично ударил себя рукой по коленке и стал расхваливать необычайные достоинства одной из пленниц.

— Но они захватчики и авантюристки, — с удивлением возразила Екатерина ретивому генералу по-французски.

— Нужды нет, ваше величество, — ответил Бибиков по-русски. — Нрав у ней преизрядный, мила, хороша собой и обходительна.

Императрица ответила очень сухо, и разговор прекратился.

Никакого награждения Бибиков за эту комиссию не получил.

Зато теперь внезапное назначение опального генерала изумило и обрадовало многих. Поражение Кара, вынужденное бездействие Деколонга, долгая упорная осада Оренбурга, дни которого, видимо, были все-таки сочтены, — все это поселило в умах жителей столицы сильные опасения. А тут еще, как назло, пришло известие, что Кар убежал, оставив войско на произвол судьбы. Шепотом передавали подробности. Военная канцелярия немедленно послала ему навстречу гонца с требованием вернуться обратно. Гонец встретил бравого генерала на 30-й версте от Москвы и передал ему пакет. Кар прочитал его, на минуту задумался, потом махнул рукой и все-таки поехал в Москву. Скандал произошел грандиозный. В Петербург генерала не пустили. Из дворянского клуба, куда он было заехал, выгнали с треском; толпа молодых людей провожала его до двери с гиканьем и свистом. Императрица поторопилась снять с него должность и назначить Бибикова, только что вернувшегося из Польши. Обо всем этом до Державина доходили слухи смутные и противоречивые.

Верно было, однако, то, что Кара разжаловали и на его место назначили Бибикова, который набирает офицеров в тайную комиссию, долженствующую обосноваться в Казани.

Услыхав о Казани, Державин решил попытать счастья. Он был уроженцем этого города.

* * *

Обо всем этом он рассказал нехотя и с большими пропусками. Но еще менее подробно он описывал свое посещение Бибикова. Он просто сказал, что его не приняли.

А на самом деле все произошло так.

Бибиков встретил молодого офицера очень ласково и сразу заинтересовался его предложением.

— Так, значит, вы оный город знаете как старожил? — переспросил он.

Державин подтвердил, что — да, город он знает. Еще бы ему не знать его, когда он уроженец Казани. Его матушка имеет там свой домик в Татарской слободке.

— Татарской слободке? — переспросил Бибиков. — Это ведь, кажется, самая оконечность города?

— Да, да, самая оконечность, его превосходительство хорошо знает город.

— Еще бы, — улыбнулся Бибиков. — Еще бы не знать. — Город, в котором он десять лет тому назад был по именному повелению императрицы. Он там прожил что-то около двух месяцев. Хороший город.

Потом он хмурит брови и спрашивает:

— А чем же вы можете быть полезным комиссии?

Державин приготовился к этому вопросу, он начинает перечислять. Он знает отлично все окрестности Казани — раз; затем: знаком с большинством жителей — это тоже очень важно — два.

— Очень важно, — серьезно подтверждает Бибиков. — А язык вы какой-нибудь знаете?

— Немецкий и татарский, — отвечает Державин.

Бибиков смотрит на него тяжело и неподвижно.

— Так, так, — говорит он, — ну, а по розыску вы когда-нибудь работали?

Державин отрицательно качает головой. Нет, но он понимает кое-что и в этом.

— А именно? — переспрашивает Бибиков.

Ну, если его превосходительство так интересуется, то он работал одним из секретарей комиссии по составлению Уложения.

— А! — Бибиков улыбается и встает с места. — Стрелять, ездить на лошади хорошо умеете? — спрашивает он неожиданно.

Державин утвердительно кивает головой, в полку он всегда считался незаурядным стрелком.

Почему-то Бибикова это интересует в особенности. Он переспрашивает его еще раз: на каком расстоянии он может попасть в цель и сколько даст промахов из ста возможных.

— В молодости, — говорит Бибиков с гордостью, — я сбивал, сударь, яблоко с ветки пистолетным выстрелом и попадал в летящую птицу. Теперь уж так не стреляют.

Он улыбнулся.

— А на конях мы ездили, сударь, как те киргизские наездники, в гости к коим мы сейчас отправляемся. Лошадь и человек сливались в одно тело. — Он грустно качает головой. — Теперь уж, сударь, так не ездят.

Потом, что-то вспомнив, быстро встает с места и сует Державину сухую и прямую, как дощечка, руку:

— Премного обязан за приятный случай знакомства, — говорит он скороговоркой. — Но, к крайнему сожалению, все места заняты. Если б вы пришли вчера вечером...

Он сам провожает его до двери и еще раз дает руку.

— Очень жаль, — говорит он тихо и искренне, —

очень жаль, сударь, что вы опоздали. Но штат у нас твердый, а места все заняты...

— Я вышел на улицу, — говорит Державин, — с сердцем разбитым и сокрушенным. Все мои надежды разрушились.

Девушка кладет ему руку на плечо.

— Итак, вы хотели бросить меня, — говорит она жалобно.

Державин, вспыхнув, вскакивает с места.

Вот и толкуй с бабой. Это она только и поняла из всего разговора. Она прежде всего думает о себе.

— Я жить хочу, Катрин, — говорит он тихо. — Понимаете, жить, а не пресмыкаться. Ну что это за жизнь? Грязные казармы, какие-то цветы на подоконниках, разбитые стекла, грязь, духота. Утром муштра, вечером игра в карты — кто кого обдует. А днем — сон до вечера. Максимов, Семенов, Толстой.

— А меня, — спрашивает Катрин. — Меня вы забыли, Гаврюша.

Державин до хруста заламывает руки.

— Люди в мои годы, — хрипло говорит он, — другие люди — имеют чины, деньги, почет, знатность, а я играю в карты — благопристойно, благопристойно, Катрин, — но играю. Пью водку, пишу скверные любовные стихи, езжу по балам — разве так живут? А если б я был в случае — какие дела бы я сделал!

Катрин молчит.

— Какие дела я бы сделал! — повторяет он, закрыв глаза.

Толстый мандарин незаметно смотрит на них из двери.

Стоят песочные часы, валяются на полу белые лебединые крылья, горят свечи. Державин вдруг соскакивает с кресла и кладет руки ей на плечи.

— Слушай, — горячо шепчет он, — я ведь знаю — Бибиков твой крестный отец, он для тебя все сделает. Дорогая, хорошая, милая, замолви за меня слово, скажи ему только мою фамилию, умоли, чтобы он принял меня в комиссию. Ну что тебе стоит! —

Она качает головой. — Я приеду, я скоро приеду. Год войны считают за десять. Я буду генералом. — Она качает головой. — Я приеду к тебе, и мы повенчаемся. Слышишь? Ладно?

Она качает головой.

— Я буду писать тебе с каждой оказией. Я получу отпуск и приеду сюда и тогда, — он берет обе ее руки и прижимает к груди. — И тогда мы назовем друг друга супругами перед целым миром.

Горят свечи. Валяются на полу лебединые крылья. Бибиков отходит от двери. Он досадливо бросает в угол перчатки с длинными ногтями мандарина. Он устал, он болен, он стар... ведь ему все-таки 45 лет. Чего они все хотят от него?

Державин вскакивает с колен.

— Хорошо, — говорит он, стиснув зубы. — Не хочешь, не надо. Я сам себе сделаю карьеру. Я еду на архипелаг, и ты больше меня никогда не увидишь.

Разгневанный и статный, он быстро идет по залу: она едва поспевает за ним в своем тяжелом белом платье.

Маска, песочные часы, домино валяются на полу.

— Гаврюша! — кричит она, задыхаясь.

Он идет, не оборачивается.

— Гаврюша! Постой!

Колени у ней гнутся и голос срывается как на ветру.

— Хорошо, я сделаю все.

Он останавливается.

— Но вы уедете, а я умру от отчаяния.

Он улыбается.

Боже мой, какие у него ровные, белые зубы, когда он смеется!

III

Он приехал в Казань 25 декабря.

Был первый день рождества, но праздника не чувствовалось. Только кое-где в окнах горели

огни и слышалась заглушенная зимними рамами музыка.

Безлюдье города его поразило.

Державин проезжал по пригородной улице. Она была длинна и пустынна, как одиннадцать лет тому назад, в день его отъезда в Москву.

Пешеходов было мало, конные объезды не попадались. Только на одном из перекрестков ярко горел нехороший желтый огонь и толпились люди. С любопытством, почти болезненным, он начал присматриваться. Над толпой, растопырив тяжелые крылья и разбросав маленькие злые головы, с перекрученными языками, как огромная крылатая рептилия, висел двуглавый орел. Здесь был кабак, или, как его продолжали называть в Казани, — кружало. Державин зябко передернул плечами. Он не доверял людским сборищам, они всегда были ненадежны и загадочны. Случай с петербургскими гренадерами припомнился ему отчетливо. И там был такой же мирный разговор о том, что при приближении Пугачева следует положить ружья на землю и бежать к самозванцу. Чувствования черни темны и обманчивы. Никогда нельзя положиться ни на ее приязнь, ни на ненависть. Нелепая сказка самозванца привлекает куда больше доброхотов и сторонников, чем строгая распорядительность истинного правительства.

Возница повернул лошадь, и тут он увидел, что тишина Казани — явление обманчивое и мнимое.

Улица была ярко освещена, шли люди, ехали розовые модные кареты с открытыми окнами.

Молодой офицер, вздымая синие брызги снега, поравнявшись с ним, дотронулся до фуражки и раскланялся. Державин узнал его не сразу. Это был один из следователей секретной комиссии. Доехав до поворота, офицер вдруг обернулся в его сторону и что-то крикнул. Державин знаком показал, что не слышит. Тогда офицер приложил руку ко рту и крикнул еще раз. При этом он смеялся и левой рукой показывал на бока.

Офицер был пьян.

Державин с неудовольствием вспомнил, что познакомил их Максимов во время одной из чересчур уж пьяных и откровенных попоек. Тогда этот офицер метал талию и все время подмигивал Максимову, который проигрался и был сильно не в духе. В конце игры вспыхнула ссора, и офицер четким, хорошо заученным движением схватился за подсвечник. Максимова, совершенно пьяного, быстро вытолкнули из комнаты. Кажется, он, Державин, спьяна полез тогда удерживать пьяных и уговаривал их успокоиться.

Еще одна повозка проскакала мимо него. Пьяные офицеры сидели в ней. Один из них в расстегнутом мундире, с бессмысленными добрыми глазами, серьезно и строго посмотрел на Державина и вдруг расхохотался. Его сосед — тонкий, большеглазый, как птица, — Державин знал, что это секретарь главнокомандующего, — серьезно и почтительно с ним раскланялся. Потом обернулся к своему соседу и стал что-то ему говорить, качая головой. Державин, боясь, чтобы они не остановились, сильно толкнул ногой своего возницу, и они проскакали дальше.

Снова пошли улицы — узкие, кривые и безлюдные; на мостовой лежал пушистый кристаллический снег, лишь кое-где прорезанный блестящими желтыми полосами. Здесь мало ходили и еще меньше ездили.

Стояли деревянные домики, трухлявые и черные, как застигнутые первым снегом поганки. Баба шла к журавлю, скрипя пустыми ведрами. Не попадалось ни офицера, ни розовых карет с открытыми шторами. Желтый огонь кружала снова привлек его внимание. Около него стояло человек десять, и один из толпы, видимо, сильно пьяный, сидел на снегу и, закинув голову, горланил песню про Ваньку-ключника. Увидев Державина, он вдруг забеспокоился, перестал петь и украдкой толкнул своего соседа. Уже подъез-

жая к дому, Державин вдруг понял причину смеха офицера и удивления пьяного.

На нем был простой мужицкий нагольный тулуп, купленный им за три рубля в Москве.

Из-под тулупа высовывалось длинное острие офицерской шпаги.

IV

Он остановился в доме своей матери. Дом был настолько ветх и дряхл, что звучал во время непогоды, как поющая раковина. В трубе жил испокон веков какой-то особенно упорный и голосистый домовой, который во время бури умел петь на два голоса. Но и вообще дом был всегда полон звуками: трещали половицы, осыпалась известка, гудел ветер на чердаке, шуршали в бумагах полчища тараканов.

Мать Державина — Фекла Андреевна — неслышно плавала в жилом сумраке этих поющих развалин. В последние дни она не находила себе места. Известие о самозванце волновало ее особенно. Ее оренбургские земли были под явной угрозой. Мужики, приезжавшие с той стороны, молчали или пороли такую чушь, что Фекла Андреевна только махала руками. Втайне от сына она плакала и видела пророческие сны. Ей почему-то верилось, что Самара уже взята злодеями и Оренбург доживает последние дни. Несколько раз она попробовала говорить с сыном, но он был заражен таким бешеным оптимизмом, так не понимал ее хозяйские опасения и чаяния, говорил так отрывисто и резко, с трубным звуком в голосе, что она сейчас же умолкала и уходила плакать в свою комнату.

Впрочем, сына она видела мало. Он или сидел в своей комнате, составляя какие-то диковинные бумаги, которые потом тщательно сжигал в печке, или ходил по знакомым праздновать рождество.

Возвращался, впрочем, он задумчивый и не пьяный. И никогда его посещения не были особенно длительными. Он приходил из гостей не позже десяти часов.

V

Державин не ходил по гостям. Он сразу отгородил себя от света тонким и острым делом.

Он ходил по постоялым дворам и слушал.

На нем был нагольный трехрублевый тулуп и тяжелая меховая шапка.

Извоз шел плохо, но мужики были в возбужденном состоянии. Они сидели кружком за столом, говорили о своих делах и мало обращали внимания на молчаливого длиннолицего человека, сидевшего в углу за кружкой пенника. Державин скоро привык к тому, что разговор строился по определенному плану.

Громко говорили о погоде, о деревенских непорядках, о семейных делах (это было самое начало разговора), тише — крупным, громким шепотом — о господах и совсем снижали голос, когда речь касалась недавних событий. Об этих событиях говорили долго и рьяно, приближая головы через столы, размахивая руками и быстро оглядываясь по сторонам.

Иногда случалось, что кто-нибудь приезжал издалека, верст за сто, и тогда его сразу обступало человек пять-шесть.

Полного разговора с начала до конца или даже большого отрывка ему никогда не удавалось услышать, но иногда неосторожно повышенный голос доносил до него две или три фразы. Смысл их был далеко не утешительным. Вор двигался с быстротой фантастической. Он без боя, на черном коне въезжал в город, и духовенство встречало его с крестным ходом. Самара, по слухам, была взята уже давно. Дер-

жавин больше, чем кто-либо, знал, что это неправда. Реляции, приходившие в военную коллегию, были очень тревожны, но отнюдь не заключали прямой угрозы городу. Да и гарнизон, оставленный в стенах Самары, по словам знающих людей, отличался большой боеспособностью и верностью императрице; и, однако, слушая эти цветистые, полные величайших подробностей рассказы о колокольном звоне при въезде Пугачева в город, о духовенстве, с крестным ходом отворяющем ему ворота, о виселицах на соборных площадях, он уверялся, что они очень похожи на истину.

Если так еще не было, то так непременно будет неделю или месяц спустя.

Державин хватался за голову и уходил из кружала разбитый, как после тяжелой физической работы.

Он знал — измена зрела всюду.

Измена зрела всюду.

Один случай поразил его особенно. Это было, кажется, на третий день после его приезда в Казань. Придя домой из своей обычной прогулки по кружалам, он услышал от дворовых, что из оренбургского имения его матери — он знал, что была где-то такая заброшенная и нищая деревушка, перешедшая по наследству к его матери, — приехал староста с оброком и теперь сидит в гостиной, сдает отчет и вполголоса рассказывает о делах, творящихся в том краю. Стараясь не шуметь, Державин поднялся наверх.

Гостиная находилась в нижнем этаже. Она примыкала с одной стороны к людской, с другой — к длинной и скрипучей лестнице, ведущей на галерею. Державин через черный ход спустился по лестнице и остановился вверху на предпоследней площадке.

Странная картина представилась ему.

Мать — грузная, толстая женщина, с синими цыганскими волосами — сидела в кресле, и пухлые щеки ее блестели от слез.

Рядом с ней стоял маленький бородатый мужичонка, в аккуратной рубахе из белого домотканого

холста и уже очень не новых, но опрятно залатанных черных портах.

Свежие, почти сверкающие лапти блестели на его крепких ногах. По всему чувствовался первый хозяин и деревенский краснобай. Мужичонка что-то говорил матери. Иногда он, очевидно, для пущей убедительности, разводил руками и наклонялся к ее лицу. Голос у него был тихий и вразумительный, говорил он медленно и со вкусом, тщательно обдумывая каждую фразу. Державин прислушался.

— А ты сама, милостивица, знаешь, — говорил своим ласковым голосом мужичонка, — какой у нас народ — с бору по сосенке, с горшка по пенке. Ты его за ворот норовишь, а он тебя за руку зубами хватает. И раньше, государыня, изволите знать, каких только слов от него не наслышишься, пока оброк не соберешь, а теперь уж и без оброка не подходи. Осмелел от дурости и как волк зимой — все в стаю, все в стаю норовит. Про молодых-то я уж и не говорю, да и старые теперь все с дубьем да с кольем ходят. Иным часом, матушка, послушаешь, послушаешь, да инда сердце и захолодеет. Господи, владычица, думаешь, да появись в наших краях злодей, так не только все к нему, вору, побегут, еще и в усадьбу красного петуха пустят!

Мать сидела прямая и длинная, крупная слеза ползла по ее щеке.

— Обязательно пустят, — сказала она глухим голосом, — там в барском доме одной утвари на тысячу рублей стоит.

— На тысячу рублей, — радостно подхватил мужичонка, — да ведь и то сказать, теперь и на тысячу рублей того не укупишь, что в одной барской комнате помещается. Разве теперь где такую мебель делают? Надысь Ивашка Гуськов заходил ко мне да все выспрашивал, сколько, мол, по росписи баринов кабинет стоит и кто его делал — из свойских кто али со стороны.

— Зачем это ему? — испугалась матушка.

Мужичонка вздохнул и переступил с ноги на ногу.

— Да разве злого человека узнаешь? — загадочно сказал он и даже плечами пожал. — Я, милостивица, чужих думок не отгадчик. Я только так, по холопской верности, до тебя довожу.

На какую-то долю минуты оба замолчали.

Матушка шуршала бумагами и вздыхала.

— Да он ровно и мужик-то поведения твердого, не смутьян, не бунтарь, — сказала она наконец.

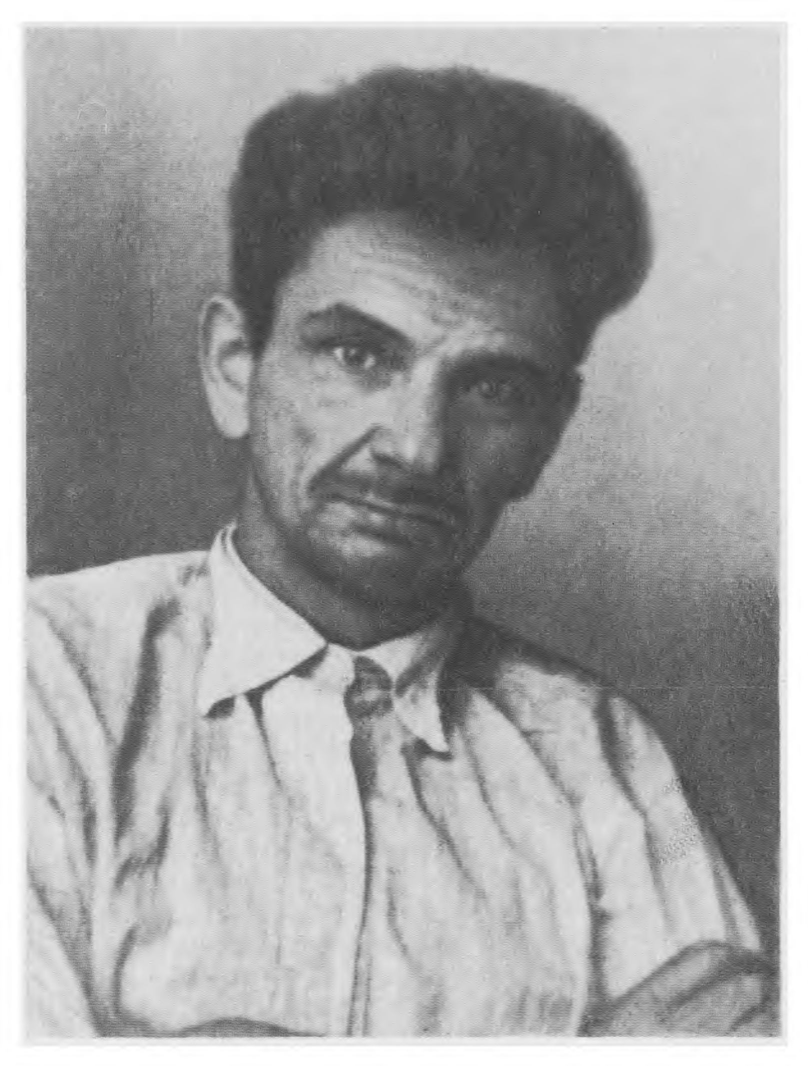
— Не смутьян, матушка, не смутьян, — охотно подхватил мужичонка. — Про кого, про кого, а про него доподлинно сказать можно, что мужик с рассудком. И бога боится, и властей почитает. Да ведь оно, милостивица наша, и все так. Вот сюды ехал — так слыхал, робята обсказывали, — самарский батюшка, уж на что над людьми высоко поставлен, так и тот, когда Пугачев на черном коне въехал, к злодейской ручке яко к царской деснице прикладывался. А ведь он не нашему хамью чета. На своем веку, наверно, не одну академию превзошел. Наш брат мужик — дурак: кто ему свободу посулит, за тем он потянется. Царицыны войска с ружьями и пушечками, а наш вахлак — с дубьем да с косой прет. Ну и случается, милостивица, что косой царские пушечки и отбивают. А потом из них по командирам да по царским солдатикам палят... Пушка, она, матушка, дура. Ей что по своим бить, что по чужим — все одно.

Державин стоял, притаившись за толстой и неуклюжей, как гриб, деревянной подпоркой. Ласковый голос мужика не внушал ему доверия. Матушка внизу сидела неподвижная и скорбная, как каменная фигура на дворцовом фасаде.

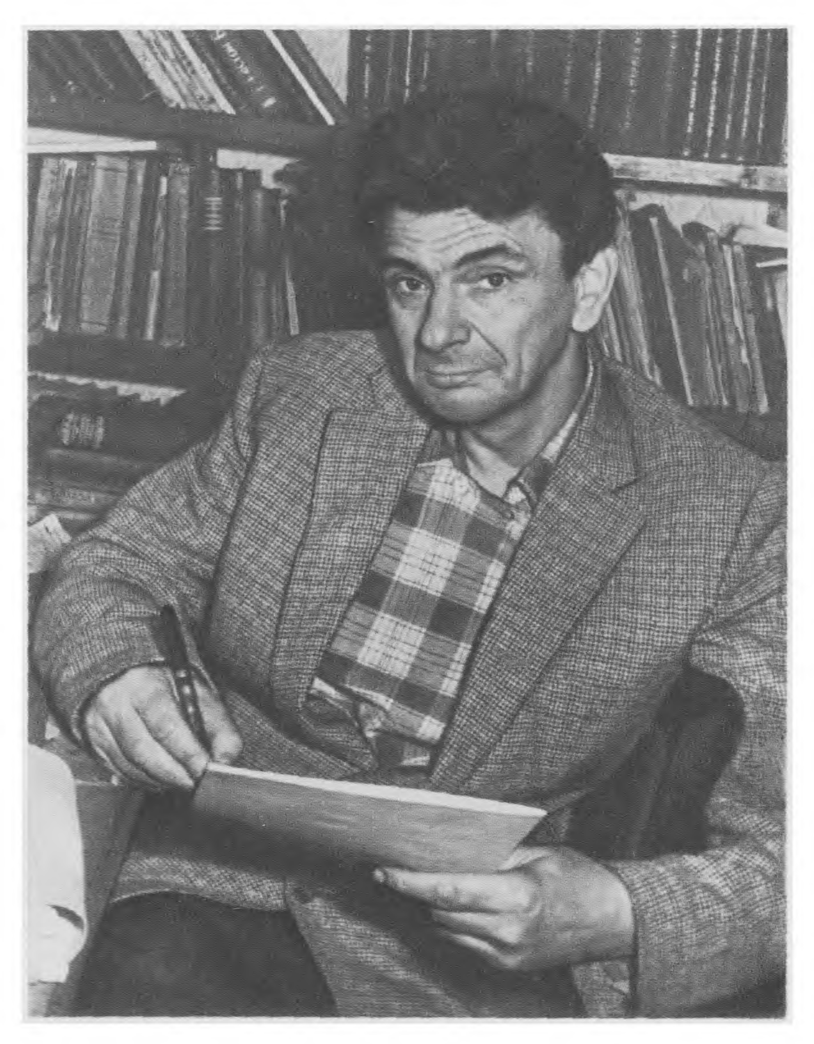
— А надысь что было, — сказал мужичонка и понизил голос до тишайшего шепота, но не слухом, а каким-то шестым чувством Державин все-таки продолжал его слышать. — Приезжал к нам в Богородское черный, носа нет, и говорит как в бочку — бу-бу-бу. Остался ночевать и мужикам советует: вы, го-



Ю. О. Домбровский с сотрудниками журнала «Литературный Казахстан», где впервые была опубликована повесть «Державин» («Крушение империи»). *Алма-Ата, 1938 г.*



После заключения на Крайнем Севере и в Тайшете.
Москва, 1956 г.



Ю. О. Домбровский в своем рабочем кабинете. Фото А. Лесса (А. Лесс — фотокорреспондент, сделавший много снимков к роману «Обезьяна приходит за своим черепом»). *Москва, 1959 г.*



На Цветном бульваре. *Москва, 1959 г.*

Музей-собор в Алма-Ате, где работал Ю. О. Домбровский *в 30-х гг. Алма-Ата, 1961 г.*



Ю. О. Домбровский с женой К. Турумовой-Домбровской в горах Казахстана, где писатель работал над романом «Факультет ненужных вещей». *1964 г.*



Домбровские с Павлом Косенко — редактором журнала «Простор», автором книги о Домбровском «Щедрый хранитель, или Письма друга».

Портрет Ю. Домбровского. Художник Л. Е. Фейнберг. *Голицино, 1969 г.*



Виктор Лихоносов и Домбровский. *Москва, 1966(?) г.*

Ребята подарили писателю котенка Каську. *Алма-Ата, 1967 г.*

Музей-собор в Алма-Ате, где работал Ю. О. Домбровский. *Фото 70-х гг.*

ворит, дураки. Как дураками-вахлаками были, так дураками и подохнете. Что вы, говорит, дураки, смотрите. Вы, говорит, как государь приедет, сразу господ по рукам и по ногам, да в ригу. Наш батюшка, говорит, за каждую барскую голову большие деньги платит. А я ему и говорю, — у нас, мол, господа ничего, хорошие, да и живут они не здесь, а в городе. А он этак на меня одним глазом повел и говорит — что это у вас за старый невежа объявился? У тебя, говорит, старый невежа, борода по колено, а ума в голове как у того воробья, что под стрехой. Нет своих господ, так чужих бей. А что хороший барин — так на то пословица есть: "Хвали сено в стогу, а барина в гробу". Понял? Хотел я тут ему одно слово сказать, да смотрю, мужики как волки ощерились, глаза в землю и молчат, слушают. Вот, матушка, какие у нас дела в деревне делаются. Ивана Горбеца знать изволите? Уж на что лядащий, в чем дух держится, а и тот, почитай, каждый день батюшку ждет не дождется. Вот оно, матушка, какие дела-то.

Фекла Андреевна уже давно не отвечала мужичонке. Она сидела, опустив голову, и плечи ее тряслись.

Тогда Державин спустился на ступеньку ниже.

— Матушка, — крикнул он. — К вам приказчики, в кухне дожидаются.

Фекла Андреевна быстро подняла кверху большие заплаканные глаза и покраснела. Ей было стыдно, что ее умный, взрослый сын застал ее плачущей перед холопом. Она украдкой посмотрела на него. А он уже сошел с лестницы и стоял перед ней прямой и серьезный. Синие глаза смотрели на мать отчужденно, издалека, не любя и не жалея. Старосту он как будто и не видел.

— Я сейчас, Гаврюша, — робко сказала Фекла Андреевна. Собрала бумаги, посмотрела на сына еще раз и вдруг заторопилась к двери. За ней, ковыляя и охая, тронулся было и ласковый мужичонка. Но Державин положил ему руку на плечо, и тот остановился.

— Постой, — сказал он спокойным голосом. — У меня до тебя дело есть. А вы идите, матушка, идите.

Фекла Андреевна увидела, как у сына дрогнула щека, и подумала: ”Вылитый отец”.

Приказчиков в кухне она не застала. Но когда захотела возвратиться обратно низом, то нашла дверь гостиной запертой.

По галерее подниматься она не решилась.

* * *

А староста до самой своей смерти помнил и неоднократно пересказывал землякам разговор с молодым барином.

— Ты что же, — спросил его молодой барин, — будешь старостой села Богородское?

— Так точно, барин, — ответил староста, чувствуя, что его пробирает дрожь от этого спокойного и неподвижного голоса. — Осьмнадцатый год по барской воле в Казань хожу.

— Так, говоришь, неспокойно в деревне? Балуют? — спросил барин.

— Хоть и не балуют, — ответил староста, не зная куда девать глаза, — но если по истине вам обсказать...

— Так вот слушай, — барин взял его за плечи и придвинул к его лицу свое бледное, длинное лицо с расширенными глазами. Дальше он говорил медленно, как гвоздь вбивая каждое слово в сознание старосты. — Если хоть одна мразь посмеет мыслить к самозванцу, вору и бунтовщику Емельке Пугачеву, то я сам, понимаешь, сам, — он ткнул себя пальцем, — приеду с войсками в деревню и повешу каждого десятого. А всех остальных — буду сечь до потери живота. Понял?

Староста молчал.

— Понял? — спросил, не повышая голоса, молодой барин.

— Понял, — ответил тихо староста.

— А вора "батюшкой" называть не смей, — крикнул Державин и взмахнул кулаком. — Он тебе не батюшка, старый хрыч, а раскольник и беглый казак Емелька Пугачев. Слышишь?

— Как не слыхать — слышу, — хмуро ответил староста.

Барин подошел к двери и отпер ее.

— Иди.

Мужичонка дошел до порога и вдруг остановился.

— А у нас, — сказал он хмуро и как будто нехотя, — был, баринок, такой случай: пороли одного мужика за то, что он Пугачева царем величал. Как следует пороли, до кровей, а он после сотой палки встал, улыбнулся барину в лицо и говорит: "Да здравствует Пугач и царь Петр Федорович". Его по такому случаю на рогожу и опять. Всыпали двести палок, — а он отдышался и говорит: "Да здравствует Пугач и царь Петр Федорович". Так до шести раз пороть принимались. Вынесли мокрого, как свежанину, а он лежит и зубы показывает, — понимай, значит, что улыбается. Барин подошел, расчувствовался, сам, говорит, виноват, братец. А тот ему с рогожи улыбается и губами шевелит. Голосу-то нету, так он губами: "Да здравствует Пугач и царь Петр Федорович". Вот как, баринок, бывает. Ты на меня не гляди, я — старик, мне што, я не сожгу и не ограблю, а ты на молодых, баринок, смотри, на молодых, — он поклонился и быстро вышел из комнаты.

Державин бросился за ним следом, подбежал к двери, но раздумал и махнул рукой.

VI

В ночь на 27-е, загоняя по дороге лошадей и колотя станционных смотрителей, в Казань прибыл главнокомандующий. Кроме чрезвычайных и наисекретнейших инструкций, он вез с собой кипу правительственных манифестов, видом и содержанием ко-

торых был явно недоволен. Дорогой несколько раз он вынимал их из сумки, пытался просматривать, но бросал на половине. Манифест был напечатан на шершавой серой бумаге, крупными славянскими буквами, поэтому прочесть и понять его мог только человек, хорошо знающий славянское письмо. Впрочем, он и предназначался для чтения и толкования с церковного амвона.

Бибиков никак не мог понять, что побудило императрицу апробировать эту нескладную, трескучую грамоту. Он думал также, что в и без того сложную военную и политическую ситуацию она неминуемо внесет путаницу и даст возможность для самых смелых толкований. Причин было много. Не говоря уже о совершенно недопустимом слоге, окончательно затемняющем убогий смысл манифеста, и всех этих пышных риторических фигурах, длиннейших и нескладных периодах, обильных славянских речениях, — манифест был просто двусмыслен, за грудой пышных фраз автору манифеста не удалось скрыть самое главное — испуганную растерянность петербургского правительства. Посулы и угрозы, начинающие и кончающие грамоту, производили просто жалкое впечатление. Да, в конце концов, и во всей этой нелепой дуэли императрицы с беглым арестантом реальным были только те 25 тысяч, которые правительство обязывалось выплатить за голову живого Пугачева. За мертвого эта сумма понижалась до 12 тысяч. "А за мою голову, — подумал Бибиков, раздувая ноздри, — Пугачев заплатит 200 тысяч — за мертвого или за живого, все равно".

В Казани его ждала целая куча воинских реляций и сообщений. Он унес их домой и прочел залпом, замкнув двери на ключи и кусая губы. Когда он поднял голову от этой кучи серых бумаг, была уже ночь. Он прошелся по комнате и прильнул воспаленным лицом к стеклу. Да, скрывать нечего, положение ее императорского величества Екатерины Алексеевны, а вместе с ней и его, Бибикова, было куда хуже, чем

он хотел представить себе до сих пор. Он отлично сознавал, что реляциями и манифестами далеко не исчерпывается положение на фронтах. ”Самое страшное, — думал он, — заключается не в отдельных сообщениях о поражениях правительственных войск — их было так много, что под конец он перестал их читать, — даже не в падении таких надежных крепостей, как Яик, Бузулук, Татищево, — об них он знал еще в Москве, — а в самом смысле, природе, характере поражений”. Шагая по комнате и напевая совсем не в лад своему настроению какую-то французскую песенку, он думал, что поистине во всемирной истории, причудливой и изменчивой, никогда не было такой странной войны. Здесь даже о поражениях не приходилось говорить — правительственные войска не сражались: они бежали при одном появлении плохо вооруженного, неорганизованного и малочисленного противника. Крепости, снабженные тяжелой артиллерией и многочисленным гарнизоном, могущие выдержать месячную осаду, при появлении Пугачева сдавались без одного выстрела. Злодей въезжал на черном коне в город, и солдаты вешали на площади своих офицеров. И вешали они их при радостных криках полоненного города и колокольном звоне обесчещенных церквей. Да, да! Это было чедовищно, но Бибиков уже не удивлялся, когда читал реляции о том, что духовенство встречает злодея крестным ходом и колокольным звоном. Он не удивлялся, что церковный хор поет ему ”Достойно есть”, попы ”Благословен грядый во имя господне”, и верил, что, пожалуй, скоро найдется такой сумасшедший, перепуганный насмерть архиерей, который помажет ему лоб на царство. Но самое страшное, самое непоправимое зло было даже не в этих победах, а в том впечатлении, которое они производили на народ.

Пугачев не завоевывал — он освобождал.

Пугачев не злодействовал — он наказывал.

Пугачев не убивал — он карал своих ослушников.

Бибиков подошел к столу и снова наклонился над кучей воинских сводок. Одна из них поразила его особенно.

В Илецком городке, — гласила эта сводка, — сидел храбрый и верный императрице комендант. Не желая дать злодею обложить стены города, он разобрал мост, ведущий к крепостным стенам. При приближении Пугачева солдаты снова собрали мост и отворили крепостные ворота. Первым распоряжением Пугачева при въезде в Илец был приказ повесить храброго коменданта.

С неожиданной ясностью Бибикову вспомнилось донесение молодого офицера Державина. Он был прав, конечно, когда с такой горячностью настаивал на розыске и казни виновных. Солдаты, говорящие о своих симпатиях к неприятелю, не заслуживают ничего, кроме намыленной веревки. Но как поймать того, кто смолчал? Как найти того, кто говорил? Где тот, кто его слушал? Как зовут того, кто слушал, смолчал и не донес?

Ну да, — он тогда же распорядился принять строжайшие меры, послал соглядатаев, запросил секретным отношением командиров о состоянии умов. И те ему ответили, что все обстоит благополучно, что ничто не внушает опасений и солдаты рвутся в бой за свою императрицу.

Рвутся в бой! За свою императрицу!! Черт бы побрал это дурачье! Они до тех пор будут верить в своих солдат, пока не почувствуют веревку, стянутую на шее этими солдатами. Измена! Везде, всюду измена!

Он подошел к карте.

Огромная, в полстены, карта империи Российской была изрезана по всем направлениям и как кровью залита красными чернилами. Это все места сражений, отступлений, проигранных битв, сданных крепостей. Вся эта длинная линия городов, фортов и укреплений от Яицкого городка до Оренбурга — уже взята самозванцем. Он держит в состоянии непрерывной осады два последних важнейших пункта. Не

сегодня, так завтра падут и они. Вся левая сторона Волги, — он провел пальцем по карте снизу вверх, — занята наездами Пугачева. Самара со всех сторон обложена войсками самозванца. Она еще держится, задыхается в этом железном кольце, но продолжает мужественно отражать все его приступы. А дальше идут места, отмеченные косыми красными крестами. Вот тут стоял, терпел поражение и убежал, растеривая свои полки, главнокомандующий армией генерал Кар. Вот здесь был убит Чернышев. В этом месте, в этом и этом местах — вон сколько здесь крестов — был наголову разбит Фрейман. Одна только Самара...

Стук в дверь прервал его размышления. Он рывком повернулся на каблуках и подошел к двери.

— Что надо? — хрипло спросил он, повертывая ключ и открывая дверь наполовину.

Секретарь с птичьими глазами просунул толстый конверт, запечатанный четырьмя сургучными печатями и, всматриваясь в лицо начальника, робко доложил о приходе молодого офицера Державина, который просит принять его немедленно.

Бибиков разорвал конверт и пробежал несколько первых строк реляции. Лицо его побледнело еще больше, он провел рукой по лбу, тупо посмотрел через секретаря и вдруг усмехнулся.

Потом, комкая бумагу в конверт, подошел к столу и на ходу, не оборачиваясь, крикнул:

— Проведи в зало; я сейчас к нему выйду.

VII

Он принял его в большом зале опустевшего губернаторского дома. Державин вошел и остановился у порога. При свете восковых свечей он показался Бибикову еще тоньше, бледнее и строже, чем в первый раз. Бибиков с удовольствием рассматривал его удлиненное мальчишеское лицо с большим ртом и широкими челюстями.

В этом тонком и болезненном юноше, в его быстрых, угловатых движениях, диковатых, а иногда просто нелепых ответах и предложениях, он чувствовал человека совершенно иной породы, чем он сам. Юнцу — Бибиков это почувствовал с первой же минуты свиданий — можно довериться. Он пойдет на всякий риск, на любое сложнейшее, безнадежнейшее предприятие, он шутя рискнет своей головой, если только в случае удачи можно рассчитывать на какое-нибудь, пусть самое незначительное, продвижение по службе. Он честен, добр, горяч, но, пожалуй, нет такого жестокого, кровавого и просто бесчестного дела, которое он отказался бы взять на свою ответственность, если того потребует ближайший начальник. Поистине странное поколение, загадочное, чудовищные люди появляются и растут в конце осемнадцатого столетия!

И все-таки хорошо, очень хорошо, что он, подумав, тогда же согласился принять его на службу! Этому человеку, кажется, можно довериться.

Он сел в кресло и показал Державину на стул около себя.

— Итак, господин Державин, — начал Бибиков, всматриваясь в лицо молодого офицера. — Вот мы и в вашем родном городе. Для вас не секрет, конечно, что положение наше далеко не блестяще. Но надеюсь, что твердая решимость, — он стиснул кулак, — и меры быстрые и мудрые помогут нам восстановить попранную государственную справедливость.

Он говорил, всматриваясь в лицо молодого офицера. Нет, тот твердо выдержал взгляд. Лицо его не дрогнуло улыбкой, он не закусил губы. Этот юнец действительно верил в то, во что давно уж перестал верить его главнокомандующий.

— Приезд вашего превосходительства, — тихо и почтительно ответил Державин, смотря на Бибикова синими влюбленными глазами, — уже сам по себе — победа важности величайшей. Дворянство, покинувшее город, вновь возвращается на свои разоренные

пепелища. Слышно, что и злодеи, о великих ваших подвигах наслышанные, великим страхом обуяны и не знают с чего начать.

Подвиги Бибикова, которыми он гордился в молодости и которые старался забыть под старость, было подавление казанского восстания крепостных, вспыхнувшее десять лет тому назад. Восстание было задушено ловкой и умелой рукой. Главных зачинщиков забили в колодки и сослали в Сибирь, всех остальных для острастки пересекли и отпустили.

Бибиков ничем не показал, что ему неприятно это напоминание, наоборот, он улыбнулся открытой широкой улыбкой и, наклонившись, дружески дотронулся пальцем до плеча офицера.

— Так-то оно так, — сказал он тихо и доверительно, — да есть ли прямой прок от возвращения в город сих тунеядцев и трусов. И пусть бы себе бежали, не жалко. Прямая беда не в этом. Прямая беда в том, что у нас войска нет.

Они помолчали.

— Вы наше положение знаете? — спросил вдруг Бибиков.

Державин ответил не сразу. Бибиков отметил, что он колеблется и выбирает слова. Он знал, что сейчас начнутся советы, и торопил их. ''Да ну же, ну же'' — словно говорил он Державину.

— От крестьян своих много наслышан о ратных подвигах сего вора, — сказал наконец Державин. — Слышно, что Самара, сильной осаде подвергнутая, только что храбростью своих начальников держится.

Он остановился и взглянул на главнокомандующего. Бибиков смотрел на Державина пытливым и неподвижным взглядом. Нет, он ничем ему не поможет. Ни вопросом, ни улыбкой, ни глазами.

— Многие жители, — осторожно сказал Державин и приподнялся, опираясь на подлокотники, — от сих воров великое утеснение терпят. И только на быстрые действия вашего превосходительства все надежды возлагают. А между тем...

Бибиков молчал и раскачивался в кресле.

Державин посмотрел на него, приподнял голову, и на щеках его вдруг вспыхнул румянец.

— А между тем войска бездействуют и ждут приказаний, — внезапно быстро и решительно окончил он.

— Войска? — Бибиков, не торопясь, встал с кресла. — А что вы, любезный господин Державин, под войсками подразумеваете? Вы мою ратную силу знаете?

Встал и Державин.

— Сила и верность непобедимого воинства нашей премудрой матери достаточно по своим воинским подвигам известны, — начал он, и Бибикову вдруг показалось, что юнец просто издевается над ним. Он пытливо заглянул в его лицо и встретил открытый честный взгляд молодого офицера. Голубые и очень ясные глаза сверкали под гладким широким лбом. Тогда он успокоился, снова сел в кресло и сложил руки на животе.

— А как вы полагаете, сударь, — спросил он, полузакрыв глаза, — наши воинские силы могут оказать приличное сопротивление противнику? Сколько у меня солдат, вы знаете?

Офицер молчал. Тогда главнокомандующий взял офицера за плечо двумя пальцами и приблизил свое бледное лицо к его юношескому пухлому лицу.

— У меня, сударь, — хрипло сказал он, раскачивая его взад и вперед, — тысяча двести конных и две с половиной тысячи пехоты! Вот и все, что у меня, сударь, есть. Непобедимое воинство премудрой матери нашей только что из Варшавы отбыть изволило. Мы же сейчас с нашей горсточкой не только репрессалии против злодеев чинить не можем, но и сами в своей жизни не довольно уверены.

Он посмотрел в лицо Державина, ожидая встретить тревогу и недоверие, и вдруг осекся, увидев тот же открытый и честный взгляд, с которым юнец только что говорил о непобедимом воинстве импера-

трицы. Он отпустил плечо Державина и снова сел в кресло.

— Ну, а если бы, — сказал он устало, как будто засыпая, — я доверил вам всю силу воинскую, какой бы совет вы мне дали, сударь?

Державин поднял голову, и глаза его сверкнули. Несколько секунд он молчал, потом военным, четко рассчитанным движением шагнул вперед к стенной карте, и его пальцы как по клавишам заскользили по географическим обозначениям.

— Немедленно, — сказал он трубным голосом, не оборачиваясь и не глядя на Бибикова, — оставить в Казани самое небольшое количество войск на случай осады и двигаться к Оренбургу...

— Так, так, — сказал Бибиков и покачал головой, — преизрядно, дальше.

— В Оренбурге, соединившись с войсками генерала Райнсдорпа, снять осаду и, разбив злодеев, следовать по степи и далее по левому притоку Волги, повсеместно давая баталии и очищая крепости от злодейских сил.

— Так, так, — покачал головой главнокомандующий, — дальше.

— Подойти к Самаре и, соединившись с войсками коменданта сего города... — Державин разгорячился, глаза его сверкали, он прикрыл правой рукой половину Волги. — Двигаться к верховью, разоряя злодейские гнезда и чиня всюду суд и расправу.

— Так, — сказал Бибиков и вдруг поднялся с места, — Самара, друг мой, взята три дня тому назад, а комендант, с которым вы хотели соединиться, повешен на городской площади. Идемте в мой кабинет, я вам покажу реляцию.

VIII

Ночью секретаря главнокомандующего разбудил звон колокольчика. Он был приучен спать одетым и поэтому явился сейчас же.

Бибиков, нечесаный и неряшливый, сидел в кресле и играл гусиным пером. На нем был халат, надетый на голое тело, и на ногах мягкие туфли.

Секретарь вошел и, как обычно, остановился сзади кресла. Бибиков, не обращая на него внимания, продолжал играть пером, и сухие губы его неслышно шевелились. По груде исписанных бумаг и наполовину пустому графину с лимонной водой секретарь сейчас же понял, что главнокомандующий опять мучается бессонницей и уже давно сидит у стола. Прождав несколько минут, он вздохнул и переступил с ноги на ногу.

Главнокомандующий повернул голову и мутно, не узнавая, посмотрел на секретаря. Взгляд был растерянный, нехороший, в одну точку.

— Ваше превосходительство! — испуганно крикнул секретарь и дотронулся до его плеча.

— Ах, это ты, братец, — сказал Бибиков и вдруг улыбнулся. — Разбудил я тебя. Садись-ка сюда поближе, тут такое дело, ордер один нужно будет выписать. — Он встал с кресла и, ковыляя, прошелся по комнате. — Бессонница, заснуть никак не могу. Чаятельно, с дороги.

Он поднес руку ко лбу.

— Лихорадит.

Секретарь смотрел на него в испуге. Начальник стоял перед ним желтый и страшный. Через распахнутый халат лезли жесткие, черные волосы. Около губ комочком накипала желтая ядовитая пена, и он слизывал ее языком.

— Ваше превосходительство, — осмелился секретарь, — может, Кравцова позвать?

Кравцов был полковой доктор, которому Бибиков верил и услугами которого пользовался уже около десяти лет.

— Лихорадит, заснуть никак не могу, — повторил Бибиков, — вот сижу и думаю, — он улыбнулся, — ты наш манифест читал, нравится? — Секретарь замялся. Он знал, что манифест очень плох, не далее как вчера

ему самому по поручению Бибикова пришлось наспех писать объяснительную записку, которую надлежало приложить к каждой рассылаемой грамоте. Однако автора манифеста он не знал и считал им, как и весь штаб, самого Бибикова.

— Не нравится? — спросил Бибиков, не расслышав сбивчивый и робкий ответ. — И мне не нравится. А ты вот с этой штукой знаком? — он подошел к столу и с неожиданной ловкостью двумя пальцами поднял широкий желтый лист пергамента, исписанный со всех сторон кривыми, валящимися набок буквами. "Самодержавного императора Петра Федоровича всероссийского и прочее и прочее и прочее", — прочел секретарь и ошалело взглянул на Бибикова. Главнокомандующий уединился в кабинете для того, чтобы ночью читать подметный пугачевский указ, доставленный перебежчиком в воинскую канцелярию.

Бибиков спокойно встретил его взгляд и улыбнулся.

— А ну, читай вслух, — сказал он.

Секретарь смятенно молчал. Читать воровской указ он не осмеливался. Главнокомандующий был явно на грани помешательства. Бибиков снова подошел к креслу и сел в выжидательной позе.

— Ну, что же? — сказал он ясным спокойным голосом. — Читай, что ли.

Торопясь и глотая концы слов, секретарь читал страшный пугачевский указ.

Бибиков слушал его и качал головой.

— Плохой ты чтец сегодня, братец, — сказал он наконец с неудовольствием, — разве так царские манифесты чтут! Слушай! — и, не глядя на перепуганного секретаря, он продекламировал громко и выразительно, ясно отчеканивая каждую букву воровского манифеста.

"Когда вы исполните мое именное повеление, за то будете жалованы крестом, бородою, рекою и зем-

лею, травами и морями, денежным жалованьем и хлебным провиантом и свинцом и порохом и вечной вольностью".

Секретарь смотрел на своего начальника бледный и перепуганный до смерти. Эта ночная беседа абсолютно не укладывалась в его уме. Совершенно ясно, что начальник сошел с ума. Это был или бред, или государственная измена. Секретарь стал думать. Собственно говоря, следовало сейчас же, не колеблясь и не допуская минуты промедления...

— Ваше превосходительство, — осмелился он наконец, — может, Кравцова... — и опять Бибиков не услышал его слова. Он еще глубже ушел в кресло и заговорил совершенно спокойным ровным голосом.

— Вот как указы пишутся: "свинцом, порохом и вечной вольностью". Как, по-твоему, кому они поверят — нам или Пугачеву? За вечную вольность пойдут или за присягу? А? Не знаешь? — он помотал головой. — Ну и я не знаю.

Он закрыл глаза и задумался. Секретарь сидел как на иголках, не смея сказать ни слова: его большие птичьи глаза сделались пустыми от испуга.

— Вот я, — заговорил Бибиков, — вот я проездом в Казань в одну избу зашел, пока лошадей перепрягали, — а там за столом один знакомый помещик сидит и с блюдечка чай кушает, в Петербурге мы с ним встречались. Я так и обомлел. Вы, спрашиваю, сударь, имярек, что здесь делаете? А он этак криво улыбнулся и говорит: как слухи прошли, что Пугачев здесь проходит, то мы и размыслили в чужую деревню укрыться, ибо, чаятельно, мы здесь меньше опасности подвергаемся, чем дома. Так как наши люди могли быть первыми нашими злодеями и врагами, а здешним мы — сторона, ничем мы им еще не нагрубили. Сидит и чай кушает. Здорово? — Он усмехнулся. — Так за кого же подлый народ пойдет? За императрицу или за Пугачева, как ты думаешь?

Секретарь молчал. Бибиков встал и провел рукой по воспаленному лицу.

— Впрочем, — сказал он совершенно ровным голосом, — непобедимое воинство ее величества своей упорностью и храбростью во всем свете довольную известность стяжало. Все измышления маловеров и недоброхотов не только презрению подлежат, но и в государственном порядке преследоваться будут. Войска знают свою присягу. Да и мы, сударь, долг свой помним. Как видно из реляций, наши верные войска повсеместно злодею великий урон наносят. Берите перо, сударь, и пишите. — Он запахнулся в халат и прошелся по комнате — строгий, чинный и подобравшийся. — Пишите, — сказал он.

"Лейб-гвардии подпоручику Державину по секрету.

По известиям, дошедшим сюда, слышно, что жители города Самары при приближении злодейской сволочи со звоном и крестами выходили навстречу и, по занятии города теми злодеями, пели благодарный молебен".

Секретарь писал, бледный и трепещущий. Он еще не знал этих страшных подробностей.

"Когда город Самара от командированных войск паки занята будет и злодеи выгнаны, найти того города жителей, которые были первыми начальниками и уговорителями народа, навстречу злодеям со крестом и со звоном и через кого отправлен был благодарный молебен".

Секретарь едва поспевал за главнокомандующим.

"Некоторых для страха жестоко наказать плетьми, при собрании народа, приговаривая, что они против злодеев, — тут голос главнокомандующего слегка дрогнул, — должны пребывать в твердости и живота своего как верные подданные щадить не долженствуют".

Бибиков кончил диктовать в два часа ночи. Отпуская секретаря, он сказал ему бодрым и милостивым голосом:

— Все сие только для пущего страха и порядка делается. Наши гарнизоны успешно все приступы противника отбили и, чаятельно, в ближайшие дни великие чудеса миру покажут. Идите, сударь мой, и помните, что екатерининские орлы, — он поднял вверх палец, — рвутся в бой с врагом и уничтожают его повсеместно, где встречают.

После ухода секретаря Бибиков еще долго сидел в кресле, вздыхал, ворочался с места на место и дописывал письмо жене.

"Гарнизоны, — писал Бибиков, — никуда носа показать не смеют. Сидят по местам, как сурки, и только что рапорты страшные посылают..."

IX

На другой день Державин опять увидел главнокомандующего.

Изящный, молодцеватый, он стоял около колонны и, прижимая руки к груди, в чем-то убеждал высокого статного монаха, который стоял рядом. Бибиков был, видимо, очень в духе: он шутил, тонко улыбался, поводил плечами и, наклонясь всем корпусом к неподвижному монаху, жестикулировал маленькой белой ручкой с перламутровыми ногтями.

Монах слушал его, молчаливый и недоброжелательный.

Черное лицо его было нахмурено, быстрые маленькие глазки сердито сверкали из-под насупленных бровей.

В зале было много офицеров, и поэтому Державин тут же, на ходу, узнал содержание и смысл разговора.

Высокий монах был архимандритом и ректором семинарии. Он и раньше в своих сношениях с свет-

скими властями отнюдь не отличался уступчивостью и голубиной кротостью, а теперь, после перенесения в Казань секретной комиссии, совсем сошел с ума. Еще до приезда главнокомандующего он успел самым решительным образом переругаться со всеми офицерами, с капитаном же Луниным, занявшим под комиссию большую часть семинарии и до отказа набившим ее секретными арестантами, он сразу стал на ножи. При первом же личном разговоре архимандрит назвал Лунина скверпавцем и нечистым духом, потом, топая ногой, пригрозил написать в Петербург и, наконец, решительно потребовал в течение суток очистить семинарию от всякой сволочи. Кого понимал ретивый монах под этим словом — секретных ли арестантов или членов комиссии, — понять трудно; вернее всего, тех и других вместе. Лунин, который получил от Бибикова твердое предписание везде, поелику сие возможным окажется, соблюдать обоюдную пользу и мир с гражданскими властями, наипаче же не чинить утеснений духовным персонам, сдался сразу; он рассыпался перед архимандритом в извинениях, обещал строжайше расследовать и наказать виновных, раза два — в начале и в конце разговора — пытался даже подойти под ручку, но на требование освободить семинарию вдруг ответил коротким и решительным отказом.

Тогда его преподобие впал в полное исступление.

Он обругал его еще, на этот раз сравнивая поведение членов комиссии с Мамаевым побоищем, сказал, что он, архимандрит, еще покажет ему, как надругиваться над святыней (за это время семинария, с ее облупленными стенами и провалившимся потолком, вдруг превратилась в сознании архимандрита в святыню), и ушел, хлопнув дверью и сообщив, что он идет сейчас же, чтоб припасть к ногам монархини и подать ей "вопль", после которого ему, Лунину, небо покажется с овчинку.

К монархине, впрочем, он не поехал и даже рапорта ей не послал, но по рукам офицеров вдруг стал

4–1949

распространяться список частного письма в Петербург, который преосвященный послал одному сиятельному лицу.

Доходило это письмо и до Державина. Оно было написано мастерски: короткими, резкими фразами, полными сладкого яда и смирения.

"На сих днях, — писал неистовый архимандрит, — прибыл сюда господин Лунин с канцелярией и командою для строжайшего по оренбургским делам следствия. Для помещения и содержания секретной комиссии занял он классы семинарии и тем нас немало утеснил, да чуть ли не совсем в скором времени выгонит: он не смотрит ни на какие привилегии и состояния".

Несколько поодаль от преосвященного стояли еще двое: секретарь с птичьими глазами — Державин вспомнил, что его зовут Бушуев, — и кряжистый крепкий старик с одинокой медалью на черном сюртуке.

Старик стоял, широко расставив ноги и всем телом опираясь на палку. Его белые, водянистые глаза были устремлены прямо в лицо главнокомандующего. Бибиков вдруг кончил говорить, милостиво кивнул головой монаху и, не ожидая возражений преосвященного, зашагал по залу. С разных сторон к нему кинулись Бушуев и старик с медалью на сюртуке, но он, не оборачиваясь, махнул рукой, и они остановились.

Бибиков шел прямо к Державину.

Он подошел к нему вплотную, взял его за плечо и, глубоко заглядывая в глаза, сказал вполголоса: "Вы отправляетесь в Самару, возьмите сейчас же в канцелярии бумаги и ступайте".

Державин почувствовал, как зашевелилась у него на спине кожа и заломило под ногтями. Вот, значит, как ему отплачивает главнокомандующий за его не в меру откровенный разговор. Из Самары он уже не вернется, его посылают на смерть. Не Маврина, не Лунина, не Бушуева, а именно его, Державина, так

дерзко и смело упрекавшего главнокомандующего в бездействии.

Он зябко передернул плечами и поднял глаза.

Главнокомандующий смотрел на него с любопытством.

То, что проделал он сейчас с этим юнцом, не имело никакого смысла, но он с детства отличался чертовским любопытством и всегда любил проделывать рискованные опыты над душой человеческой. Юнец был для него загадкой, а он не любил загадок, когда они касались его подчиненных. Он не понимал этого длиннолицего, нелепого юнца, который десять лет прожил в казарме, попал под следствие за слишком счастливую игру в карты и все-таки продолжал писать стихи и мечтать о славе. Бибиков не был злым человеком и он бы не тронул его — юность всегда горяча и нелепа, главнокомандующий знает это по себе, — но вчерашний разговор при запертых дверях обязывал их обоих ко многому. Теперь дело обстоит так: юнец хочет отличиться. Хорошо, он предоставит ему эту возможность, но пусть тот пеняет на себя, если вдруг окажется более храбрым на словах, чем на деле. Война не щадит, а в руках Бибикова десятки тысяч душ, он не может думать о каком-то подпоручике Державине.

Лицо у юнца стало совсем белым, он провел рукой по лбу, как будто затем, чтобы поправить волосы, и, опуская липкую от пота руку, сказал деловым голосом:

— Готов.

...Молодец, не дрогнул, не сделал испуганных глаз, не изменился ни в чертах лица, ни в голосе...

— В канцелярии, — сказал Бибиков, — получите три пакета — первый распечатаете сейчас же, в нем найдете шифр, которым вы будете пользоваться при переписке со мной, когда приедете, — тут голос главнокомандующего чуть заметно дрогнул, — в Самару; два других, не распечатывая, положите в сумку и

прочтете их, только отъехав от города за тридцать верст. Понятно?

Державин кивнул головой.

Бибиков отпустил его плечо.

— Идите, — сказал он, — и если вас поймают, сперва уничтожьте пакеты, в особенности шифр. С шифром не сдавайтесь ни живым, ни мертвым. Прощайте, желаю вам успеха.

И, кивнув головой молодому офицеру, Бибиков снова возвратился в толпу, где его все еще ожидал секретарь с птичьими глазами и старец с крупной тусклой медалью на черном сюртуке.

X

Матушка! Матушка!

Он ей ничего не сказал о смысле и назначении поездки, и, глотая слезы, она стала собирать его в дорогу. Впрочем, сборы оказались очень недолгими. Мальчик ничего не хотел брать с собой. От теплой рубахи и английского камзола со стеклянными пуговицами он отказался наотрез, и она уже не смела предложить ему домашний погребец. Большой отцовский сундук, доверху набитый бельем, провизией и дорожной посудой, пришлось оставить из-за того, что мальчик уезжал один, без слуг и товарищей. В последний момент она попыталась еще всучить ему медвежью шубу с зеленым верхом из тонкого сукна, но он только подержал ее в руке и положил обратно, надев нагольный трехрублевый тулуп.

Провизию на двое суток, одну перемену белья и большой охотничий нож, — вот и все, что ему нужно!

Перед отъездом он зашел в кабинет и возвратился оттуда с большим белым свертком под мышкой, по его величине и форме Фекла Андреевна поняла сразу, что это пистолеты. Мальчик отправлялся в погоню за Пугачевым. Обратно он уже не вернется или вернется калекой. Она шла за ним, маленькая и

сгорбленная, не чувствуя, как по ее лицу ползут слезы. Ей все казалось, что она сдерживается и не плачет.

Оседланный вороной стоял, раздувая ноздри и поматывая головой. Мальчик вскочил на него, попробовал подпруги и что-то затянул около конской морды.

И вот наступает минута прощания.

Все еще стараясь не плакать, мать поднялась на цыпочки, протянула вверх руки и крепко обняла сына за талию. Мальчик гладил ее по волосам и щеке, осторожно прижимая к себе, а вороной, чувствуя непонятную тяжесть двух тел, фыркал и бил копытом.

Потом, уже не таясь, мальчик засунул пистолеты за пояс, поправил уздечку и вдруг робко и неумело поцеловал мать в самые губы. Тогда колени ее подломились, она прижалась лицом к холодному нагольному тулупу и вдруг вся затряслась от открытого бабьего плача.

Державин показал на нее глазами конюху и дал шпоры коню.

Улиц Казани он не видел. Они неслись перед ним в тумане, как будто наматываясь на огромную катушку. Однако у последней заставы какой-то человек спросил бумаги и, посмотрев на черных орлов подорожной, почтительно кивнул головой и отошел в сторону.

Державин выехал за город. Плохо привязанный сверток с провизией мотался сзади и бил по спине.

Он отвязал его, взвесил на ладони и вдруг с размаху бросил в сугроб.

* * *

26-я, 27-я, 29-я верста.

Снег кипел под копытами его коня. Недавно здесь прошли снежные заносы, и ехать было трудно.

Иногда приходилось слезать с коня и пробираться по полю, проваливаясь в сугроб по колено. Сухой вереск звенел под ветром и как стекло ломался под его ногами.

На 29-й версте он оглянулся кругом.

Тишина, ни жилья, ни повозки, ни человека. Сверху белое небо, снизу белый снег, и где кончается снег, где начинается небо — не разберешь в этой пустыне. Хорошо, что тихо. Беда, если начнет мутить метель.

В его сумке три пакета. Один распечатанный, в нем большой лист бумаги, разграфленный по всем направлениям и наполненный буквами, слогами, словами и частями слов — ключ к шифрованным депешам. Два другие, секретные, запечатанные черным сургучом, и вскрыть их он может, только отъехав на 30 верст от города. Почему на 30-й, а не на пятнадцатой, не на десятой? Почему не в самом городе? О, он знает почему: Бибиков боялся, что он испугается, станет отказываться от поездки, просить о пощаде и, может быть, плакать.

Бедная матушка! Он ей не сказал ни слова, но она сейчас же поняла, на что он едет. Что и говорить: материнское сердце — вещун, но и сам-то он был хорош. Вбежал бледный, с растрепанными волосами, с перекошенным лицом, тут, конечно, невесть что подумаешь! Впрочем, что ни думай — все будет правда. Теперь ему понятно все. Его послали лазутчиком в тыл Пугачева. Недаром дали шифр для переписки, иначе разве ему доверили бы, ведь шифр — это государственная тайна. Сама императрица переписывается с Бибиковым на таком шифре...

...Там, дома, осталась тетрадь со стихами, он было взял ее с собой, но в последнюю минуту раздумал и оставил на столе. Мать подумает, что он забыл. Она же знает — он всегда брал эту тетрадку с собой, куда бы ни ехал. Пять лет тому назад, когда была чума и его задержали в карантине около заставы, он, чтобы не оставаться с вещами, тут же сжег все бумаги,

кроме этой тетради, которую украдкой спрятал за камзол. С этих пор он с ней не расставался.

В тетради были стихи, нежные и певучие.

Он писал их ночью, запираясь на ключ и пробуя на слух каждую строку.

Его стихи должны были петься, поэтому он и называл их песнями.

Не все стихи были одинаково хороши. И раньше и позже он писал куда лучше, но вот одна из песен запомнилась ему особенно.

Девушка, потерявшая возлюбленного, оплакивает свою разлуку. Она ищет его по всей земле в шумящем ветре, среди знойной степи, среди буйного моря. Она ищет его, пролетая мыслью по всей вселенной, и не может найти.

Дальше шли строфы о пустынной тьме, распаленной груди и слезном веке.

Первый куплет этой песни запомнился особенно хорошо. Он когда-то даже пробовал положить его на голос.

Я, лишившись судьбой любезного,
С ним утех, весельев, радости,
Среди века бесполезного
Я не рада моей младости.
Пролетай ты, время быстрое,
Быстротой сто крат скорейшею,
Помрачись ты, небо чистое,
Темнотой в глазах густейшею.

Это он писал о себе.

Покинутая девушка так и не нашла его, впрочем, кажется, она и не искала.

На память о ней осталось вот это стихотворение в старой тетради, которую он всегда брал с собой, но которую сейчас взять не рискнул.

Стоп! Тридцатая верста!

Ветер дул ему в лицо, и вереск под ветром звенел, как стеклянный.

Жизнь или смерть?

Он сломал печать на пакете.

Глава вторая

ТРИДЦАТАЯ ВЕРСТА

I

"Получа сие имеете вы ехать в Синбирск и ежели двадцать вторая легкая полевая команда не выступила, то господину полковнику Гриневу вручить мой ордер, при сем вам данный".

Ордер находился здесь же, в этом конверте. Державин мельком взглянул на него и продолжал читать дальше:

"Буде же оный полковник с командою выступил и пошел к Самаре, т. к. я посланным ордером предписал, то, нагнав его, тот мой ордер вручить ему же и с ним вместе при той команде соединиться с двадцать четвертою легкою полевой командой, марширующей в Самару, о которой, уповаю, что выгнания злодейской шайки в Самару выступившей и прибыла".

Ага, значит, Бибиков сделал нужное распоряжение о переброске войск в Самару.

Отлично!

Дальше, дальше!

Фразы шли гладкие, складные и невразумительные. Они скользили мимо ушей, и он читал их, плохо проникая в их смысл:

"Посланным от меня ордером велено и находящейся в Сызрани трехсотной Бахмутской команде и с сими же двумя легкими полевыми командами соединиться, если они лошадей своих получили, и там по выгнании злодеев взять пост в Самаре".

Гусары, лошади, ордера, соединение двух воинских команд — все это пока очень мало относится к нему. Но дальше...

Дальше шли строки, относящиеся к его миссии:

"Поручается вам делать ваше примечание, как на легкие обе полевые команды, так и на гусар".

Державин читал со вниманием, не пропуская ни одного слова:

"В каком они состоянии находятся? И во всем ли исправны? И какие недостатки? Каковых имеют офицеров и в каком состоянии строевые лошади?"

Он остановился, зажимая рукой прочитанные строки. Голова его слегка кружилась. Так вот, значит, в чем заключается его миссия! Состояние войск, количество лошадей, качество и дух офицеров.

Он даже захихикал: войска без боя переходили на сторону Пугачева, фамилии офицеров, предавшихся самозванцу, составляли длинный список на четырех листах, и каждый день в секретной канцелярии приписывали еще по новой странице. Бибиков не доверял ни войскам, ни офицерам, ни даже полковым лошадям и требовал от Державина неусыпного надзора за ними. Отныне его единственная профессия — быть недоверчивым и подозрительным.

Как, бишь, называют таких людей в армии? Он задумался, не желая давать название, которое уже вертелось у него на языке. Соглядатай, лазутчик... шпион. Ладно, он готов взять любое из этих названий, не дрогнув. Его не так-то легко вогнать в краску! Прежде всего он солдат. А для солдата на войне всякое звание почетно.

Шпион?

Если надо, он будет шпионом.

Бумага кончалась двумя незначащими строками о полевых командах, нахождение которых он должен был определить... Он пропустил это место и обратил внимание только на последнюю строку, собственноручно вписанную Бибиковым:

"По исполнении сего возвратиться ко мне в Казань". Внизу листа кудрявилась замысловатая вихрастая подпись с закруглениями и росчерком:

"Александр Бибиков".

Он аккуратно сложил ордер вчетверо и сунул его в сумку.

Свежий ветер ворошил его волосы. Поле было по-прежнему пустынным, и снег казался синим от быстро приближающейся ночи. Теперь цвет неба был резко отличен от цвета окружающей его пустыни: грязно-серое и мутное, оно низко висело над самой его головой и, казалось, так было до краев наполнено влагой, что его хотелось, как губку, выжать рукой. "Тяжелое небо", — подумал он, поддаваясь своей обычной привычке познавать каждую вещь путем сравнения.

Далеко на линии горизонта лениво передвигалось несколько светящихся желтых пятен. Он вгляделся в них, прищурив глаза. Костры или жило? Костры. Для жила они слишком велики и беспорядочны. Кто-то сидит и греется над огнем: трещат сучья, идут синие клубы дыма, сыплются розовые искры, воркует похлебка.

Уж не отряд ли пугачевцев? Нет, огней слишком мало, вокруг каждого вряд ли поместится больше пяти человек. Бунтовщики не ходят такими небольшими кучками. И, кроме того, им неоткуда тут и взяться.

Он распечатал второй пакет.

На этот раз ордер был ясен и точен. От Державина требовалось производство подробнейшего сыска и следствия. Сейчас же после приезда, — настаивал главнокомандующий, — отыскать виновных, заковать их в цепи, некоторых, наиболее важных, отослать для следствия в тайную канцелярию, других вывести в оковах на площадь и пересечь.

Этот пункт оговаривался еще раз особо. Сечь преступников надлежало публично, перед скопищем народа, растолковывая им их обязанности и долг присяги. Кроме того, надо было узнать, кто трезвонил при въезде пугачевцев в город и через кого был отправлен благодарственный молебен.

Бибиков сомневался не только в армии, офицерах, но даже и в церкви.

Все столпы и устои, поддерживающие государство, колебались и брались под сомнение.

Государство распадалось, охваченное антоновым огнем измены и мятежа.

В хорошую эпоху он живет!

Ну что же, отлично! Он не из боязливых.

Если от него потребуют, он снимет сан со всех попов и закует в цепи самого архиерея. Он будет производить точнейшие следствия, не спать ночами, расшифровывая каждый намек и оговорку, а если и этого будет мало, — он кликнет заплечных мастеров, и секретные писцы затупят свои перья, исписывая стопы бумаг.

И порки он станет производить сам, совсем так, как предписывает ему ордер: будет ходить перед толпой, размеряя силу и количество ударов, и поучать непослушных. Может быть, после этого ему придется прибегнуть к виселице и топору, колесу и глаголю. Он и этим не погнушается. Ритуал смертных казней сейчас проработан до мельчайших подробностей, и он не забудет ничего: ни толстой зажженной свечи в руках смертников, ни белых рубах на них, ни гробов, сложенных сзади эшафота. На войне как на войне, — сказал ему как-то Бибиков. А он — солдат и знает, что на войне употребляется все — от ножа до пушечных ядер.

Уже стало совсем темно, а он все еще сидел на коне среди снежной степи, сжимая в руках пакет. В темноте огни на линии горизонта стали огромными, как глаза чудовища. Теперь они стояли совершенно неподвижно: круглые, белые и лишенные ореола. Глядя на них, он вдруг догадался, что это не костры, а окна умета.

Стало быть, до ночлега остается ехать не больше часа.

Он спрятал пакет в сумку и тронул поводья.

И вот тут на него снова налетел ветер, ударил по лицу, дернул шляпу и засвистел в ушах.

II

30 декабря он прибыл в Симбирск.

Было уже очень поздно.

На главных улицах зажгли фонари, на заставах опускали шлагбаумы. Два часовых остановили его и долго рассматривали бумаги под желтым огнем фонаря. На запятках кареты — он ехал теперь в карете — болталась тощая и неуклюжая фигура слуги — Никиты Петрова. Рот у слуги был полуоткрыт, усталые голубые глаза тупо и безучастно смотрели в пространство.

Часовые копались долго.

Очевидно, им были даны строгие инструкции. Ни черные орлы внизу бумаги, ни подпись главнокомандующего не могли их убедить с первого раза. Откуда-то из палатки вынесли еще ордер, и старший, взяв в руки обе бумаги, стал их сличать перед фонарем.

— Скоро вы, что ли? — крикнул Державин, потеряв всякое терпение.

— Скоро, — ответил часовой, не отрывая головы от грамоты, — такие дела скоро не делаются, ваше благородие: намеднись у нас вора с такой же бумагой задержали.

И он опять продолжал колдовать под фонарем.

Наконец перекладина шлагбаума поползла вверх, и карета загремела по пустым и гулким улицам города.

Мостовая в Симбирске была ужасная — много хуже, чем в Казани, — и карета то и дело ныряла в ухабы и кренилась в сторону.

Неподвижная и унылая фигура слуги деревянно раскачивалась на запятках.

Чтобы выяснить положение, Державин велел везти себя прямо к воеводе.

Воевода, сухой и раздражительный старик лет шестидесяти, в огромном старомодном камзоле со стеклянными пуговицами, сообщил ему, что полк подполковника Гринева два часа как отбыл из горо-

да и теперь движется по самарской дороге. Очень, очень жаль, что он опоздал на какие-нибудь полтора часа. По его расчетам, полк должен быть сейчас на десятой или одиннадцатой версте. Впрочем, если он очень торопится...

Воевода был стар, тощ, подвижен и походил на боевого петуха, которого Державин как-то видел у Максимова. Чтобы такой петух не прибавил в весе и не потерял цену, ему не дают долго сидеть на одном месте и кормят впроголодь каким-то особым зерном.

— А какая у него воинская сила? — спросил Державин, рассматривая суматошную фигуру воеводы, и вдруг сам поразился своему голосу: таким он был мутным и хриплым.

Воевода глянул на него с опаской.

— О том, сударь мой, я не наведан, — сказал он ласково и склонил голову набок. — Сие дело — в нынешнее время не воеводского разумения. У господина Гринева, чаятельно, есть на то особый указ от его высокопревосходительства, — он говорил все ласковее и ласковее. — А как от одной же высокой персоны посланы, то не вы у меня, а я у вас о том спрашивать должен.

И, нахохлившись, прошелся по комнате, еще более подобравшийся, настороженный и молодцеватый.

— А бахмутовская команда? — снова спросил Державин, сердясь на самого себя за эти бесцельные и ненужные расспросы. — Лошади под нее уже доставлены?

— И сего знать не могу, — сказал старик и засунул руки в карманы. — О том, чаятельно, вам сам господин Гринев доложить может. Я же в дела обороны и вовсе не мешаюсь.

После этого следовало немедленно откланяться, повернуться и уйти.

Никакими клещами не мог бы Державин извлечь из этого старика ненужные для него подробности о

воинском снаряжении команды, но он неожиданно сделал то, чего за минуту до этого сам не ожидал от себя: поглядел на старика пустыми, воспаленными глазами, провел рукой по волосам и тяжело опустился в кресло.

И сейчас же голубая, нарядная комната, с мягкой пузатой мебелью, блистающими лаком портретами императрицы, черными силуэтами в палисандровых рамках — накренилась, закачалась и поплыла перед его глазами.

Густая, блаженная, как сон, истома охватила все его большое тело.

Никуда не ездить, ничего не делать, ничем не интересоваться, ни о чем не спрашивать!

Снять с себя тяжелый, несгибаемый от пота мундир, бросить на кресло сумку с ордерами и остаться здесь, у воеводы, в его голубых покоях!

Какая славная привольная жизнь текла бы тогда среди этих палисандровых рамок, мягких кушеток и старинной мебели. Он бы спал на диване до одиннадцати часов утра, перед сном слегка музицировал на флейте и занимался с воеводиной дочкой уроками немецкого языка. Он писал бы по утрам стихи и перевел бы на русский язык все военные оды Фридриха Великого. Он бы...

Его глаза еще заволакивались туманом и теплая розовая мгла под веками мерцала, застилая воинственную фигуру воеводы, а он уже стоял на ногах и твердой рукой застегивал сумку с ордерами.

— Должен извиниться за беспокойство, — сказал он металлическим голосом, — о моем приезде и сем ордере прошу, ваше высокопревосходительство, до времени молчать. — Он застегнул сумку и вытянулся. — Что же касается воинской команды...

К полуоткрытой двери подошла розовая девочка в белом узорчатом платье и, держась одной рукой за дверь, взглянула на него исподлобья. Он украдкой улыбнулся ей. Дочь или внучка? Он посмотрел в лицо воеводы. Внучка!

— Что же касается волнения команд, — сказал он почти весело, — если они еще не соединились, то не сегодня завтра обязательно соединятся.

Воевода смотрел на него с тревожным удивлением. Когда этот странный молодой человек упал на кресло и закрыл глаза, воевода не растерялся ни на одну минуту.

Расплескивая и стуча по стакану горлом графина, он кинулся наливать ему воды. Воевода тридцать лет прослужил в армии и часто наблюдал такое состояние у гонцов, приехавших со спешной эстафетой, в армии говорят, что у таких гонцов "загорелись внутренности".

Он сунул ему стакан под нос, но Державин вскочил с места и стакан вдруг оказался ненужным. Теперь он стоял перед ним прямой, стройный, улыбающийся и, не отводя глаз, смотрел в лицо старику. Воевода не мог знать, что в эту минуту офицер вспомнил, как Максимов, гогоча от наслаждения, показывал гостям травлю петухов, и что теперь ему непременно хочется вывести старика из себя.

Державин подошел вплотную к воеводе.

— А в Самаре-то, — сказал он, подмигивая. — В Самаре-то, ваше благородие, что творится. Город-то сдался без одного выстрела со всеми деревнями. Попы благодарственный молебен пели и ручку целовали... У злодейского-то атамана ручку. Гляди, скоро его и на царство помажут. Злодея-то, беглого каторжника... Вот какие дела!

Воевода только руками развел.

— Да, теперь ухо держи востро, — со злобным удовольствием сказал Державин. — Теперь не зевай. Не сегодня завтра и сюда пожалуют.

Воевода молчал.

Державин быстро поклонился и вышел вон.

Накренившаяся карета ждала его во дворе. Неподвижная и прямая, как статуя, фигура сиротливо торчала на ее запятках. Державин сел в карету и махнул рукой.

Воевода долго стоял среди комнаты.

Поведение офицера было странно и невразумительно. Сумасшедший или пьяный? — подумал воевода.

Он посмотрел на стакан с водой и покачал головой.

— Одурел от усталости.

III

Державин в самом деле был утомлен смертельно.

Впоследствии эти тревожные, страшные дни вспоминались ему как сквозь сон.

Началось с того, что на одной из станций его догнала карета, высланная вдогонку матерью.

Допотопное сооружение это, прогромыхав сорок верст по ухабам и рытвинам, трещало и кренилось, готовое развалиться при каждом неудобном повороте. Забрызганные грязью бока вызывали ужас и отвращение. Они были оттопырены и круглы, как у опоенной лошади. Мягкое сиденье, затянутое некогда малиновым бархатом, полопалось, обнажая волосатое нутро. И даже в самом облике кареты было нечто старчески нечистоплотное. Бурые занавески, спущенные на окнах, трепетали, поднимаясь при каждом толчке, как огромные веки. При въезде этого допотопного рыдвана во двор умета на шум колес сбежались все постояльцы. Державин вышел последним. Он увидел огромный черный ящик, сиротливо накренившийся набок, лошадей, покрытых бурым мылом, и удивился, отчего у лакея, стоящего на запятках, такое заспанное, такое длинное, такое тупое и удивленное лицо. Он понял все через секунду, когда этот лакей соскочил с запяток и, еле двигая языком, что-то сказал ему сперва о матушке, потом о карете, потом о наставлении матушки карету не бросать и отослать обратно.

— Сорок рублей, — сказал под конец слуга, — в ящике.

— Чего? — ошалело спросил Державин.

Лакей посмотрел ему в лицо и, не говоря ни слова, отошел в сторону. Державин смотрел, как он взбирается на лестницу, раскрыв рот и хватаясь руками за стену, и недоумевал, как он до сих пор еще стоит на ногах.

И вот по проселочным дорогам, от станции к станции, от деревни к деревне, из умета в умет снова путешествует скрипучий рыдван с выцветшим гербом на дверях и серыми занавесками. Он скрипит, кренится из стороны в сторону, трещит при каждом повороте, и на его запятках болтается длинная нелепая фигура лакея.

Державин торопился.

Симбирск могли взять каждый день, и он должен был поспеть соединиться с городской командой. Замыленные, иссеченные лошади бежали неторопкой рысью, и сколько на них ни гикал ездок, как ни стегал кнутом кучер, они не прибавляли ходу.

Державин торопился, а препятствия вставали на каждом шагу. Всюду он замечал дух противления и непокорства. Мужики, встречавшиеся на дорогах, смотрели хмуро исподлобья и не снимали шапки. Когда же их останавливали, на расспросы они отвечали неохотно и коротко, чтобы только отвязаться. По их разговору получалось так, что они о Пугачеве ничего не слышали. Манифест им читали с амвона, но что в нем говорится и о чем — они не знают. Впрочем, все это не их ума дело.

Они живут тихо, смирно, и их село находится далеко от дороги. Вора же к себе они не ждут. Однако всего хуже было в деревне, когда приходилось менять лошадей. Староста долго и внимательно просматривал бумагу, подняв ее к самым глазам, вздыхал, чесал затылок и потом кротко и решительно заявлял, что лошадей нету. Когда это случилось в первый раз, Державин оказался сильно обескуражен-

ным. Этого препятствия он не предвидел. Поведение мужика было непонятно и нелепо.

Он вскочил с лавки и вплотную подошел к старосте.

— Как нету лошадей! — закричал он с такой силой, что ребенок, спавший в зыбке, проснулся и заплакал. — Да разве ты не видишь, что в бумаге написано?

И схватив его за плечо, он повлек его к лучине и стал разъяснять смысл и значение каждого слова.

— Ты видишь, — кричал Державин, — написано: "Не чинить ему задержки". Читай дальше: "Едет по казенной надобности". Видишь теперь, видишь? Да?

Староста внимательно выслушал все, что ему читали, а потом кротко и веско заявил, что лошадей у него все-таки нет. Державин возвысил голос и застучал кулаками по столу так, что заскакали деревянные кружки на столе и снова заплакал ребенок. Он требовал немедленно, сейчас же, сию минуту лошадей, лошадей, лошадей!

Пятясь задом от разъяренного барина, староста робел, но говорил, что лошади все в разгоне. Ребенок в зыбке кричал и скорбно качала головой баба, слушавшая разговор.

Замученные до кровавого пота, лакей и кучер смотрели на старика с несмелой надеждой, но Державин вдруг оставил его плечо, вытащил из кармана пистолет и приставил его к голове старосты.

— Ну, — сказал он злорадно, вглядываясь в лицо старосты, — есть лошади, есть? Будут? Сейчас будут? Да? Ну-ка!

Лошади нашлись.

На следующей станции Державин начал разговор о лошадях с пистолета, и лошади нашлись моментально.

Лошадей меняли на каждой станции, а люди оставались те же. Древняя колымага, по-прежнему скрипя и кудахтая, ехала по ужасным проселочным дорогам, и на ее ветхих запятках трясся измученный до

одури лакей Никита Петров. Он уже не надеялся на отдых, на перемену положения. С широко открытыми глазами он стоял на запятках, и его голова тяжело и глухо стукалась о борта кареты. На вопросы Державина он отвечал не сразу и с такой запинкой и медлительностью, как будто говорил пробуждаясь от сна. Рот у него был всегда полуоткрыт, и синие неподвижные глаза смотрели куда-то через фигуру барина и стенки кареты. Вероятно, он все время находился в тяжелом трансе.

Когда до города оставалось только пять верст, они повстречались с обозом. Это был обыкновенный деревенский обоз, и от него сразу запахло дымом, молоком и каким-то особым горьковатым запахом деревни. Скрипели полозья, мирно похрапывали лошади, упруго скрипел под шагами синий искристый снег. На телегах кое-где горели фонари, и темные лица, движущиеся в желтом пятне света, казались неподвижными и странными. В Симбирске был базарный день, и мужики возвращались с пустыми возами.

Некоторые из них, сильно пьяные, лежали на возах, прикрытые с головой рогожей, другие шли поодаль, заложив руки за спину и вполголоса разговаривая.

Державин смотрел, не отрываясь, на странное шествие, и тревожные мысли приходили ему в голову.

Как всегда, он думал о Пугачеве.

До города оставалось не больше часа езды. Но что, если он вступит в город, занятый мятежными войсками?

Он стал высчитывать.

Последнее донесение, пришедшее из Самары, датировано 25 декабря. Теперь тридцатое. За пять дней положение легко могло измениться. От Самары до Симбирска 150 верст, или... он задумался, соображая... или четыре воинских перехода.

Он велел кучеру остановить лошадей и вылез из кареты. Обозы, ехавшие перед окнами кареты, были

теперь впереди. Издали еще скрипел снег, и желтые пятна фонарей, как ночные птицы, слепо шарахались по лиловому снегу. Он обернулся назад, вглядываясь в голубую снежную мглу. Оттуда, из темноты, опять надвигалась черная, неразличимая масса и слышались обрывки разговора. Обоз был большой, и то, с чем они повстречались, было только самой головой обоза.

Как всегда, решение в нем созрело мгновенно.

Он подошел к слуге, стоявшему на запятках. Никита Петров смотрел на него широко открытыми глазами, но, чтобы добиться от него ответа, Державину пришлось окликнуть его два раза.

Тогда большая безволосая голова медленно повернулась на тонкой шее, не затрагивая своим движением неподвижное и грузное тулово, и уставилась на Державина.

— Слушай, — сказал Державин, стараясь не глядеть в эти мертвые глаза, — мы поедем навстречу ·к обозу, когда последняя телега поравняется с каретой, соскакивай с запяток и хватай возчика за шиворот.

Лакей смотрел на Державина, не мигая неподвижными широкими глазами. Рот его был полуоткрыт.

— Ты слышишь? — спросил Державин, повышая голос, и поднял двумя пальцами за подбородок тяжелую, сонную голову. — Почему ты молчишь, боишься, что ли? Ну, отвечай же!

Лакей Никита Петров смотрел на Державина, и ни страха, ни мысли не было в его очень широких голубых глазах.

— Слышу, — ответил он через некоторое время, как будто вопрос только что дошел до него. И видя, что барин молчит, повернулся и, обойдя карету, полез на запятки. Державин пожал плечами и тоже пошел к карете.

— Так смотри, Никита, — как только подъедут, — деловито сказал он, приоткрывая дверь кареты, — сейчас же соскакивай с запяток, хватай первого по-

павшегося за плечо и кричи, а тут и я подоспею. Понял?

Через заднее стекло кареты он увидел, как ему в ответ кивнули головой.

Скрип полозьев подошел совсем близко.

Снова стали видны обозы, покрытые рогожей, желтые пятна фонарей и в них драконьи морды лошадей, украшенных бумажными цветами. Мужики шли за подводами, сложив руки за спину и толкуя о своих делах. Некоторые из них, сильно пьяные, лежали на возах, прикрывшись с головой рогожей, и выкрикивали какие-то фразы.

Карета встала на их пути, как неожиданное и досадное препятствие.

Идя мимо нее, они понижали голос и, взяв лошадей под уздцы, отводили их на край дороги. Когда средние воза поравнялись с каретой, один из лежащих под рогожей вдруг зашевелился, поднял голову и что-то крикнул.

Раздался смех.

На него со всех сторон зашикали, но, видно, не особенно сильно, потому что сейчас же из толпы выделился другой голос — молодой и гибкий, — который выкрикнул какую-то длинную и соленую фразу.

— ...вашего брата, — поймал ее конец Державин.

Он посмотрел на лакея.

Никита Петров стоял на запятках, и его голова моталась, как неживая.

Мужики шли мимо них.

Когда проехала последняя телега, Державин выскочил из кареты и, шатаясь от бешенства, бросился к запяткам.

Он схватил лакея за шиворот и стал его трясти мелкими сильными толчками.

— Иди в карету, скотина, — шипел он свистящим, яростным шепотом, — слезай с запяток, иди в карету! Немедленно! Слышишь?

Лакей спокойно оттолкнул его руку, повернулся и стал слезать с запяток.

Тогда Державин, весь дрожа от возбуждения, схватил его за шиворот, подтащил по снегу к отворенной двери и бросил на сиденье. Потом встал на запятки и, задыхаясь, крикнул кучеру: "Поезжай!"

И через минуту они встретили одинокую телегу, отставшую от обоза. В ней сидел только один человек — два других шли поодаль. Когда карета поравнялась с телегой, Державин вдруг быстрым, кошачьим движением метнулся с запяток и, гикнув, схватил мужика за шиворот. Тот крикнул коротко и отчаянно и вцепился в край полушубка Державина. Два других, шедшие поодаль, остановились и замерли на месте. Державин поднял мужика за шиворот и, раскачав, деловито сунул головой в снег.

— Ты что же убойничаешь? — закричал наконец один из товарищей поверженного. — Али сам из станичников? Ну, врешь, не на таких напал! — он полез за сапог и, вытащив короткий, тонкий, как жало, нож, тяжело двинулся к Державину, повторяя: — Видали мы таких станичников.

Другой, маленький сморщенный старик, бегал вокруг, и на его сухой аккуратной руке блестел кастет.

Из окна кареты сонно смотрел лакей Никита Петров, и рот его был полуоткрыт.

Державин поднял свободную руку к лицу лежащего, и тот вздрогнул, почувствовав на шее обжигающую сталь пистолета.

— Я ничего тебе плохого не сделаю, — сказал Державин, обращаясь только к задержанному. — Лежи смирно и не кричи. Я не разбойник, а офицер. Видишь? — И он ткнул пальцем в свои нашивки. — Какие войска теперь в городе?

Мужик, увидев в руках Державина пистолет и почувствовав на лице его дуло, перестал биться и замер.

— Какие войска в городе? — повторил свой вопрос Державин.

Мужик, не отвечая, что-то бормотал, скосив глаза на дуло пистолета.

— Мы об этом, ваше благородие, не наведаны, — вдруг звонко закричал один из мужиков. — Обыкновенно какие, ходят по городу в русском платье да шубы у мужиков отбирают.

— Какие шубы? — спросил недоуменно Державин.

— Обнакновенно — шубы.

— Что, войска-то в мундирах? — переспросил Державин.

— Мундиров не видели, — охотно ответили ему со стороны. — Может, и были какие мундиры, да мы не видели. А видели мы только в овчинах, а не в мундирах.

Державин задумался.

Неожиданно положение осложнялось. Представление о пугачевских войсках неизменно сливалось в его воображении с тулупами, овчинами, косами и топорами. Регулярные царские войска никогда не снимали форменных мундиров и в тулупах не ходили.

Да не врут ли мужики?

— Оружие есть? — спросил Державин.

На этот раз ему ответил сам пленник.

— Ружья в аккурате, ваше благородие, — бойко сказал он. — Все честь честью: и ружья и штыки. Ходят по городу и шубы отбирают.

Державин отпустил его плечо. В городе были царские войска. Пугачевцы не имели штыков.

Он подошел к карете и, широко отворив дверь, выбросил из нее Никиту Петрова. Мужики, отбежавшие в сторону, смотрели на него с удивлением.

Карета тронулась. Мужики стояли неподвижно.

— Эй, барин, — вдруг крикнул один из них, — ты, барин, батюшки не бойся, он и вашему брату ничего худого не делает. Если ты ему с чистым сердцем передашься, он тебе и чин прибавит, и денег даст... У него в полках сейчас вашего брата видимо-невидимо. Да ты не лупись, ты слушай, что я тебе объясняю.

— Погоняй! — крикнул Державин и замахнулся кулаком на кучера. — Погоняй, скотина.

Возница стегнул лошадь, и карета тронулась.

В Симбирск они въехали вечером 30-го декабря.

Было уже очень поздно. На главных улицах зажигали огни и на заставах опускали шлагбаумы.

Два часовых остановили его под желтым огнем фонаря и долго рассматривали его бумаги.

Было 11 часов ночи.

Чтоб выяснить положение, Державин велел везти себя прямо к воеводе.

IV

Тайная следственная комиссия работала бесперебойно.

Скрипели перья, шуршала бумага, часовые сбивались с ног, водя на допросы обтрепанных и страшных людей. Каждый день в Казань отправлялись гонцы с секретными донесениями в запечатанных сумках. Списки мятежников росли с ужасающей быстротой, и офицеры, производившие следствие, сбивались в счете арестованных.

Комиссия работала днем и ночью, и все-таки многое оставалось туманным.

Каждый арест влек за собой вереницу новых подозреваемых, которых тоже приходилось арестовывать или брать на заметку. Впрочем, таких было мало, каждый, попав в реестр, считался зачинщиком или, по меньшей мере, главным сподвижником зачинщика.

Сначала работа комиссии шла медленно, но скоро следователи набили себе руку и твердо усвоили правила поведения с арестованными. Как ни разны были преступники, но они все вели себя одинаково.

Все они сперва напряженно молчали, стянув тяжелыми складками серое, подернутое щетиной лицо,

потом, под давлением членов комиссии, начинали отвечать односложно и сдержанно, передавая всегда только самую суть дела и тщательно избегая всяких подробностей.

Это была самая несложная часть допросов.

Следователи слушали арестованных терпеливо, не перебивая, но ничего не записывали. Затем шла тщательная и кропотливая обработка показаний. Назывались десятки фамилий, и требовалось подробнейшее показание о каждом из них. Этих людей, которые еще были на свободе, нужно было оглушить, сбить с толку, заставить сразу же поверить во всеведение комиссии. Поэтому в отношении их интересовались мельчайшими подробностями, отмечали не только слова, но и оттенок голоса, которым они произносились. Поймав какую-нибудь несущественную подробность, следователи ее поворачивали на все лады, давали ей сотни различных толкований и, наконец, выбрав наиболее эффектное, заносили в протокол. При этом любое брошенное вскользь и сейчас же забытое слово могло быть истолковано как государственная измена.

Следователи не были слишком опытными, но арестованных было столько, меры, которые могли быть применены к этим арестованным, были так безошибочны, что следственный материал разрастался горами.

Гонцы, отправляемые в Казань и Москву, сгибались в седле под тяжестью запечатанных сумок, и тюремные камеры, отведенные для нужд секретной комиссии, не вмещали в себя всех арестованных.

Разузнав о сообщниках, следователи приходили к деянию самого колодника. Поскольку они касались теперь обвиняемого, вина которого была большей частью бесспорна, в этой части не требовалось особых подробностей. Точно записывался только род деяния и суть возмутительных речей.

Это была наисекретнейшая работа, и писарей к ней не допускали, их заменяли сами следователи.

Грубые ругательства по адресу правительства, шумные восторженные приветствия по адресу отцов города при въезде пугачевцев, скорбные слова стариков, велеречивые и сладкие речи духовенства — все это подробно записывалось в протоколы. И чем восторженнее, чем громче, чем язвительнее были речи, тем больше старались следователи. Бумага, заполненная такими возмутительными речами, приобретала характер и свойства взрывчатого вещества.

На нее смотрели со страхом и почтением, ее надлежало прятать от постороннего взгляда, разворачивать только наедине и хранить в особых, секретных шкафах.

Однако в простой и ясной процедуре допросов была все-таки одна тайна.

Если заключенные не хотели сами повторять возмутительных речей, их уводили в подвал, где было оборудовано особое помещение. В этой темной и жарко натопленной комнате с тонким синеватым воздухом было всегда страшновато: кипела вода, шипело раскаленное железо, остро и тонко свистали ременные плети. Умелой рукой палача из искривленного человеческого тела вытаскивали все чудеса боли, заложенные в нем. Опытные палачи тщательно изучали технику страдания, оперируя над пестрыми телами секретных арестантов. Они деловито втискивали тело в уродливые деревянные рамки, завинчивали на нем винты, вытягивали как струну на веревке. Они считали количество оборотов винта, часы, проведенные на дыбе, минуты, проведенные под плетьми. Нечистые, как ржавые плоды, тела заключенных уже при первом взгляде на них говорили им о роде и количестве потребной пытки.

Булькала вода, шипело раскаленное железо, скрипела дыба. К этим техническим звукам — разговора железа и металла, кипятка и камня — примешивались и другие. Трещали кости, сухо щелкали сухожилия, шипело прижигаемое мясо. К тому, что сопровождало эти звуки, к мольбам, крикам и пока-

янным стонам, палачи привыкли до такой степени, что даже и не слышали их.

За столом сидели следователи и умело дозировали пытку. Ответы заключенных и тут записывались ими собственноручно. Дыба и плеть, раскаленное железо и кипяток в разных комбинациях и пропорциях составляли в их руках сложнейшую систему страдания, которой они располагали в совершенстве. Это была наука сыска, палачества и пытки, которой они были обязаны овладеть.

Следователей было пять.

Самым ревностным и беспощадным из них считался Гаврила Романович Державин.

Он слыл беспощадным, и его боялись не хуже пыточного огня, а он мало чем отличался от других и, собственно говоря, не был даже особенно жестоким. Имя его передавалось из уст в уста, из камеры в камеру, и часто ему без пыток удавалось выудить показания тех арестованных, которые у другого следователя молчали бы и под пыткой. Он никогда не уставал писать протоколы допросов, и выражения его бумаг были точными и ясными и не могли вызвать никаких перетолкований.

У него был зоркий, наметанный глаз, и он сразу постигал суть дела. И хотя он никогда не преувеличивал вину преступников, но зато и никогда не отпускал на свободу ни одного из подследственных. Память у него была замечательная: слово, сказанное вскользь, сгоряча, никогда им не забывалось. Он умел подхватывать и запоминать самые мелкие намеки, сопоставлять самые далекие обстоятельства, делать самые неожиданные, но почти всегда правильные заключения. На чудовищное возрастание бумаги, исписанной пыточными речами, он смотрел как на вырастание своей карьеры.

Поэтому он не ленился.

У него был быстрый и красивый почерк, и вот он проводил ночи, переписывая и расширяя следственный материал.

И, очевидно, в нем была жилка коллекционера. Он как-то специально занялся систематикой и классификацией преступников. Сначала они у него были записаны в алфавитном порядке, потом он составил экстракт из всех дел и потом уже из этого экстракта сделал короткий, но очень обстоятельный реестр, копию которого послал Бибикову.

Ждать ответа пришлось недолго.

Бибиков ответил собственноручным благодарственным письмом, в котором предписывал еще более усилить зоркость и во что бы то ни стало отыскать тайные нити, связывающие Самару со станцией Берды, с штаб-квартирой Пугачева.

Два имени фигурировали в этом донесении: злодейский атаман Арапов и его бургомистр Халевин.

Первое из них было известно уже всему Поволжью.

Арапов!

В ночь на рождество он без боя взял Самару со всеми деревнями, и сидевший в ней полковник Балахонцев едва успел третий раз покинуть свой пост, спасая денежный ящик, несколько человек команды и свою шкуру.

Про Ивана Халевина сведения были разноречивы и туманны. Однако не подлежало сомнению, что главным сподвижником Арапова был именно он.

Третье имя фигурировало только раз, в последней строчке донесения — это был пономарь Иван Семенов, сидевший под арестом почему-то в одной камере с Халевиным.

Арапов скрылся.

Халевин и Семенов сидели в тюрьме, Державин таскал их на допросы.

* * *

Оба они сидели в одной камере самарской тюрьмы.

Тюрьма была уже давно переполнена, заключенные сидели по сорок человек в одной камере.

Даже подвалы были набиты до отказу, однако эту камеру не уплотняли и арестантов из нее не трогали.

Один из арестантов — пономарь Иван Семенов, длинный и худой старик, с густыми рыжеватыми волосами, сидел на нарах и быстро раскладывал самодельные карты.

Карты врали.

Каждый раз они показывали по-иному; и пономарь, качая головой, смотрел на дорогу, — казенный разговор и неожиданное свидание.

Он не был доволен картами.

Вчера ему вдруг выпала нечаянная радость, и он решил про себя, что его непременно вызовут на допросы.

Но сколько потом он ни перекладывал колоду, ему все выпадали пики: дама пик, семерка пик и туз пик. Измена, разлука и удар.

Теперь он сидел на нарах и перекидывал карты в третий раз.

Его сосед по камере, широкоплечий черный гигант, с великолепными казачьими усами и всклокоченной дикой бородой, стоял около окна, смотрел, как пономарь борется со счастьем, и вполголоса рассказывал:

— "Ты лучше, говорит, сознайся сам, по чистой совести сознайся и открой, что ты против ее императорского величества замышлял. Ты не скрывайся, говорит, все равно мы о всем уже наведаны" — это он мне, Державин. "Коли так, — говорю, — что же, ваше благородие, меня пытать изволите?" — "А я, — говорит, — единственно твоего сознания хочу. Для твоего же облегчения. Ты — дурак, и этого не понимаешь". — "Не было, говорю, в сем деле моего начала и быть не могло, ибо я к злодеям исключительно по своему малодушию и глупости примкнул, в чем перед вашим благородием и винюсь", а он мне, Державин-то, и говорит...

Пономарь собрал колоду и стал ее тасовать, искоса поглядывая на рассказчика.

— Да, он мне и говорит: не губи себя, Иван. Эй, не губи. Я твоего живота не желаю. Мне, говорит, только нужно раскрыть всех тех душегубов, кои кровью человеческой питаются. Ты для меня ничего. Просто свидетель. Расскажи мне все — я тебя и отпущу, пожалуй.

— Как же, он отпустит, —усмехнулся пономарь. — Не для того он брал, чтобы отпускать.

— Вот, вот. Я ему и говорю.

Пономарь снова собрал карты, стасовал их и стал веером раскидывать по нарам. Справа легла шестерка, слева дама пик, посередине два туза. Пономарь задумался, соображая их значение.

— Опять выпадает дорога, — сказал он через некоторое время. — Измена, дорога и через нее нечаянная радость. Беспременно на допрос вызовут.

Рассказчик присвистнул и сплюнул на пол.

— Как же, дожидайся, вызовут, — сказал он протяжно. — Меня этак уже вторую неделю вызывают. Пустое все это занятие — на картах гадать.

Пономарь собрал карты и, вздохнув, спрятал их под рубашку.

Наступила тишина.

— Так вот я и говорю, — неожиданно сказал рассказчик. — Если вы доподлинно обо всем знаете, то зачем же меня пытать изволите, я от своей правды николи не отрекусь. Где виновен, — там виновен доподлинно, а где нет моей вины, то о сем не могу на себя наговаривать. Вот.

В камере было тихо. Через узкое, засахаренное морозом стекло четко выделялись силуэты железной решетки и отпечатывались на покатом полу темницы очень черными, почти осязаемыми брусками.

Пономарь перекрестился, подложил под голову какой-то узел и кряхтя растянулся на нарах. Однако постель, состоящая из досок да скудного тряпья, бы-

ла так жестка и неудобна, что он еще долго кряхтел и ворочался, пока не заснул.

Бывший бургомистр Иван Халевин, тот самый, который отворил ворота злодейскому атаману, сидел на нарах, насвистывая вполголоса какую-то песенку, и покачивал ногой в такт своим мыслям. Глаза у него были большие и печальные, как у очень усталого человека. Под запекшимися белесыми губами дико и нелепо торчала растрепанная борода.

Бывший бургомистр думал о доме.

Пономарь спал и видел во сне, что его вызывают на допрос, пишут какую-то бумагу и объявляют об его невиновности.

Посапывая от наслаждения, он видел, как его ведут по коридору, подводят к тяжелой, окованной железом двери и отворяют ее настежь. "Иди" — говорят ему. И вот он, не веря своему счастью, идет по широкому тюремному двору, и ветер дует в лицо, и снег сухо хрустит под его ногами, и горячее зимнее солнце светит ему в глаза, а за деревянными воротами слышно, как ходят и разговаривают люди, лениво лают откормленные здоровые псы, кто-то играет на флейте и скрипят, скрипят по сухому снежному насту деревянные розвальни.

Он лежал, булькая губами, во сне улыбался, ворочался и не видел, как тихо отворилась дверь, вошел солдат и вызвал на допрос его соседа.

V

Они поднялись по длинной скрипучей лестнице и вступили на галерею.

Через плохо заделанные окна дул колючий зимний ветер, и от него у Ивана Халевина подломились колени и сладко заныло в висках. Чтобы не упасть, он широко расставил ноги и схватился одной рукой за стену. Он знал: показывать слабость было нельзя. Однако часовой сегодня был особенный. Он смотрел

с явным сочувствием на узника и, когда тот побледнел и мелко закачал головой, как бы желая стряхнуть боль, даже сделал к нему быстрое, хватающее движение.

— Мутит? — спросил часовой.

Иван Халевин, бывший бургомистр и состоятельный человек, взглянул на него диковатыми, красными от слез глазами.

— Не дай бог, как мутит, — сказал он тихо. — В камере у нас вонь и сырость. Все стены грибом пропахли, а здесь, как ветром пахнуло, так у меня голова и зашлась. — Он тяжело дышал. — Постоим немного... Можно?

— Отчего не постоять, постоим, — охотно согласился часовой и остановился, опираясь на ружье, как на палку. — Ты, я смотрю, совсем поддался. Тебе бы воды сейчас холодной и тряпку к голове, оно бы и прошло.

В конце коридора отворилась дверь.

VI

В конце коридора отворилась дверь.

Следователь — господин Державин — сидел за столом, как в крепости.

У него было удлиненное, желтоватое лицо с тяжелой, немного отвисшей книзу лошадиной челюстью. Около левого, зорко сощуренного глаза время от времени пульсировала какая-то невидимая жилка.

— Ну, садись, Иван Халевин, — сказал он радушно, показывая глазами на стул. — Садись, садись, будем разговаривать.

Он нагнулся над столом, пошарил среди беспорядочной груды бумаг и придвинул к себе лист, разграфленный прямыми линейками и густо записанный со всех сторон.

— Как здоровье? — спросил он приветливо. — В камере-то, в камере не душно? Ты последний раз что-

то выглядел неважно. Как теперь, ничего себя чувствуешь?

Иван Халевин чуть заметно улыбнулся. Он давно знал всю предварительную процедуру допроса и не возлагал никаких надежд на ласковую заботливость следователя.

— Всем доволен, ваше благородие, — отвечал он устало и даже без особой насмешки. — Камера сухая, света много, тепло, ничего больше и не нужно.

Следователь смотрел на него с явной издевкой и молчал.

Иван Халевин несмело взглянул ему в лицо.

— Я вот бы что у вашего благородия просил — жену бы мне повидать. Вот сердце изболело, как она там одна управляется с домом.

Державин молчал и улыбался.

Но Иван Халевин уже заметил, что он проговорился, и, стараясь не дать следователю воспользоваться его слабостью, быстро добавил:

— А то и не надо. Только ее, пожалуй, расстроишь. Мне ведь ничего, мне хорошо. Сожитель попался по камере старичок, тихий такой. Каждый день божественное поет и сам камеру подметает.

Державин все молчал и тяжело смотрел на него. И от этого неподвижного, открытого взгляда Халевину стало ясно, что следователь заметил его слабость. Он беспокойно заерзал на своем стуле.

— И окна на восход, — сказал он почти жалобно.

Следователь встал с кресла.

— И окна на восход, — охотно подтвердил он и улыбнулся. — Что же тебе надо, что же тебе надо, Иван Халевин? Сиди целый год и богу молись. Старичок сожитель из божественных. Тепло, сухо, солнышко светит...

Он быстро подошел к арестованному и взял его за плечо.

— Хорошая камера, и окна на восток, и старичок божественный, и кормят вволю, а хочется на волю. Ведь хочется? — спросил он в упор. — Конечно, хо-

чется, — ответил сам себе следователь. — Пора, пора на волю. Засиделся ты здесь, зачаврел. Жена-то, чай, ждет не дождется...

Иван Халевин молчал. При упоминании о жене у него опять заломило в висках и такая тупая, нестерпимая боль охватила все его тело, что если бы он был один, то, верно, расшиб бы себе голову о каменную стену. И в то же время не хотелось ни метаться, ни плакать. Он сидел, укутанный в свое дикое тряпье, и молчал.

Следователь все не спускал руки с его плеча.

— Ты вот говоришь — свиданье... — сказал он ласково, — ну, что ж, свиданье можно. Я тебе и дам его, пожалуй, в этом плохого нету. Но не это главное...

Халевин молчал. Ему было все равно.

— Но это не главное, — повторил Державин, — главное в том, что пора вылезать из ямы. Пора.

Он придвинул свой стул к табуретке узника и сел с ним рядом.

— Вот недавно ко мне приходила твоя жена, плакала: "Отпустите моего мужа на волю, он ни в чем не виноват. Его, мол, другие запутали". Что же, говорю, я и отпущу. Допрос вот сниму, запишу все по порядку и отпущу...

Следователь возбужденно взмахнул руками, и лицо его вспыхнуло.

— И отпущу, ей-богу, отпущу, — почти закричал он, — напишу бумагу, поставлю печать и отпущу. Иди на все четыре стороны, к жене. Она-то, чай, и думать о себе позабыла. Другого завела, — говорил он, всматриваясь в лицо Халевина.

Ага! — кольнуло сердечко.

Он жирно, добродушно засмеялся и замахал руками.

— Нет, нет, не позабыла. Почитай, каждый день ко мне приходит, плачет. Отпусти да отпусти. А я ей: "Что я могу вам, сударыня, сделать, коли он сам себе первейший враг и губитель. Против рожна ведь не попрешь".

Халевин все молчал.

Тогда следователь вдруг отпустил его плечо и резко встал со стула.

— Однако довольно заниматься дурачеством, — сказал он внушительно. — Надо, сударь, дело делать, мы не ребята. Сейчас же вам формально обещаю: ежели вы во всем сознаетесь и откроете мне по истине, что вы с вашей злодейской сволочью против премудрой матери нашей замышляли, и какие люди в сих адских замыслах участие принимали, а также обнаружите их воровские прожекты на будущее, то я вас, согласно манифесту от 29 октября 1773 года, отпущу совсем, понятно? А прежде всего будьте столь ласковы и объясните мне откровенно, кто за человек сей Арапов и куда он подался.

Это имя как бы обожгло его язык, и он повторил еще раз:

— Арапов, Арапов. Его дурачество — злодейский премьер-майор Арапов.

— Я о нем доподлинно ничего не знаю, — искренне сказал Халевин. — Известно мне, что он вроде как крепостной полкового переводчика с татарского, а что все прочего касаемо...

Он увидел, как перекосилось лицо следователя, и оборвал себя на полуфразе.

— Лжете, сударь, — сказал следователь увесисто и спокойно. — Вам, да не известно! Вам все, сударь, известно. Все, до мелочи. Зачем вы мне лжете?

Он прошелся по комнате.

— Бывший бургомистр Халевин, — сказал он трубным голосом, — зачем вы мне лжете? Ведь нам и так все известно. Все решительно. Зачем же вы запираетесь, а?

Он взял со стола исписанный лист бумаги и помахал им перед носом арестованного.

— Вы хотите, чтобы я сам выявил ваши злодейские намерения. Ну, что ж, — крикнул он, — пожалуй. Слушайте.

И он стал читать громко, выявляя оттенок каждого слова.

”Бургомистр Иван Халевин

Сперва запирался, но был уличен, что у него было сонмище с протопопом и прочих старших градских о вышереченной встрече; он велел нарядить двух человек от купечества с подводами, дабы ехать к атаману и сказать, что граждане без сопровождения склоняются и что готовы его встретить; он, по известиям, что атаман близко едет, и посылал в церковь, чтобы протопоп с крестами выходил скорее; он велел покупать хлеб и калачи для встречи; он сборную денежную казну атаману предъявил; он велел высылать граждан на бой против г. премьер-майора Муфеля; он велел списывать с манифеста злодейскую копию. Он должен почесться начальником и виновником зла того, как первый человек в граде”.

— Вот. — Он скомкал бумагу и бросил ее на стол. — Видите, сударь, ваша гибель неизбежна, и ежели вы мне посмеете вперед запираться, то вы погибли, ибо чем вы можете перед законом оправдаться? Вы — бургомистр, человек не подлого состояния, следовательно, ваши поступки должны сообразоваться с действительностью. Я знаю, вы скажете, что думали на злодея, что он действительно есть император. Вздор, сударь. Вздор, вздор и вздор. Император Петр III умер и лежит в гробу. Вы сами сие знаете отлично. Не мне вам рассказывать. Да если бы и вышло так, что император спасся в тот день, — Державин тонко улыбнулся, — то откуда он взялся через одиннадцать лет после своей смерти? Где был до этого, ась? Но ежели бы и был жив, то разве он пришел бы к казакам требовать себе помощи? Нет разве на свете государей, друзей его и сродников, кто бы за него заступился, кроме беглых людей — казаков?

У него есть отечество Голштиния и свойственник великий государь прусский, которого вы ужас и силу, как человек военный, бывши против него на вой-

не, довольно знаете. Бросьте, сударь, как человек разумный, вы сами над сим смеетесь.

Он подошел к столу и рывком схватился за звонок.

— Там, в соседней комнате, — сказал он вошедшему солдату, — сидит женщина. Пусть зайдет через час.

Солдат вышел. Следователь поглядел на арестованного.

— Ну, сударь, — сказал он значительно, — все теперь зависит от вас. Жена ваша ждет вас внизу. Решайте.

Халевин поднял голову, и в его глазах заискрилось веселое безумие.

— Хорошо, ваше благородие, — сказал он глухо. — Я все расскажу. Пишите.

И он стал рассказывать, как была взята Самара.

Глава третья

ОСАДА

I

Ночью Ивана Халевина разбудил стук в окно. Нащупывая ногами туфли, он вскочил с постели.

Снаружи барабанили по раме, барабанили неустанно и с такой свирепой силой, что на столе дрожало желтое пламя ночника, а за стеклянной перегородкой шкафа подпрыгивали и тонко верещали фарфоровые чашки. Под подушкой у Халевина лежал заряженный пистолет. Он достал его, взвел курок и, держа в вытянутой руке, подошел к окну... Стук на минуту прекратился, и в короткий промежуток тишины ясно прозвучали два голоса.

Опустив руку с пистолетом, Халевин стоял, притаив дыхание, и слушал.

— Да что, вы передохли там, что ли? — крикнул бас, и в ту же минуту ставня задрожала, гулко ударяясь о стекло, — в комнату брызнула замазка и стеклянные искры.

— Кто там? — крикнул Халевин, отскакивая от рамы. — Куда вы стучите? Опились, что ли?

Ему ответили два голоса сразу:

— Иван Афанасьевич, отворите дверь, все наши хлопцы разбежались, стучим, стучим, никак достучаться не можем.

— Это я, я! — услышал Халевин второй голос. — Я, капитан Балахонцев! Беда, Иван Афанасьевич! Злодеи-то под самым городом.

Халевин осторожно положил пистолет на стол и отпер ставни.

Чадный огонь факелов ударил ему в глаза, и он на минуту закрыл их.

Странная картина представилась ему.

На улице, почти перед самым окном, стояла телега, покрытая серым холстом, доверху нагруженная каким-то скарбом и дважды — вдоль и поперек — перетянутая веревками. Около нее грудились какие-то ящики, разрозненные части орудий и с десяток ружей, сложенных на земле. Несколько поодаль от этой странной клади, не то охраняя ее, не то ожидая каких-то приказаний, стояла, тихо переговариваясь, небольшая кучка людей. При сером свете наступающего утра Халевину показалось, что он может различить неясное сверканье мундиров и синий отблеск штыков.

Это была часть регулярной пехоты.

Капитан Балахонцев, в полушубке, в тяжелой меховой шапке, стоял около окна, и его протянутая рука заметно дрожала.

Мутный свет факелов вновь приблизился, запрыгал по желтому снегу, и при свете его Халевин увидел спутника Балахонцева. Это был казначей полка Иван Семенович Пунин — краснобай, картежник и лихой рубака. Время от времени он зябко передерги-

вал плечами, и тогда рот его кривился в гримасу. Очевидно, кроме всего прочего толстяку было изрядно холодно, и он только сдерживался, чтобы не залязгать зубами. Впрочем, не было видно, чтобы он трусил.

Дураком и трусом был один Балахонцев.

— Отворите дверь, — крикнул Пунин, — надо переговорить.

Когда, шаря руками в темноте и натыкаясь на мебель, Халевин вышел в коридор, его поразило безлюдье дома.

Дом стоял огромный, пустой и гулкий. Только в людской на диване, как-то по-особому подвернув под себя ноги, спал смертельно усталый за день, а может быть и пьяный, приказчик.

Не будя его, Халевин пронесся дальше. Второпях он позабыл взять с собой огня, и ему пришлось порядком повозиться у наружных дверей, прежде чем он справился с хитрым затвором.

Фыркая и хрипя, в синем облаке морозного пара ввалился Балахонцев, а за ним казначей.

Балахонцев был бледен той особенной землистой бледностью, которую Халевин не раз наблюдал у солдат, возвращающихся с фронта. Казначей сдерживался, но по сизому лицу, искусанным губам и руке, судорожно спрятанной в карман (другую он протянул Халевину), было ясно, что и ему не по себе.

— Вот, я говорил, — сказал Балахонцев хрипло, — я сто тысяч раз говорил и писал в Москву, я докладывал его высокопревосходительству Кару; я писал его высокопревосходительству Бибикову, я письменно припадал к ногам ее императорского величества, — я говорил им всем, что с гарнизоном, который сам смотрит, как бы предаться злодею, мне делать нечего.

Он вдруг закашлялся и махнул рукой.

— Все несчастье именно в гарнизоне, — сказал рассудительно казначей. — Гарнизон мал и неверен, — прелестные листы, разосланные злодеем, оказывают

непреодолимое действие на слабые умы солдат. Надо бы было сюда прислать сибирских пехотинцев или петербургских гренадеров.

— А что мы можем сделать сейчас с нашими силами, — крикнул Балахонцев. — Только одно — нагрузить на телегу архивы государственные, взять денежные ящики, собрать ружья и...

— Ибо, если мы погибнем, — предупредительно пояснил казначей, — какая будет из того польза всемилостивейшей нашей монархине.

— Нет, — сказал Балахонцев важно, — напротив того, мы уезжаем, чтобы до конца выполнить долг присяги.

— Подождите, господа, — сказал Халевин, — я все-таки ничего не понимаю.

Тогда заговорили сразу оба.

Как это Халевин ничего не знает? Пугачев со своими войсками стоит за тридцать верст от города. У него пушки, бомбы, тысяч двадцать войска, и он идет на Самару, мутя крестьян и вешая помещиков. Все поселки, предместья и деревни уже находятся в его руках. Вешают же помещиков киргиз-кайсаки с вырванными ноздрями и клейменым лбом. По-русски они не понимают ни бельмеса, так что моли их не моли, все равно.

— Позвольте, позвольте, господа офицеры, — рассудительно сказал Халевин, — да разве прилично офицерам, узнав о нашествии злодейского атамана, бежать, бросив город беззащитным и безоружным. Наше дело — умереть, не дрогнув и не сдавшись. Петля ли, штык ли, топор ли палаческий, — все смерти одинаковы перед отчизной. Подумайте, — крикнул Халевин, поднимая руку, — прилично ли гвардии офицеру, увозя архивы и ящики денежные, увозить в то же время и персону свою, заранее петле и мечу обреченную? Сомневаюсь!

Пунин пожал плечами и ничего не ответил. Балахонцев бросил на него искоса быстрый, внимательный взгляд и пожал плечами.

— Верность долгу присяги — есть первейшая доблесть дворянская, — сказал Халевин нравоучительно. — Умереть за отчизну — есть ли где жребий прелестней?

— Там, на дворе, — хмурясь, перебил его толстяк, — ждут лошади. Для вас мы тоже заготовили повозку. Берите жену, бумаги и...

— Итак, вы все-таки покидаете город? — спросил Халевин удивленно. — Без боя, без одного выстрела, без сопротивления... Воля ваша, но я что-то не пойму.

Балахонцев молчал.

— Город имеет бастионы. Он вооружен пушками, его гарнизон достаточно силен и многочислен, чтобы выдержать недельную осаду, а вы покидаете город.

Из спальни, шатаясь от сна и держась рукой за стену, вышла жена, сзади шел слуга, неся подсвечник. Халевин подошел к нему, вырвал из его рук свечу и поставил на сундук. Потом подошел к жене и положил ей руку на плечо.

— Милая, — сказал он, — собери самые нужные вещи и садись в карету — ты поедешь с господином Балахонцевым, он был так любезен, что приготовил все нужное.

— А вы? — спросил Балахонцев, смотря на Халевина широкими от страха и злобы глазами.

— А ты? — спросила жена, подходя к Халевину и беря его за руку. — Разве ты не поедешь со мной?

Он хотел ей ответить, но через плохо прикрытую и дымящуюся от морозного пара дверь раздался визг полозьев по снегу и сиплый голос ямщика.

Это везли на подводах бумаги архива государственного.

Потом вдруг резко и четко зазвенело железо о камень мостовой.

Тронулись пушки.

Балахонцев схватил Халевина за руку.

— Слышите? — сказал он резко. — Бросьте свое дурачество, вы едете вместе с нами.

Халевин с улыбкой посмотрел ему в лицо.

— Город я не оставлю, — сказал он твердо.

Балахонцев дернул за полу казначея, казначей посмотрел на Балахонцева.

— Смею утрудить вас вопросом, — спросил он вежливо, — чего вы сим маневром достигнуть хотите? Геройство свое выявить или петлю на шею получить? Смею уверить вас, что злодейская сволочь, воистину, мало доблесть духа ценит, и сдается мне, сударь, что храбры вы до первой перекладины.

Халевин отрицательно покачал головой.

— Вам ли, — сказал он просто, — дворянину, совращать с пути чести человека сословия низшего, мы носим в руках не шпаги, но весы, — он ударил себя в грудь, — однако и в нас доблесть духа обитать может.

— Прелюбопытное, однако, рассуждение, — сказал, зло улыбаясь, Балахонцев. — Однако ваша жена, кажется, с сим не согласна.

Жена Халевина смотрела на него в ужасе. Этот быстрый, ядовитый и вежливый разговор был ей совершенно непонятен. Решение мужа остаться в осажденном городе не вязалось ни с чем. Ей это казалось скверной шуткой или недоразумением. Только присутствие казначея и капитана Балахонцева мешало ей броситься на шею мужу и расплакаться. А муж ее улыбался хитро и тонко, как человек, задумавший очень важное и выгодное для себя дело.

— Да, ваша жена вряд ли вам будет благодарна за сие, — сказал Пунин.

Он вдруг подошел к Халевину и взял его за пуговицу.

— Жертвовать своей головой — дело не трудное и хитрости здесь большой нет. Надо же, однако, сударь, чтобы самая жертва обстоятельствами оправдана была. А вы, — зачем вы здесь, сударь, остаетесь? Какая из сего государственная польза проистечь может?

— Такая, — сказал Халевин с ясной улыбкой, — что дворянство и офицерство увидит, на что человек

и незнатного рождения решиться может. Поезжайте к Бибикову и скажите ему...

— Но слушайте, — крикнул Балахонцев, окончательно сбитый с толку, — знаете ли вы, что вы меня подводите, что вы меня, неведомо почему, сим вашим поступком, диким и неразумным, в яму толкаете?

— Знаю, — сказал Халевин, — знаю все, господин Балахонцев. Потому и остаюсь, что знаю.

* * *

...Плача, она укладывала корзины, ее лицо распухло от слез, и под глазами опустились лиловые мешки. Сейчас же после того как Балахонцев, а за ним казначей с ругательствами захлопнули дверь, она бросилась, плача, к мужу и стала молить не погубить себя и ее.

Он поднял ее на руки, отнес в комнату и, улыбаясь, приказал молчать. Потом подошел к столу и, взяв пистолет за дуло, протянул ей.

— Спрячь, — сказал он коротко.

— А ты? — спросила жена.

Халевин покачал головой.

— Мне его больше не нужно, — ответил он и вдруг улыбнулся. — Милая Маша, какая ты у меня глупая, ужели ты думаешь, что я затем остаюсь, чтобы подставить шею петле! Ах, как ты плохо знаешь своего мужа.

Она смотрела на него широко открытыми глазами и ничего не понимала.

Треща, догорала свеча, и лиловые тени метались по стене.

— Эх, ты, — сказал он ласково. — Эх, ты, святая простота. И ничего-то ты у меня не понимаешь. Ну, ладно, поезжай, поезжай, матушке кланяйся, скажи ей...

Он глубоко вздохнул.

— ...скажи ей... Нет, впрочем, ничего не говори.

Слезы застилали ей глаза, и она уже не видела ни улыбки его, ни лица, ни добрых, смеющихся глаз.

Он помог ей запаковать корзины, сам довел до повозки, закрыл дверь и, махнув рукой, поспешно пошел прочь.

Так в маленькой крытой карете, то плача и ломая руки, то снова затихая, она доехала до первой станции. После того как карета тронулась, ей вдруг стало совершенно ясно, что мужа она уж больше не увидит. Она терла глаза кулаком, плакала, потом затихала, не то засыпая, не то теряя сознание, — но даже во сне ворочалась и всхлипывала, как маленький ребенок.

Когда на другой день они доехали до большого торгового села и остановились, чтобы переменить дымящихся от усталости лошадей, она, желая узнать что-либо про мужа, вышла на станцию.

И сейчас же около повозки услышала разговор, в котором часто упоминалась фамилия Халевина.

Стояли и говорили, не видя ее, трое.

Балахонцев, Пунин и молодой безусый офицер, которого она раньше не знала и никогда не видела.

— Я знаю, — говорил Балахонцев, — я знаю, к чему все сие делается; все это негодяйство и мерзость, — просто хочет, подлец, крест на шею заработать. Спрячется в погреб и будет сидеть до прибытия наших войск, вот и вся недолга.

Молодой офицер, не соглашаясь, покачал головой.

— Поступок истинного россиянина, — сказал он, — наш бургомистр не на словах, а на деле — герой.

Пунин не принимал участия в разговоре; он стоял молча, наклонив круглую умную голову.

Офицер картинно взмахнул рукой.

— Если бы сей герой явился во времена аттические...

Пунин вдруг повернулся к офицеру.

— Не герой и не подлец, — сказал он просто, — а государственный изменник.

* * *

Возвратившись домой после проводов жены, Иван Халевин стал сейчас же собираться.

Отпер боковой шкаф и вынул из него оружие: пару кремневых пистолетов, офицерскую шпагу и два зашитых мешочка с порохом.

Старое кремневое ружье с огромным зубчатым кремнем и золотой насечкой он осмотрел два раза и, наконец, решительно отодвинул в сторону: для обороны оно не годилось. В крайнем случае, его можно было оставить про запас, для поднесения какому-нибудь пугачевскому воеводе.

Несколько бумаг лежали внизу шкафа, и он тщательно сжег их на свечке, а пепел растоптал и развеял по комнате. Потом он поднялся вверх, в картинную галерею, — так он любил называть верхнюю половину своего дома, — и тщательно осмотрел все стены. Картин у него было очень много: и в гостиной, и в спальне, и даже в людской, — всюду висели большие, тяжелые полотна в неуклюжих золотых рамах.

Он любил картины и скупал их везде, где находил. Сначала он довольствовался одной Самарой, потом списался с Симбирском и Казанью, а за последнее время ему удалось завязать отношения с Щукиным подворьем, и вот оттуда, вместе с партией сукна и ситца, стали приходить товары совершенно иного рода: старинные гравюры на больших синеватых листах, тонкие четырехугольные доски с ликами святых, толстые и неширокие доски с темной живописью, ушедшей глубоко внутрь.

Перевозка таких картин была делом нелегким. Огромные, как паруса, полотна посылались свернутые в трубку, гравюры укладывались в папки, доски шли в ящиках, тщательно обитых рогожей или наполненных древесными стружками.

Картины Халевин собирал уже несколько лет и хотя мало понимал их смысл и достоинство, но каждый жанр у него имел свое особое место. Так, над

письменным столом висела небольшая, темная картина, изображающая монаха с раскрытой книгой и черепом. В спальне, над кроватью, блестело огромное розовое полотно, изображавшее толстую женщину с склонившимся над ней лебедем. Над столом висели убитые зайцы, груда фруктов и небольшая старинная гравюра, изображающая человека в богатом платье, поднявшего серебряный стакан, доверху наполненный вином.

Портреты королей, императоров и вельмож он развесил в коридоре и особом двухсветном зале, смотря по рамкам: похуже — в коридор, получше — в зале.

Теперь, проходя по комнатам, он не тронул картин ни в спальне, ни в столовой, ни в кабинете, зато тщательно осмотрел весь зал. Он достался ему по дешевке от какого-то разорившегося дворянина, который продавал картины, как яблоки, — оптом. Он осмотрел галерею и покачал головой. Багровые мантии, золотые короны, скипетры в одной руке, державы — в другой, ленты, кресты, звезды... Он покачал головой. Нет, это не годилось. Вот улыбается со стены мужчина в белом воротничке; аккуратные желтые волосы зачесаны у него в какую-то несложную прическу и невероятно просты и изящны манжеты на холеных маленьких ручках.

Это английский король Карл I.

Сто лет тому назад, возможно, в тех же манжетах и в том же белом воротничке, он взошел на эшафот, и народ кричал от восторга, когда палач, схватив за волосы кровавый обрубок головы, показал его народу.

Не спасли, значит, ни багряница, ни корона, ни вера в божественное происхождение царской власти. У него оказалась кровь такого же цвета, как у всех, и шейные позвонки так же тонко хрустнули под тяжелым топором, как у любого из смертных.

Король улыбался, и, улыбаясь же, на него смотрел Халевин.

— Ах, ваше величество, ваше императорское величество, вы не зря умерли на эшафоте! Вы открыли широкую торную дорогу. Отныне трон и помост стоят рядом в сознании народном, и неизвестно, кто первым из государей европейских взойдет вслед за вами. Убивали императоров и раньше, но их душили, травили ядом, запарывали кинжалом. Вас же казнили публично. Казнь императора, — она уже вошла в сознание народа.

...Когда в комнату вошел слуга, он застал хозяина за странным занятием. Стоя на стуле, Халевин снимал со стены портреты, смотрел на них мельком и откладывал в сторону.

Огромная груда черных полотен в рамах и без рам валялась около стула.

Отдельно от других лежал портрет Екатерины II.

Слуга на минуту оглох от биения собственного сердца и остановился, глядя на барина.

Барин слез со стула и подошел к нему.

— Так вот какие дела, Мишка, — сказал он лукаво. — Были в чести графы, императоры, князья, а теперь видишь, какой им почет.

Мишка все еще ничего не понимал.

— Что ж ты смотришь? — спросил Халевин грубо. — Царствовали, сверкали, людей в гроб живыми загоняли, головы рубили, изобрели букли и колесование, пора и честь знать.

Он взял острый нож и аккуратно, крест-накрест перерезал сначала портрет Юлия Цезаря, потом Елизавету Английскую, потом лысого и бородатого герцога Альбу, потом отыскал в груде полотен какого-то мелкого немецкого князька с огромной звездой на камзоле и ловким движением ноги превратил портрет в клочья.

— Хорошо? — спросил он Мишку.

Мишка с наслаждением смотрел на него.

— Хорошо! — ответил он, глубоко вдыхая воздух. — Ах, как хорошо, сударь! Висели, царствовали, а теперь...

— Это еще не все, Мишка, — сказал Халевин с хитрой улыбкой и вдруг сел на корточки перед грудой портретов. — Мы их еще сейчас огню предадим. — И, схватив кусок полотна, он изо всей силы рванул его к себе. Полотно затрещало, он рванул еще и отбросил в сторону черную, глянцевитую тряпку.

— Рви, Мишка! — закричал он. — Рви, Мишка, чего смотришь!

И вот они сидели в комнате, резали на части и рвали тяжелые блестящие полотна.

— Мы им такой костер устроим, — говорил Халевин хрипло, — что небу жарко станет...

Как дрова, они относили портреты во двор охапками и приходили за новыми. Последним в комнате остался портрет Екатерины. Мишка поднял его, как образ, обеими руками.

— Последний, — сказал он, кряхтя.

Халевин посмотрел на портрет прищурясь.

— Этот не надо, — сказал он задумчиво, — этот мы на память оставим. Мы на нем другой портрет нарисуем, прямо с натуры. Батюшка вверху, а матушка внизу. Петра на Екатерине. Вот и будет ладно. Мишка! — закричал он вдруг. — Что же ты смотришь, тетеря, хватай их, бери в охапку, складывай один на другой.

И уж пылал костер, когда из комнаты прибежал Мишка с новым портретом.

— Этого что ж вы забыли, Иван Афанасьевич, — сказал он, поднимая небольшой поясной портрет без рамы.

Халевин посмотрел на портрет, прищурившись.

— А ты знаешь, кто это? — спросил он.

Мишка покачал головой.

— Это сам государь Петр Федорович, — сказал Халевин.

Мишка отложил портрет в сторону.

— В мантии, со звездами, — сказал он с легким сожалением, — и в руке царская палка зажата. Значит, не трогать? Пускай себе висит?

Халевин вдруг взял портрет и бросил его в костер.

— Ничего, сгорит, как и все. Наш государь не такой, наш государь короны не носит, он короны вместе с головами сбрасывает. Да ты не бойся, Мишка, ты смотри, как он горит, инда искры сыплются.

Костер пылал.

II

Когда через час Халевин вышел из дому, было уж совсем светло.

Огромная толпа стояла на улице, люди молчаливо теснились на тротуаре. Халевин осмотрелся.

Бараньи шубы, овчинные полушубки, мохнатые шапки, нет больше ни камзолов, ни кружевных парижских шляпок, легких и сквозных, как морская пена, ни фраков с высокими воротниками, ни уродливых жабо. Работая обоими плечами, он протиснулся в глубь толпы.

Последние запоздавшие обозы покидали город. Их провожали без шуток и смеха, с безмолвным недоброжелательством.

Халевин поглядел на толпу. Ничего, еще пускают, хотя и не так охотно. А сколько здесь раскрасневшихся лиц, горящих глаз, полуоткрытых ртов, как они жадно смотрят на отъезжающих.

Перепуганный протопоп протискивался через толпу.

Он работал локтями, но его пускали неохотно, а кто-то даже толкнул попа плечом, и он пошатнулся.

— Пустите, пустите, православные! — кричал он, отдуваясь. Он дошел до Халевина и схватил его за плечо.

— Ну, Иван Афанасьевич, — зашептал он, делая страшные глаза, — искал, искал начальство, с ног сбился, никого нет. Слава богу, что хоть вас нашел. Что же делать, что делать, голубчик? Войска-то ведь

7-1949

в город вступают. Деревни, слышно, сдались все. Через час-другой он здесь будет. А церкви...

— Что церкви? — спросил Халевин.

Протопоп досадливо взмахнул рукой.

— Ах, господи, он же еще и спрашивает! Да когда победитель на коне белом въезжает, надлежит ведь ему по церковному чину славословие творить и в колокол звонить.

— Ах, вот вы про что, — улыбнулся Халевин и вдруг деловито сдвинул брови. — Ну, конечно, конечно. Чтобы во всех церквах и во все колокола. Чтоб такой мне трезвон был, как в духов день или на пасху. Вы в ответе.

— Вот, вот, — обрадовался протопоп, — я же это и говорю. Ведь кого первого за шиворот возьмут — протопопа. Встречать надо победителя, встречать, как в чине священном написано, так и надо.

Он вдруг схватил Халевина за край шубы.

— Так вы уж идите со мной, — сказал он. — Как вы теперь главное наше начальство.

Всю дорогу они молчали, и только у самой церкви протопоп снова схватил Халевина за рукав.

— А акафист? — спросил он испуганно, шепотом. — Тоже петь?

— И акафист, — сказал Халевин. — Акафист обязательно!

Протопоп помолчал.

— Ну, а как с поминанием о царском здравии? — спросил он вдруг. — То есть насчет Екатерины Алексеевны?

— Выбросить, — крикнул Халевин, — к черту выбросить, нет больше над нами императрицы Екатерины Алексеевны, нет над нами тех мучителей, кои кровь человеческую как воду проливают и братьев своих, по рождению им равных, рабами держат. — Он поднял кверху палец. — Ныне человечество, — сказал он, задыхаясь, — вновь возвращается в натуральное состояние свое.

— Так, так, — сказал протопоп, — значит, выбросить. А как насчет хлеба с солью? Самим ли нам его выносить или кого другого пошлете?

Халевин шел, убыстряя шаг. Протопоп бежал за ним, хватая его за руку.

Вошли в придел.

— Вы уж мне записочку дайте, — сказал протопоп просительно, — я — человек маленький, этих дел не понимаю. Вы — наша голова, мы — ваши уды.

III

После этого началось то скопище Халевина с протопопом, протопопа со священником, священника с пономарем и пономаря с прихожанами, которое впоследствии инкриминировалось Халевину на допросе.

Первыми в комнату вошли купецкие старшины.

Старик и молодой.

Старик был бледен, но решителен. Войдя в дверь, он поклонился сначала протопопу, потом небрежно кивнул Халевину и остановился, прямой и строгий, держа руки по швам.

— Ну, здравствуйте, соколы, — сказал Халевин, осматривая их, — здравствуйте, здравствуйте. Что так приуныли, али в торговле какая проруха?

— Проруха — дело наживное, — сказал старик. — Мы, как люди торговые, за прорухой не гонимся. Тут за свою голову сумленье берет. Своя голова на плечах не крепка.

Халевин подмигнул протопопу.

— Так вот он вам грехи отпустит, — сказал он весело. — Батюшка, отпустишь? Вон кумовья за свою голову болеют. Голова не пропадет, — сказал он строго, — была бы она умна, в этом все дело.

Купцы переглянулись.

— Да ведь не глупее Балахонцева, — сказал старик, — а вот он вчера скарб свой забрал, деньги в ящик, ящик на подводу, сам на лошадей, да в три кнута их. Сейчас догоняй — не догонишь.

— А кто поумнее — тот жен отправил, — сказал молодой. — Сам остался, а жену отправил.

— Надо будет, так догоним, — сказал беззаботно Халевин, не обращая никакого внимания на слова младшего. — Ну да наш батюшка не из гневливых, он, верно, и догонять не будет.

— Батюшка? — тихо переспросил старик. — Ох, смотри, не прошибись, сокол!

— Батюшка, — ответил, не сморгнув, Халевин, — а ты что, аль не веришь?

— Нам что, — холодно ответил старик. — Что нам не веровать, мы — люди торговые, мы ваших энтих делов не знаем. Нам что матушка, что батюшка, что горшок, что сковородка — одна честь, была бы голова на плечах да товар в балаганах, за всем остальным мы не гонимся. Это уж вы с батюшкой разрабатывайте, авось вам за это какой орден дадут. — Он широко махнул рукой.

— Так вот вы как? — сказал Халевин задумчиво.

— Да уж так, — дерзко ответил купец, — Ты нас, голубь, в свои дела не мешай. Твой риск, твоя и удача, мы за все не в ответе. Я уж стар, а ты, как я посмотрю, уж больно шустер. Горшку с котлом какое плавание! Мы — сторонние, мы не вмешиваемся.

Халевин прошелся по комнате и остановился прямо перед стариком.

— Ан вмешаться придется, — сказал он. — Как батюшка наш въедет в город, так мы вас первых головой выдадим.

Купцы молчали. Халевин кивнул головой на протопопа.

— Мы вот с отцом протопопом насчет встречи с Христовым молебном соображали, — сказал он.

— С молебном? — переспросил старик, косясь на протопопа. — Что же, молебен дело хорошее.

— И от вас бы, — сказал Халевин, глядя на них в упор, — и от вас бы не мешало выделить человека с подводами, дабы они от купечества свое полное повиновение и детскую любовь выказали.

Купцы молчали. Халевин посмотрел на протопопа.

— Упорствуют кумовья-то, — сказал он. — Казну свою боятся потерять. Им казна души дороже. Хотят вот и за матушку и за батюшку стоять одинаково, и туды, и сюды, купецкая-то шкура податлива. Да нет, чаю, этак не выйдет. Объясни им это, отец протопоп.

Протопоп поднял руку.

— Все в руце божьей, — сказал он неуверенно, — и ежели многие великие победы и одоление нашим государем уже одержаны...

— Государем?? — крякнул старик.

Протопоп посмотрел на него в смятении.

— ...то сие не токмо одному случаю прописать возможно, но и промыслу всевышнего, ибо славное русское воинство под его крестом одоление одерживает.

— Поэтому ты и молебен служишь, — сказал старик. — Ну, понятно — получишь за это камилавку на голову. Архиереем он тебя поставит. Глядишь, ручку целовать попы у тебя будут. Однако нам, как людям торговым, сие в расчет не входит.

— Сегодня один, а завтра другой, — бойко подхватил его спутник. — Этот по головке погладит, а другой придет — шкуру до пят спустит. Вот и разбирайся.

Старик с усмешкой посмотрел на него.

— Придут, товара даром нахватают, своих людей по купецким домам разведут, насрамят, нагадят, около лавок ни пройти ни проехать, а ты на него улыбайся да спину гни. Того-то не прикажете? Этого-с возьмите? А про деньги уж нишкни, и есть — так не заплатят. Да откуда у них, голья, деньги, так, медными пуговицами платят.

— А торговле-то убыток, — улыбнулся младший.

— Нам ни матушка, ни батюшка не дороги, — сказал старик, как будто бы обращаясь только к своему спутнику, — нам дело бы было, а теперь выходит — ни туда, ни сюда податься нельзя, везде купцу разор.

Младший засмеялся и, окончательно осмелев, махнул рукой.

— Царь, говорит, — сказал он, кивая головой на Халевина. — Ампиратор! Хорош царь — если всякую сволочь за собой таскает. Прибегал тут к нам один из его войска, говорил, что он там за дичь понабрал. Холопы без ушей, вместо носа одни дырки, да киргизы, да беглые каторжники. На приступ-то идут — визг поднимут, что твои сычи. А оружие-то — дубины да косы, с таким-то, небось, против пушек не попрешь. Пустое все это дело, только времени оттяжка.

— А торговле-то убыток, — вздохнул старик.

Халевин засунул руки в карманы.

— Так, значит, не пойдете встречать? — спросил он.

— Нам почему не пойти, — сказал старший со спокойной наглостью. — Мы пойдем, нам прок бы был.

— А прок будет, — пообещал Халевин.

— А какой нам прок-то будет? — спросил купец, улыбаясь.

— Голова на плечах уцелеет.

— Да ты не грозись, — крикнул купец. — Ты меня не пужай, видали мы таких шустрых.

— Я не пугаю, — сказал Халевин. — Я тебе истинно обсказываю. Пойдешь — с головой останешься. Ты подумай, голова-то твоя только тебе и дорога. Нам ее даром не надо. И без тебя есть кому народ обманывать. Заворовался! Посмотри, мужиков-то иссушил всех, как лихоманка! Подожди, они власть получат, тебя, старого борова, вспомнят. Они тебе покажут аз и ферт.

Старик побледнел, но не сдался.

— Что мне показывать? — крикнул он. — Что мне показывать, бессовестный? Наше дело купецкое, честное, исстари от отцов ведется. Мы, может, купцы не от одного поколения, не такие, как ты, голоштанник.

— Вот тебе все поколения и припомнят, — зло улыбнулся Халевин, — и отца, и деда покажут. За всех своей шкурой поплатишься. Ты какие проценты берешь? У тебя на рубль рубль интереса получается!

Подожди, то ли будет. Всех вас как пауков передавим. И ахнуть не успеешь.

Купец махнул рукой.

—И так и так пропадать, — сказал он тоскливо. — К каким часам подводы-то подавать?

Когда они ушли, протопоп со страхом покосился на Халевина.

— Ой, ладно ли мы, голубь, поступаем? — спросил он с тоской. — Как бы нам за то головы не поснимали.

Халевин засмеялся.

— Ладно, батюшка, — сказал он, — так ладно, как еще в своей жизни не поступали. Вот ты увидишь, как хорошо будет.

IV

Он бегал по городу и собирал людей. Встретил пономаря Ивана Семенова и сейчас же набросился на него.

— Ой, что ж ты бегаешь по городу без толку, иди сейчас к протопопу, он там уж весь причт собрал. Иди, иди, скажешь, что я сам буду через час.

Встретил двух купцов, обнял их за плечи и горячо заговорил:

— Что же вы без дела ходите, идите к Илье Бундову, он сейчас коней собирает, выезжает навстречу батюшке. Когда соберетесь, забегайте ко мне. Я приду сейчас же.

Встретил протопопа и засмеялся.

— Ну, что же, батюшка, готов? Что такой бледный, краше в гроб кладут. Зови причт справлять молебен. Пора. Народу-то теперь на улицах видимо-невидимо. Отправишь — приходи ко мне, я ждать буду.

Встретил Мишку и потащил его за собой.

— Ой, Мишка, идем, идем, там у меня подсвечники нужно вычистить. Так нужно вычистить, Мишка, чтобы блестели. Понял? Как солнце блестели.

Около самого своего дома поймал канцеляриста.

— Где же ты пропадаешь, — крикнул он, делая страшные глаза. — Я ищу, ищу, никак доискаться не могу. Идем, идем, там надо копию с манифеста снять; я-то его ищу, я-то голову ломаю, а он вон где бегает.

* * *

В этот день он записал к себе в дневник:

"Сие кажется есть то, что мне всю жизнь ожидать надлежало. Огнь, нож, отраву зрю я окрест себя. Но сердце мое в великом спокойствии пребывает, ибо верю, что и сие во благо человечеству вершится. Мудрость божественная, Вольность! Тебя ли зрю среди сих оборванцев, страшных, грязных и кровавых? Тебя ли зрю в пепле сел сожженных и крови, землю поливающей? Назову ли тебя от сего сказкой нелепой и безрассудной. Усомнюсь ли в тебе, уподобясь тому маловеру, кто пальцы в рану влагáл, дабы познать существенность. Отнюдь! Жизнь мою и веру мою слагаю к твоему подножию, ибо знаю, что ты мудра и божественна, и все мы от лика твоего спасение примем. Вольность великая! Верю, верю".

V

А между тем войско двигалось по дороге.

Голубая снежная пыль, выбившаяся из-под копыт запотевших лошадей, оседала лучистыми кристаллами на малахаях и бараньих шапках.

Арапов ехал впереди.

За ним, громыхая, тянулись неповоротливые и неуклюжие пушки, за пушками ехали всадники. Дикие, раскосые, на низких плотных лошадях, с кривыми свирепыми кинжалами за поясами, они составляли ядро отряда. За ними версты на две тянулась пехота. Пестрая до боли в глазах днем, в ярких лучах

солнца, и совершенно не различаемая ночью и вечером, — она почти сплошь состояла из беглых крепостных. Человеческий состав ее был очень разнообразен. Шли высокие, широкоплечие гиганты и узкогрудые карлики, шли налитые здоровьем и шатающиеся от слабости, шли подростки и старики, шли вслед за пушками, по широкой самарской дороге, вздымая снежную пыль и утопая в сугробах.

В лаптях, сапогах, деревянных ботинках, каких-то диких обмотках из разноцветных тряпок, они утопали по колено в снегу, стирали ноги до крови, ругаясь, садились около верстовых столбов, перевязывали кряжистые неуклюжие ступни, привыкшие к земле и солнцу, потом поднимались и, прихрамывая, бежали за отрядом.

Но особенно тяжело приходилось пушкарям.

При каждом овраге и ручейке им приходилось переносить на руках свои добродушные и тупомордые чудовища. Привыкшие к лошадям, они и пушкам помогали криками, свистом и гиканьем, замахивались на них палками и ругались. Всю остальную дорогу пушкари и орудийная прислуга молчали, — это были все немолодые, мрачные люди, а тяжелая и однообразная работа не располагала к разговорам. Зато целый день, с ранней утренней зари до вечерней, перекликалась пехота. Она была шумна и разноязычна, как птичья стая. То и дело в разных концах ее вспыхивал смех, иногда на минуту появлялась песня, и люди, подхватив, несли ее над головой. Потом через минуту кто-нибудь обрывал ее, и снова человеческая масса, уже забыв о песне, смеялась, разговаривала, ругалась и жаловалась.

То и дело, обдавая их облаком кристаллической снежной пыли, мимо проскакивали всадники в лисьих шапках, украшенных желтыми круглыми перьями. Они оглядывали разговаривающую толпу и, урезая коня плеткой, проносились дальше в сверкающем облаке снежной пыли.

Люди смотрели на дикого, выгнутого, как лира, в стремительном полете коня, на быструю, резкую хватку всадника и одобрительно качали головами.

— Чистые звери, — говорили некоторые.

С ними не соглашались.

— Будешь зверем, коли есть нечего, — возражали им, — у них только и есть, что шапка да конь. Им ведь тоже житье не слаще нашего.

— А что им не жить? Травы в степи много.

— С хорошей травы русский начальник прогнал, а эту и верблюд лопать не станет, — отвечали им, и на этом разговор прекращался вовсе.

Иногда в толпе вспыхивала ссора.

Несколько людей выходили из отряда и, ругаясь, набрасывались друг на друга.

Но до драки обыкновенно дело не доходило. Бойцов сейчас же разнимали, и через полчаса они опять уже мирно ели из одного котла, перевязывали друг другу опухшие ноги, расшибленные головы и засыпали около одного огня.

На отдыхе распрягали лошадей, снимали тяжелые, пахнущие железом котлы, наливали их водой или набивали снегом, и пока повара — это были тоже мужики в косматых зеленых тулупах — сыпали в них бурое зерно, мужики сидели около огня, далеко протянув вперед толстые от наверченных тряпок ноги, и душевно разговаривали.

Когда ночевали под открытым небом, костров было особенно много, и люди, сидящие около них, издали напоминали птичью стаю, слетевшуюся на огонь маяка.

Ели эти люди много и остервенело, до отвала. Не торопясь, по-крестьянски хлебали они мутную жижу, вылавливали ложкой бурые куски мяса и, положив их на загорбок ложки, тщательно остуживали, совали в рот и жевали томительно долго.

Невдалеке от костра заводили в деревенские дворы своих лошадей темногубые всадники с быстрыми рысьими глазами и отдувающимися крыльями нозд-

рей. Они давали лошадям сено, сыпали овес и терпеливо поили их из ведер тяжелой колодезной водой. Деревенские ребята смотрели на всадников с удивлением и прижимались к матерям.

Дикие всадники, которыми их пугали с детства, — воры, губители и убийцы — были теперь смирны, деловиты и немногословны. К удивлению ребят, они и не думали резать своих хозяев. Стройные и прямые, они стояли около лошадей, смотрели им в глаза и тихонько и нежно перебирали бронзовыми пальцами тяжелые от пота холки.

В избе, где помещался атаман, было всегда навалено много бумаги, горела лучина, и несколько человек наклонялись над картой, нарисованной на желтом куске пергамента. Извилистой красной чертой была отмечена линия похода. Она начиналась от станции Берды и кончалась Самарой, помеченной на карте черной звездой. Дорога шла мимо деревень и сел, которые изображались черными пятнами.

Каждый пройденный день Арапов расставлял крестики, урезая красную линию и записывая над ними день и час прихода в деревню. Каждый день красная линия укорачивалась, а крестики уже появлялись около самой звезды. Но самая звезда, черная, загадочная, по-прежнему находилась вне пределов досягаемости. Хотя, по слухам, там и не было крупного боевого отряда, тем не менее последние переходы Арапов не спал совсем. Через каждый час он выходил из избы и ходил по синему, сочно хрустящему снегу. Но смотреть было нечего.

Посты, расположенные на околицах, были в образцовом порядке.

Дозорные не спали, исправно неся за плечами тяжелые, заржавевшие от старости ружья. Они зорко смотрели в голубую метель, часто и без нужды окликая полную и торжественную тишину зимней ночи.

Утром отряд двигался опять.

Скакали всадники, громыхали пушки, впереди на сером аргамаке ехал Арапов, а сзади — два прибли-

женных. Один переводчик с татарского, угрюмый, тонкий, красивый юноша, полурусский, полутатарин, другой уже пожилой, неразговорчивый, с лицом, обезображенным рубцами, с руками, убранными в рукавицы, — на правой руке у него не хватало трех пальцев. Сам царь называл его то графом, то сватом, то просто Егорычем.

Егорыч ехал неторопкой рысью, сосредоточенный и одинокий. Из всех пушкарей, всадников и пехотинцев он был самый молчаливый.

А впереди полка билось, как птица по ветру, облегая тонкое дерево, радужное, обитое золотыми позументами полковое знамя, старое голштинское знамя, принадлежавшее некогда полку Петра Федоровича и сменившее Петербург на дикие киргиз-кайсацкие степи.

VI

Войска ехали в полной готовности.

Впереди артиллерия, за ней конница, за конницей — тяжелая и медлительная пехота. На последней остановке сызнова пересматривали оружие, зарядили пищали, начистили клинки шашек, перебинтовали распухшие ноги. Ехали теперь медленно, высылая вперед дозорных.

Дело в том, что на 30-й версте от Самары раскинулся обширный — в несколько сот дворов — городского вида поселок, не поселок, вернее даже, а небольшая захолустная крепость, укрепленная деревянной стеной и пушками. Населена эта крепость бывшими крепостными, среди которых попадалось много отставных гвардейцев, в былые годы отбывавших солдатчину в Петербурге. Этой крепости Арапов опасался особенно. За день до последнего перехода он опять не спал всю ночь и разговаривал с Егорычем.

— Нет, не сдадут станицы, — говорил он, — солдаты лбы медные, им был бы хлеба кус да водки чарка, они и за нее душу черту отдадут.

Егорыч молча курил трубку.

— Без боя не пройти, — сказал Арапов и покосился на Егорыча. — Хорошо, если там только одна инвалидная команда, а если туда еще Балахонцев со своими войсками пошел!

Егорыч посмотрел на атамана слезящимися, красными глазами.

— Не пошел, — сказал он, не вынимая трубку изо рта. — А пошел, так не пустили. Как ты солдата плохо понимаешь. Солдат, он тоже не дурак, ему своя шкура завсегда барской дороже. Солдат, если кто понять может, для нас самый удобный человек, его уж учили, учили, да и бросили. И генералы учили, и господа учили, и купец учил, и наш брат — ефрейтор учил, утюжили, утюжили его, теперь он самый умный человек на Руси.

Около костров в ту ночь не спали тоже. Здесь все были уверены, что битва будет кровопролитная и жестокая. От стана к стану ходил высокий черный мужик, садился около огня и начинал рассказывать о поселке. Говорил он медленно и складно, и по его словам выходило так, что этот поселок нипочем не взять. В поселке пушек штук пятнадцать, пищалей не счесть, а забор построен из крепких дубовых кольев, да такой крепкий забор, что его нипочем не взять, хоть год под ним стой. Что же касается командира... — тут мужик махнул рукой, — то такая собака командир, что если кто не по его что делает, так засекает на месте. У него солдаты по одной нитке на цыпочках ходят.

— Ишь ты, — удивлялись мужики. — И куда мы в самом деле к черту на рога суемся. Разве нам с такой громадой справиться? И почесать за ухом не успеешь, как голова отскочит.

И, сидя над огнем, они продолжали точить кривые синие ножи, мазать салом скрипучие пищали, набивать порохом и пыжом патроны.

— Еще посмотрим, — говорили они через минуту, вспоминая рассказ черного мужика. — Еще спытаем,

кто кого. И не таких мы шустрых видали. Ай бояться их, собак!

В три часа утра Арапов приказал подниматься.

Двигались в серых предрассветных сумерках, и в тончайшем, ломком от утреннего холодка воздухе звуки были особенно обострены и отчетливы. Голубой туман окутывал людей, лошадей и повозки.

Шли долго.

Наконец за поворотом дороги в разрыве тумана показались овраги. Желтый, замерзший песок, ковыль, снег, и в снегу голубые горы валунов. Летом здесь бежала речка, и теперь над черным льдом был переброшен ветхий, трясущийся от каждого шага березовый мостик.

— Ну, теперь уж скоро, — сказал черный мужик, взглянув на мостик. — Теперь не больше трех верст осталось.

По плотному синеватому снегу сначала переправились люди, потом лошади, мостик скрипел, гнулся, но выдерживал.

— Мост-то не разобрали, — заметил черный мужик, — знать, не ждут нас, а то бы приготовили нам подарков.

Егорыч, наблюдавший со стороны за ходом переправы, резко обернулся на голос.

— Ну, и вышел дурак, — сказал он равнодушно. — Не видишь, мост-то снизу подшит новыми досками, значит, напротив того, сидят, ожидают.

В толпе зашумели.

Действительно, свежие еловые доски, видимо, подбитые совсем недавно, сверкали внизу моста.

— Дела, — вздохнул черный мужик, — вот и понимай теперь, к чему это.

— Да ай солдату сладко живется? — отозвался на его голос старик с мягкими, как лен, волосами и глазами почти небесной голубизны. — Эх ты, Аника-воин! Ты у меня спроси. Я сам в солдатах почти двадцать пять лет прослужил, так все прошел, и там,

скажу, такая же честь: в зубы, да взашей, да в ухо, да опять в зубы. Вот и вся наука. — Он поглядел на черного мужика. — Ты вот поживи с мое, а потом и вякай. А я тебе скажу так, кого солдатская вошь не ела, да кто под шпицрутенами не прыгал, тот и вовсе ничего не знает. И такое мое мнение, что они и вовсе стрелять не должны.

Свистя и гикая, перетаскивали через мостик пушки.

Они шли гуськом, медлительно и важно, подняв к небу тяжелые черные хоботы.

И уже почти закончили переправу, когда вдруг споткнулись на одной, особенно тяжелой и упорной.

Человек десять толкали ее сзади и с боков, а она не двигалась, — стояла на месте и на все усилия отвечала коротким и глухим гулом.

— Вот с таким чертом до ночи провозишься, — сказал злобно наводчик, отходя в сторону. — Не идет, и вся тут. — Он поглядел на мужиков. — Кончай, ребята, все равно ни черта с ней не сделаешь.

— Эх вы, соколы, — крикнул вдруг старик и, распахивая тулуп, бросился к мосткам. — Одним только языком, видно, умеете работать.

Его хотели остановить, но он уже растолкал толпу и, крякая, насел на бурый зад пушки.

— Разве ее так протащишь, — сказал он и вдруг крикнул: — А ну, заходи отседа, вот, вот, ну-ка, ей теперь палку под хоботище. — Он вдруг сердито плюнул. — Да я тебе говорю — палку, а ты мне корягу притащил, вот беспонятный. Достал палку? Ну, давай ее теперь сюда. Нажимай на бока, нажимай, нажимай! Да на бока нажимай, а не на перед! — Старик сбросил с себя совсем тулуп. — Ну-ка, еще раз, — пошла, еще раз пошла, еще раз — пошла. Вот так, так, поехала, матушка, поехала!

Пушка легко прошла через мост, пригибая книзу серебристо-сизые гудящие доски.

Когда пошли на пригорок, сразу же увидали лазутчиков.

Настегивая коней, они неслись по хрустящему снегу, и, взглянув на их радостные, разгоряченные лица, все сразу поняли, что битвы ожидать нечего.

А лазутчики подскакали к оврагу, и один из них, самый смелый и ловкий, не слезая с коня, крикнул:

— Готовьтесь к битве, ребята, там уж и пушки выкатили и сами толпой собрались у ворот. Без крови нипочем не обойдется.

— Не мели, — строго сказал Егорыч, — что ты такое бормочешь? Ишь, язык-то растрепал, аль на свадьбу приехал? Не обойдется так не обойдется, мы, чай, не набранная гвардия, нам не впервой их, собак, гладить.

Войско вышло на равнину.

Скоро показался частокол поселка.

Высокий и крепкий, он действительно мог явиться весьма серьезным препятствием для захвата поселка. Колья, составляющие его, были такими высокими, что из них виднелись только крыши да золотые луковицы колоколен. Но, очевидно, и селенье находилось в ложбине.

— Ладная фортеция, много пороху придется потратить, — сказал старик и, подняв ладонь к глазам, добавил: — А вон и солдатушки.

— Добро, — сказал Арапов, вглядываясь в толпу, стоящую около крепости, — зададим мы им свадьбу.

Он знаком подозвал к себе ординарца, молодого, ладного парня с ровными зубами, и сказал ему что-то, показывая на крепость.

Ординарец кивнул головой и через секунду уже несся по снегу, пригибаясь к луке и горяча коня плетью. Войско следило за ним с тревожным вниманием. Не доезжая саженей ста до крепости, он остановился, вынул из колчана стрелу, вынул из сумки бумагу, обмотал бумагой стрелу и снял с плеча лук.

— Манифест пустит, — как вздох раздалось в толпе.

Далеко выгибаясь вперед, ординарец натянул лук. Махая шапками и крича, к нему мчались из вра-

жеского стана несколько человек. И так как у них не было ни пищалей за плечами, ни пистолетов за поясом, ничего, кроме кинжалов, при их приближении ординарец без всякого колебания отбросил свой лук. А всадники доскакали до ординарца, и первый, ехавший на тонкошеем белом коне, схватил за узду его лошадь и что-то быстро и рьяно заговорил. Потом приблизились остальные и тоже заговорили, показывая на крепость, на пугачевцев, себе на горло и опять на крепость и на пугачевцев. Ординарец сказал несколько слов и тоже показал на крепость. Потом старший ударил ординарца по плечу, они повернули лошадей и конь о конь поскакали к Арапову. Толпа стояла в тревожном недоумении так, как ее выстроил Арапов.

Пушкари впереди, за пушкарями — кавалерия.

За кавалерией — пехота.

Стояли, смотрели на мчащихся всадников и ждали.

VII

По хрустящему, ломкому снегу всадники подлетели к Арапову, и тот, кто мчался впереди, неожиданно оказался толстым краснолицым мужиком, по-солдатски бритым. Через распахнутый тулуп его виднелся шитый кафтан. Не доезжая до Арапова, он осадил коня и легко, как мальчик, соскочил на землю. Потом поглядел на толпу и, не торопясь, увесистыми шагами подошел к атаману. Шапку он с себя не снял и голову не наклонил.

Кряжистый и массивный, он стоял перед Араповым и смотрел ему в глаза испытующим, неподвижным взглядом.

Вслед за ним, соскакивая на ходу с коней, потянулись и молодые. А ординарец так и не слез с коня. Он стоял поодаль, наблюдая за происходящим.

Мужик в расстегнутом тулупе пошел прямо на Арапова и, останавливаясь перед ним, спросил:

— Вы, значит, и есть генерал-аншеф Арапов?

— Я и есть, — ответил атаман и, строго нахмурившись, добавил: — А послал меня батюшка к вам, чтобы возвестить великую милость и повелеть вам помещиков не слушать, офицеров, полковников взять и представить по начальству, а самим брать землю, скот, дома и земли боярские, кровати, стулья и прочую утварь и жить вольным, как зверям в степи. — Он посмотрел на неподвижное лицо мужика. — А чтоб вам недруги и воры помешать не могли, — он значительно кивнул головой в сторону пушек, — прислал вам батюшка в подмогу свою артиллерию и пехоту. С ней же ни один еще недруг справиться не мог, о чем вы, как люди военные, и сами должны быть изведаны.

— Так, — ответил толстый мужик, — ну, я вам на сие тоже отвечу. — Он вдруг быстро снял шапку и, обнажив желтую, тусклую лысину, вынул закатанную трубкой бумагу. — Я ж вам на сие отвечу вот как, — сказал он. — Поселяне, узнав о приближении вашем, собрали сход и долго думали, решали, как быть и какое вам сопротивление оказать надобно. Оный вопрос важности первостепенной был обсуждаем отменно, долго и с великим усердием. Офицеры, конечно, настаивали на том, что мы должны выполнить долг присяги и против вашего неодолимого воинства свое двинуть, кое тоже, к слову сказать, коней и пищалей в изрядном количестве имеет. Пушками же и того превосходит. Сей спор продолжался зело долго, и ни одна сторона ни к какому решению прийти не могла.

Войско стояло неподвижно, глядя на атамана и склонившегося перед ним в глубоком поклоне мужика.

Стояла конница, готовая по первому знаку атамана кинуться на поселок.

Стояли пушкари около уже заряженных пушек.

И так было тихо кругом, что даже самые дальние слышали, как хрустит снег под ногами атамана.

— Ну, и что ж? — спросил Арапов.

— Обсудив все, народная громада прислала к вашему высокоблагородию меня, старосту Ивана Петрова Евстафьева, и трех молодых, кои вам свое решение, письменно изложенное, и зачтут.

Он снова взмахнул бумагой.

Из толпы вышел парень лет двадцати пяти и, взяв из рук старосты бумагу, стал читать громко и внятно:

— "...Государю батюшке Петру Федоровичу. Мы, батюшка, бьем тебе челом и просим нас, рабов твоих худородных, не забывать и взыскать твоей отеческой милостью. Как вышло, батюшка, решение, чтобы бояр, офицеров, генералов и прочих ослушников твоей царской воли ловить, вязать и вешать, а их имущество отбирать, мы, батюшка, распорядились тако: скот боярский собрали во двор и, пересчитав, точный реестр оного скота составили, коий при сем прилагаем. Но как мужики просили раздать скот на руки, дабы оные царские коровы не изголодались, то мы так и сделали, распределив скот под роспись. Кому коров, кому телка, а кому, батюшка, три овцы или прочей мелкой худобы, смотря по состоянию. Земля же боярская пока стоит неделенной и ждет прибытия ваших анпираторских генералов, при коих она распределена и будет. Что же касаемо ваших царских лиходеев, то мы, обсудив все здраво, решили не сделать им ничего худого, со двора прогнать, дабы они не могли вредить воле вашей, которую мы, государь, неуклонно и выполняем. А еще мы, государь, просим, дабы вы нам дали, как это и было в ваших манифестах обозначено, землю, травы, озера и реки, зверей и птиц, и рыбные ловли, и звериные охоты, и пули, и порох, и вечную вольностью. А мы за это, государь, жизнь не щадить рады и всем твоим ворогам сопротивление по конец живота нашего оказывать".

— Здорово написано, — похвалил Арапов. — Зря только помещиков отпустили. Кто составлял прошение?

— Секретарь наш, — чинно ответил староста, — он у нас такой бойкий, такой бойкий, три года в Санкт-Петербурге прожил, так все превзошел. Прикажи читать далее.

Парень продолжал читать:

— "...Касаемо же помещиков, кои по указу вашему скота, земли и прочих угодьев лишены, то мы, государь, пораздумав еще, порешили их в амбар запереть и к ним крепкий караул приставить, дабы они от вашего царского суда не скрылись".

— Вот это здорово, — сказал Арапов. — Это всего здоровее. Дальше...

— "...Но как промеж многих мирян спор и сумление вышло, — продолжал читать секретарь, — то дабы они вашего царского величества суд не обошли и всякую погубу удумали, мы, добром пораздумав, по простоте нашей всех на рябине в одночасье и перевешали, дав им, однако, полную свободу перед смертью исповедаться и у нашего батюшки даров принять. Детей же их..."

— Стой! — сказал Арапов, нахмурившись. — Да кто же вам на сие волю дал, по какому указу вы так поступили!

Староста пожал плечами.

— Да как сказать, батюшка, — ответил он, — не в обиду сказать, посумлевались немножко ребята, а вдруг его царское величество, в неизречимой милости своей, коя и на лиходеев простирается...

— Ишь вы, значит, посумлевались. В царском суде посумлевались.

— Так-то оно вернее, — сказал староста, — ни сумлений, ни споров. И нам и им спокойно, а у нас рябина здорова, они все рядышком и поместились.

— А с детьми что? — спросил Арапов.

— А насчет детей дальше написано.

Секретарь продолжал читать:

— "...детей же их, кои все означились дочерями, мы по здравому размышлению решили отдать в крестьянские дворы, дабы они до совершеннолетия

своего пробыли и, крестьянскую работу познав, в жены были крестьянам отданы".

— Так, — сказал Арапов задумчиво, — так... По всем статьям, значит, распорядились.

И вдруг, подойдя, схватил старосту за виски и расцеловал сначала в усы, а потом в обе щеки.

Тот тоже открыл объятия, поколебался с минуту и вдруг крепко по-мужицкому прижал к себе тщедушную фигуру Арапова. Толпа вздохнула одной грудью, и сейчас же по всему протяжению раздались радостные крики. Ножи, косы, тяжелые дубины, все было брошено на землю. Шумя, мужики обступили старосту и трех посланных.

И только пушкари стояли по-прежнему неподвижно и молчаливо около заряженных орудий.

От ворот села скакали еще всадники, размахивая шашками и что-то крича.

В эту ночь войска решили не делать последнего перехода. Они сидели в жарко натопленных избах, хлебали горячие щи и дружески разговаривали с хозяевами. Отложив пищали и пики, они стали опять похожи на мужиков, и разговоры у них пошли исконные мужицкие — об урожае, о земле, о худобах. В избах уже висели на стенах побронзовевшие от времени портреты, сияли фарфоровые расписные флаконы и тонкие розовые, как фламинго, французские вазы.

Эти вазы особенно занимали мужиков.

При любом прикосновении полый фарфор наполнялся легким, дребезжащим звуком, чем-то напоминающим далекую перекличку журавлей. Поочередно мужики подходили к столу, дотрагивались до краев вазы и долго слушали с мечтательной улыбкой нежно-серебристые переливы фарфора.

А в одной избе, как нарочно, в самой бедной, были притащены барские часы. Каждые полчаса в верху тяжелой дубовой коробки отворялась дверь и оттуда появлялся кротенький, упитанный монах с розовыми щечками и вздернутым носом. Он проходил пе-

ред ошеломленными зрителями по кругу и исчезал, дергая веревку, ведущую к языку колокола. Раздавался глухой и мерный бой часов. Мужики обступили диковинку, смотрели на румяного монаха и, боясь громко дышать и смеяться, заводили снова и снова часовой механизм. И опять отворялась дверь, монах появлялся на верху ящика и, исчезая, дергал язык колокола. Наконец хозяева запротестовали.

— Часы могут испортиться, — сказали они, — а это вещь дорогая и редкая, ее нужно поставить под стеклянный колпак, как это было у господ, и каждый день обтирать мокрой тряпкой.

Но всего охотнее гости посещали хлев. Там за ветхой перегородкой стояла круглая, откормленная скотина с блестящей шерстью и не торопясь ела из кормушек.

При входе людей скотина обращала голову и смотрела на вошедших красивыми бурыми глазами с поволокой.

Это была крестьянская скотина. Своя скотина.

И при выходе из хлева никто даже не посмотрел на страшную в своем одиночестве рябину, на мощных ветвях которой висели, раскачиваемые ветром, четыре чудовищных плода.

VIII

Утром пугачевцы вступили в Самару. С дюжину крепких подвод встречало их у ворот, и, когда первые всадники поравнялись с бастионами, бойко соскочил с телеги седой купец с желтой клинообразной бородкой и, кланяясь в пояс, поднес атаману блюдо с ржаным караваем. Весь ритуал подношения был строго выдержан. На каравае стояла небольшая серебряная солонка, под караваем лежало полотенце из серого сурового полотна с царской короной и вензелем "П Ф III".

Другой, молодой, очевидно, помощник старика, держал также расписное блюдо с калачами и, не переставая, кланялся в пояс.

— Как мы узнали, что его императорское величество из своей ставки прислать ваше превосходительство изволил, дабы наши рабские и верноподданические чувства узнать и нашу рабскую присягу принять, то и рассудили мы выслать двух цеховых, — сказал старик тихо и почтительно, — меня, купецкого старосту Илью Будного, и сего купеческого сына Никиту Волкова, дабы кланяться вам купеческими головами и принесть ненарушимую присягу на верность.

Отдав атаману блюдо, старик встал на колени и, кряхтя, поклонился. Арапов кивнул ему головой.

— Молодец, старик, — сказал он, — передавай своим людям, что наш батюшка своим подданным утеснений не чинит, их вечной волей жалует. Что же касается купеческого состояния, то велит вам батюшка торговать без обмана, по чести, отнюдь никакого притеснения и прижима никому не делая. Мужиков же, кои от лихих помещиков в вечном разоре пребывают, не трогать и себе в работу за долг не брать.

Ему показалось, что лицо купца на мгновение дрогнуло усмешкой, и он уже совсем холодно добавил:

— Ежели кто, паче чаяния, в обмане, али в обвесе, али в другом каком воровстве замечен будет, то с ним расправа коротка: веревка на шею, а имение в казну.

— Что ты, батюшка, — слабо ахнул купец и взмахнул рукой, — разве среди нас такие лиходеи найдутся. Нам не казна важна, — сколько ее ни на есть, в гроб ее не унесешь, — а слава добрая.

— Ну, хорошо, — сказал Арапов и кивнул головой, — старайтесь, батюшка вас не забудет.

И уже хотел ехать дальше, как ему опять заступили дорогу.

Только теперь это был долговязый малый в форменном зеленом костюме, в треуголке и с тонкой шпагой около бедра. Несмотря на убожество его платья одет он был парадно. Круглые пуговицы, начищенные до блеска, сверкали как раскаленные угли. Пышный парик с небольшой косицей был густо посыпан пудрой, и, кланяясь, человек снимал треуголку и касался ею снега.

Отвесив низкий поклон обоим атаманам, он вынул из борта камзола длинный желтый сверток пергамента, перевязанный синей лентой, и, кланяясь, протянул Арапову.

— Это что? — спросил Арапов.

Молодец в треуголке поклонился снова.

— По приказу бургомистра Ивана Халевина... — начал он.

— Стой, — перебил его Арапов. — А разве он не сбежал? Бургомистр-то не сбежал?

— Никак нет, — ответил долговязый и продолжал: — Прислал меня с подробным ответом и росписью, сколько с рыбных ловель денег собрано и куда они размещены. А как оные деньги не увезены Балахонцевым, то и повелел вас бургомистр спросить — куда оные деньги девать повелите.

— Ну, об деньгах после поговорим, — сказал Арапов и соскочил с коня. — А ты мне вот что лучше объясни. Где мне вашего бургомистра найти можно?

— Да он сам вас с подводами около ворот ожидает, — ответил канцелярист, — он же молебном и акафистом распорядился, он же и из пушек велел палить, он же...

Малый вдруг сделал знак рукой, и из толпы вышел мальчишка в зеленом камзоле, без шубы, с огромным блюдом в руках. Среди зелени, какой-то темной приправы, лежал осетр с белыми равнодушными глазами и открытым ртом, куда был вставлен пучок зелени.

Малый поклонился еще раз, потом выпрямился и почти сунул блюдо с осетром в руки атаману.

И сейчас же, как по команде, зазвонили колокола, раздались пушечные выстрелы.

Так восьмого декабря 1773 года без боя, без одного выстрела была взята Самара.

Глава четвертая

I

Державин сидит за столом.

Ночь. Поздно. Очень поздно. Может быть, час, может быть, два, а может быть, уже утро. Но кто же станет считать время в этакую глухомань. Огромные часы, похожие на детский гробик, остановились на десяти, и вот вторую неделю у него не доходят руки, чтобы позвать мастеров. Странно, да и откуда у него может быть время на починку часов. Уходит он рано, часов в шесть, когда утреннее зеленоватое небо еще мерцает последними звездами. Приходит домой ночью и сразу, не ужиная, не раздеваясь, заваливается на кровать.

Кровать у него узкая, походная, и спит он на ней в камзоле, в брюках и парике. Только иногда сбрасывает треуголку и снимает сапоги. И спит он всегда чрезвычайно чутко, так чутко, что достаточно малейшего шороха, чтобы он проснулся. Когда же он не ложится вовсе, — а это за последнее время случается чаще и чаще, — он сидит в кресле, думает, пишет, перечеркивает написанное, грызет перо и опять пишет.

Пишет письма матери.

Переписывает протоколы следственной комиссии.

Составляет донесения.

Этих донесений он пишет особенно много. За время своей работы в секретной комиссии он порядком

выработал слог, и поэтому фразы ложатся на бумагу готовые, отшлифованные и звонкие.

Державин пишет:

> ”При первом вступлении в следствие сие, представляются обстоятельства, в которых вашего превосходительства прошу повеления. Духовенство здешнего города, все вообще должно почитаться виновным, ибо они были извещены, что приближаются изменники, следовательно, чтобы не быть принужденными сделать соблазн и вящее укрепление бунта в народе крестною встречею, они должны были, по крайней мере, ежели не увещевать народ, как оного пастыри, от злого их начинания, то выйти из города с комиссаром Балахонцевым. В таковом случае, ежели их всех забрать под караул, то лиц церкви служения не подложить бы в волнующийся народ, обольщенный разными коварствами, сильнейшего огня и зловредному разглашению, что мы, наказуя попов, стесняем веру.
>
> О колодниках, из приложенного господину подполковнику вашему высокопревосходительству списка, извольте видеть, коликое число оных, которые смели поднимать оружие против своей всемилостивейшей государыни, следственно они или своей изменнической волею, или обольщением, но уже были враги и злодеи отечества и долженствуют на рассмотрение предстать вашему превосходительству, то как повелеть соизволите? Всех ли их послать к вашему превосходительству?”

Тут он вспоминает перекошенные страданием лица, капельки грязного пота на иссеченной досиня коже, камеры, набитые до потолка, где умирающие ле-

жат вповалку со здоровыми, видит перед собой всех этих вытянутых на дыбе, иссеченных плеткой, грязных, шатающихся от изнеможения людей и быстро дописывает:

> ”Здесь же наказывать плетьми в столь грубом, извращенном изменой народе, обольщенном обещаниями и устрашенном казнями, кажется мало, дабы прочих привесть на раскаяние, ибо по публиковании милосердной, всемогущественнейшей государыни манифеста, нет еще здесь ни единого, кто бы пришел и принес свою повинность, но паче на глазах всех жителей видна унылость, не соответствующая усердию верных рабов всемилостивейшей нашей государыни. Если кто что донес пространно и, может быть, в рассуждении данного мне от вашего высокопревосходительства ордера излишние, то усердие мое тому виной, но я вступаю в сей же час исполнить вашего высокопревосходительства повеление.
>
> *Подпоручик Г. Державин*”.

И аккуратно, точно в день прибытия письма, ему отвечает Бибиков. Перо человека с птичьими глазами, испуганным лицом быстро бегает по бумаге, и через четыре дня подпоручик Державин получает пакет, запечатанный черным орлом со строгой и многозначительной надписью ”По секрету”.

> ”*Казань. Десятого января 1774 года.*
>
> Примечание ваше в рапорте от пятого января читал я с удовольствием и сведом по рапорту вашему о том, что в оном вы мне сказали. А на требование ваше следующее объявить нужным почитаю. О наказании пойманных злодеев для устрашения прочих отдал я на рассмотрение господина генерал-майора Мансурова, которому предписал, чтобы некото-

рых по важности дела из злодеев повесить, а других пересечь, ибо всех казнить будет много, хотя они изменою и ополчением своим против войск ее императорского величества, нашей всемилостивейшей государыни, это и заслужили, поверя извергу, изменнику и злому самозванцу Пугачеву и его сообщникам. Для сведения о состоянии злодеев, сержанта Зверева, передового Нагаева, они кажутся по отметке в списке важнее других. И, ежели есть им подобные, предписал прислать сюда за крепким караулом, о чем вы, объявя сей ордер, с ним, господином генерал-майором, объясняться можете.

О духовенстве самарском уже требовал я от здешнего архиерея, чтобы для отправления службы и потреб других на смену их отправил, что он и исполнил, уведомя меня письменно, почему и разглашений вредных, злодейских толков о утеснении веры быть, кажется, не может.

Александр Бибиков".

Державин знает, что не Бибиков пишет эти письма, секретарь Бушуев ежедневно составляет десяток таких милостивых рапортов и отдает их на подпись главнокомандующему, и все-таки, получив их, долго ходит по комнате, потирая руки, и лицо его розовеет от стыда и счастья. Его жизнь, думает он, не пропала даром. Совсем не зря он пришел тогда к Бибикову и вызвался поехать в Казань. Недаром принял на себя обязанности секретаря, недаром и не зря сидит ночи над бумагами следственной комиссии. Он на верном пути. Бибиков благоволит ему, и каждый день неизвестный дотоле подпоручик взбирается все выше и выше по служебной лестнице.

Он счастлив.

II

Но недаром говорят, что и в душе человеческой есть глубочайший провал.

Подпоручик Гавриил Державин напрасно хочет казаться счастливым, это никак ему не удается. Через полмесяца после его прибытия в Самару он вдруг начинает писать стихи. Это было не только важное событие в его жизни, это был перелом, катастрофа, взрыв, который опрокинул, разнес все сделанное им до сих пор.

Стихов на своем веку он написал очень много. Целые сундуки его набиты песнями, поэмами, переводами. Начал писать он еще с казанской гимназии, продолжал после выхода из нее и, наконец, уже в полку разразился целой поэмой. Поэма была веселая и непристойная. В бойких, звонких и в высшей степени легкомысленных двустишиях перечислялись по очереди все особенности петербургских и московских полков.

Затем, после громкого успеха поэмы, он два месяца просидел над оперой, которую собирался отдать на театр. Он написал ее, сговорился даже о переписке, возился, шумел, бегал по театральным дельцам, читал знакомым, потом как-то второпях сунул ее в белье и потерял. Искал он ее три дня. Искал с остервенением, обшаривал все уголки дома, перетряхивая рукописи, ругаясь и ища похитителя. Рукописи не было.

На вторую неделю он махнул рукой и позабыл и об опере, и о театре, и о славе. А когда через месяц он все-таки наткнулся на нее, рукопись оказалась помятой и негодной к печати. Вид ее был просто ужасен: некоторые листы загнулись, другие потерялись совсем. Вечером он сел переписывать оперу и после первых же строчек поразился ее безжизненностью, словам пустым и громким, чувствам неправдоподобным, происшествиям несуществующим. Ничего

более надуманного и банального он не встречал до сих пор.

Но дело было даже не в этом. Опера была просто плохо понятна. Желая добиться рифмы или выявить какое-нибудь трудное словосочетание, он постоянно прибегал к самым сложным и трудно понятным перестановкам. Ставил прилагательные позади глагола, глагол отделял от существительного настолько, что фраза выглядела чистейшей бессмыслицей, менял местами все члены предложения, перетасовывал слова, понятия, фразы. От этого получались тяжелые, громоздкие стихи, которых нельзя было ни петь, ни декламировать. Их надо было читать, и читать медленно, внятно, тщательно оттеняя смысл и место каждого слова.

Сейчас, отойдя на месяц от своей оперы, он сам путался в словах и с трудом постигал ее туманное значение. Конечно, ни о каком театре думать не приходилось. Он швырнул рукопись в угол и злобно затоптал сапогом рассыпавшиеся листы.

В этот вечер он никуда не пошел и никого не пустил к себе. Красный от стыда и раздражения, он ходил по комнате и, вспоминая отдельные стихи оперы, бормотал и раскачивался, как от сильной зубной боли. И чем быстрее он бегал по комнате, тем больше стыдился себя самого.

В этот памятный вечер он дал себе слово никогда больше не писать стихов. Два месяца свято сдерживал это страшное обещание, не только не писал стихов, но и не читал их. Всякое напоминание о Сумарокове, Петрове, не говоря уже о Ломоносове, приводило его в смущение. Присутствуя при разговорах о поэзии, он пожимал плечами, жалко улыбался, а когда обращались непосредственно к нему, то косил глазами и ловко переводил разговор на другую тему.

— Что стихи, — говорил он с бледной улыбкой. — Мы солдаты, нам стихи не к лицу.

Так прошло два месяца, а на третий он снова сел писать. Это была уже не опера и не площадные поба-

сенки, а звонкие любовные песни, которые он сам клал на музыку. Он не забирался высоко в этих простых и немудрых стихах. Любовь, разлука, измена — из этих тем он не выходил никогда. Правда, в его песнях постоянно кто-нибудь плакал: или девушка, потерявшая своего возлюбленного, или лихой, ладный парень, от которого убежала милая, или голубок, нашедший труп своей возлюбленной, но это была печаль, вышедшая из розового альбома, где пастух целует пастушку, девица грустит над аккуратной мраморной урной, растут пышные пирамидальные тополя, а из древесной кущи высовывается и смотрит на купающихся нимф морда ревнивого и злого фавна. Рисунки эти испокон веков писались по-одинаковому, и привычное перо легко бежало по одним и тем же линиям, и получалось: печальная девица, умирающий голубок, розовый амур, потушенный факел, смеющийся сатир — вот так же четко, ясно, пожалуй, даже чуть-чуть жестковато писал свои стихи Державин.

Его любовные песенки имели колоссальный, неожиданный успех. Пожалуй, только похабные куплеты с бойким перечислением достоинств и недостатков петербургских полков могли сравниться с ними, но те стихи — озорные и веселые — были недоступны женскому полу. Эти же, наоборот, переписывались в альбомы, заучивались наизусть, клались на музыку. Правда, не всегда имя подпоручика Державина стояло под этими стихами. И Максимов, и Толстой, и многие другие приписывали их себе, явно обделяя этим автора, но автор-то был не самолюбив и не обижался на своих друзей. Он даже охотно писал стихи по заказу какого-нибудь влюбленного, пылкого, но не одаренного товарища. Но все-таки то, что иногда и он включался в разряд писателей, наполняло его сердце тихой гордостью. В иные минуты он готов был бросить полк, столицу, карьеру военную, уехать в деревню, разводить сад, управлять имением и писать свои немудрые, веселые и тихие песни.

III

И вот странным образом вышло так, что именно стихи в самый разгар его карьеры помешали его счастью. Все началось с сущих пустяков. Однажды, разбирая чемодан, привезенный из дома, он между свертками белья отыскал пожелтевшую от времени книгу журнала "Петербургский Меркурий" за 1759 год. Он взял его, перелистал и уже собирался отбросить в сторону, как вдруг наткнулся на стихи господина Сумарокова, обведенные черной рамкой и напечатанные крупными пузатыми буквами внизу страницы.

Строчки были короткие. Поэтому и стихи на первый взгляд показались ему просто веселой и беззаботной песенкой. Однако название их было несколько необычайное: "О суетности" — так назвал свою оду господин Сумароков. Название привлекло Державина, и он стал читать, хмуря брови.

А стихи были такие:

Суетен будешь
Ты, человек,
Если забудешь
Краткий свой век.
Время проходит,
Время летит,
Время проводит
Все, что не льстит.
Щастье, забава,
Светлость корон,
Пышность и слава —
Все только сон.
Как ударяет
Колокол час,
Он повторяет
Звуком сей глас.
Смертный, будь ниже
В жизни ты сей,
Стал ты поближе
К смерти своей.

Он прочитал стихотворение и медленно осел на пол.

Щастье, забава,
Светлость корон,
Пышность и слава —
Все только сон.

Да, вот о чем он никогда не думал. Человек родится свободным, а на земле он везде в цепях — так как-то ответил ему Халевин. Он тогда смолчал и подумал, что умный человек может иногда поставить на карту свою жизнь, гонясь за звонкой и пустопорожней фразой.

Теперь бы, если бы опять зашел такой разговор, он ответил бы ему, что не только в рождении, но и в смерти человек является свободным.

Сидя на полу перед развернутой книгой журнала, он продолжал думать. Может быть, в самом деле, не так глуп и не так безумен этот бургомистр, как он показался с первого раза. Может, в самом деле, у него есть какие-то твердые прожекты на будущее, и чем они, в таком случае, лучше его прожектов, подпоручика, ловкого игрока, умелого следователя и неудачного стихотворца Гавриила Державина.

Этот странный человек, этот двойной изменник, купец и бургомистр — Халевин, захотел не только рождение и смерть человека, но и жизнь сделать равной для всех. Вот за это его сковали, бросили в тюрьму и приготовили петлю. Кто знает, впрочем, чем все это кончится. Захочет ли простой народ, узревший свободу единожды, снова променять ее на цепи.

Да и с другой стороны взять, исходя из законов моральных, всегда ли родившийся должен дожидаться смерти, чтобы вкусить еще раз недоступное равенство? Взять вот, например, Бушуева, ну чем, по совести говоря, он лучше подпоручика Державина? Что он, умнее? Образованнее? Тоньше? Острее? Отнюдь. Однако вот подпоручик Державин зарабатывает чин, ежеминутно рискуя своей жизнью, а Бушуев получит чин и орден в два раза скорее перепиской служебных бумаг. Почему же его не бросят сюда? Почему не ночует вот так, как ночует Державин:

в сапогах, парике, в камзоле, с заряженным пистолетом около кровати, — маленький хитрый подпоручик Бушуев; никак не понять этого, если исходить из одних качеств духовных.

Но взять дело с другой стороны — и сразу все будет ясно. Он ведь только бедный подпоручик, а у Бушуева, по слухам, не одна тысяча десятин. Понятно, что пока будет продолжаться существующий порядок, всегда Державин будет спать не раздеваясь, а Бушуев — заниматься перепиской бумаг.

Но если случится так, что безумное бредовое восстание, с тенью мертвого императора во главе, действительно окончится успехом и отберут у Бушуева землю, будет ли он, по-прежнему глупый, трусливый, завистливый, цениться больше подпоручика Державина?

Он встал, порывисто подошел к столу, выхватил откуда-то лист бумаги, взял перо, обмакнул его в чернила. Он чувствовал, что в эту ночь он будет писать стихи.

IV

Он просидел всю ночь и все-таки ничего не написал.

Слуга, пришедший утром убирать комнату, нашел стол забрызганным чернилами, несколько сломанных, изгрызенных перьев и на кресле, на полу, на столе груду изорванной бумаги.

Не колеблясь, он стал убирать комнату. То есть вообще-то слуга имел самые твердые указания ни в коем случае не переставлять мебель и не трогать бумаг, лежащих на столе. Но то, что теперь заполняло комнату, только с большим приближением можно было назвать бумагами. Это была груда изорванных, скомканных листов, нарезанных вырезок, смятых протоколов.

Державин писал крупным резким почерком, разрывая пером лист. И так много брал он чернил на пе-

ро, что иногда строчки, слишком густо написанные, сливались в одну неразборчивую кляксу. На одном из листов, лежащих на столе, исписанном со всех сторон мелким яростным почерком и перечеркнутом с угла на угол, слуга увидел странный рисунок.

Господин нарисовал самого себя. Нарисовал умело, с большим искусством вычертив свое длинное лицо и косу и даже крупные пуговицы камзола. Рядом с этим портретом были череп, две кости и разорванные наручники.

Под черепом и костями было вырисовано лицо какого-то незнакомца.

Слуга не мог знать, что это портрет Халевина.

Все это — и череп, и портрет, и лицо незнакомца, и разорванные цепи — было окружено какой-то затейливой надписью, разобрать которую слуга не мог. Однако его поразило не то. На голове черепа красовалась царская корона, голова же господина была втиснута в уродливый венок с острыми, прямыми листьями. Слуга опять-таки не мог знать, что это лавры. В самом же низу листа стояла лира и поднимался на задние ноги тонкий остромордый конь, с чуткими, жесткими ушами и крыльями за спиной.

Лист бумаги через надпись и рисунок был два раза перечеркнут крест-накрест, а строчки, написанные внизу, тщательно зачеркнуты жирными прямыми линиями.

V

Стихи не вязались.

Он писал мучительно, зачеркивая каждую строчку, надписывал ее сверху, снова зачеркивал и снова надписывал. Он искал слов самых точных, выражений самых лучших, строчек самых тяжелых и твердых в своей определенности, и не отсутствие рифмы смущало его, он примирился теперь на самой бедной и незвучной рифме, — а неумение передать свои чувства.

Втиснутые в убогие рамки размеров стихотворных, выраженные словами бедными и тусклыми, они выглядели на бумаге настолько беспомощно, что он черкал все написанное и начинал писать снова.

В голове у него стихотворение слагалось целиком, он мог бы его продекламировать сам себе, отбивая ногой размер и делая паузу в конце каждой строчки. Стихотворение, собственно говоря, было уже написано, оно рвалось наружу, и ему не хватало только материально воплотиться на бумаге. Однако едва он брал перо, чтобы переложить на бумагу незримое, неслышное и ускользающее каждую минуту звучание, как оно снова обрастало тяжелыми, неуклюжими строчками, одевалось в слова непонятные и глухие.

И начинал-то он почему-то с имен собственных, во всю страницу у него тянулись эти деревянные восклицания, слова, не выражающие ровно ничего: "Истина", "Добродетель", "Беллона", "Марс". И как он ни старался убежать от них, они все-таки настигали его на каждой строчке.

А писать надо было предельно просто: без богинь и добродетелей.

Исписав две страницы, он встал со стула, бросил перо и снова забегал по комнате. И опять стихотворение возникло в голове — стройное, глубокое, простое, облеченное в плоть и кровь. Слова, готовые к отдельному существованию, выходили из его головы, звучали в ушах и пропадали, как только он дотрагивался пером до бумаги.

Раз ночью он пришел с допроса усталый, разбитый. Болела голова, и во рту было сухо и горько, как после попойки. Лениво и медленно снял с себя сапоги, расстегнул пуговицы камзола и лег на кровать. Но лежать было неудобно и жестко. Он несколько минут ворочался из стороны в сторону и не мог заснуть.

Почему-то мысли, приходившие в его голову, никак не относились к событиям сегодняшнего дня.

Совершенно неожиданно Державин вспомнил мать, старую казанскую гимназию, облупившиеся стены заборов, где он играл с ребятами в "орла" и "решку", и еще что-то отдаленное и успокоенное, что можно было передать словами: дом, тишина, покой.

Стояла мебель, висели на стене лаковые картины, засохшие пыльные цветы метелочками торчали в вазах из радужного дешевого стекла. Мать, Фекла Андреевна, прошла по комнате и наклонилась над ним.

И вот, в ту же минуту он увидел, ощутил мускульно свой стих, увидел и понял, что сейчас уж он от него не уйдет, что он поймает его, загонит как редкого зверя и перенесет на бумагу. Стихи, найденные им, были твердые, решительные, быстрые. Ни богинь, ни героев не упоминалось в них. Это были простые ясные строчки о смерти, о жизни, о неизбежном их равенстве.

Трепеща от радости, он оторвал голову от подушки, чтобы записать их. Зная, что они никуда не уйдут от него, он даже особенно не торопился. Он оторвал голову от подушки, открыл глаза и устроился на кровати сидя.

И сейчас же тяжелый, как смерть, сон напал на него. Думая встать, он уронил голову на подушку, вытянул ноги и вытянулся во весь рост.

Иван Халевин подошел и сел около его кровати.

"Ну что же, ваше благородие, — сказал Иван Халевин. — Когда же вы исполните обещание свое?"

Державин посмотрел на него с ненавистью.

"Не мешайте! — крикнул он. — Не мешайте мне, потому что я пишу стихи".

Он спал растянувшись на кровати и разбросав руки. Ему приходили в голову все новые и новые строчки стихотворения. Они были ясны, тверды и предельно просты. Державин писал о жизни, о смерти, о близости к натуре. Он писал о смерти, которая равна богу и от которой не может скрыться никто. Ее коса острится равно на всех смертных, и никто не

может почесть себя счастливейшим, пока не пробьет его последний час.

Он лежал на кровати, вытянувшись во весь рост и сознавая, что наконец-то стихи не уйдут от него, улыбался тихо и удовлетворенно.

Он знал, что стихи в самом деле будут замечательными.

VI

От Бибикова пришло письмо с требованием доставить секретных арестантов, согласно приложенному списку, в Казань. Державин просмотрел список. Первым стояла фамилия Халевина. Накануне отправки он решил еще раз вызвать Халевина. Собственно, соображения служебные не принимались во внимание, ибо дело было закончено, но просто ему захотелось увидеть еще раз этого странного арестанта.

— Садитесь, сударь мой, — сказал он Халевину, показывая на кресло. — Допрос ныне закончен, но я хотел бы поговорить с вами не как следователь, а как разговаривают человек с человеком.

За последние дни Халевин сильно сдал. Лицо у него сделалось худым и впалые длинные щеки покрылись бурыми землистыми пятнами. Он шел по коридору, покачиваясь и держась одной рукой за стену. Но под черными нахмуренными бровями по-прежнему дико сверкали быстрые, неумолимые глаза.

— Я уж все вашему благородию открыл, — сказал Халевин тихо и покорно. — Чего еще от меня требуется — не ведаю.

Державин посмотрел на него с мучительной улыбкой.

— Не к допросу сие, — сказал он просто, — а к разговору. Я бы от вас, сударь, еще узнать желал, как вы, быв сами человеком ученым и острым, могли решиться примкнуть к бунту сей сволочи? Ужели на успех надеялись? Ужели думали, что царская

власть, извечная и непоколебимая, от неграмотного казака может быть свержена? Сомневаюсь, сударь, сие на вас непохоже.

Халевин пожал плечами.

— Не токмо из одной выгоды люди на плаху всходят, — сказал он. — И не из выгоды стыдные дела на себя берут. — Он вдруг привстал с места. — И с какой выгоды вы, например, мне на дыбе руки вывернули, живым в могилу вогнали, дом разорили, на шею петлю приготовили? Из чинов, денег, теплого места? Сомневаюсь. Сие тоже на вас, сударь, непохоже.

— Но мятежи, — сказал Державин, не отводя глаз от его лица, — но восстание народов диких и невежественных, но кровь, затопившая землю, но пожары, виселицы? Ведали ли вы, что творили? Дикари — они, может быть, и не знали, что их за сие ожидает, ибо были дики и к жизни гражданственной непривычны, но вы-то, вы-то, сударь? Вы, как человек образованный, как могли сию ослепительную толпу за собой повести? Вяжется ли сие с понятием человека благородного?

Халевин смотрел на него с улыбкой.

— Когда человек за убийство ближнего своего мстит, — ответил он с ясной улыбкой, — не равны ли ему топор, кинжал или пистолет? Кроме того, сударь, по моему крайнему понятию, сии народы, в дикости и зверстве пребывающие, еще больше прав на существование имеют, чем мы с вами.

— Новый взгляд, — сказал Державин удивленно, — то есть...

Халевин посмотрел ему прямо в глаза.

— Образованность, — сказал он, издеваясь. — А что вы с вашей образованностью сделали? Дворцы да тюрьмы. Виселицы на каждой улице поставили. Посадили бабу во дворце, а она двадцать миллионов крестьян под ногой своей держит, ибо что ей бедность человеческая, что ей нужда народа, если она сама в золоте ходит. А из чего вся сия роскошь происходит? Из куска недоеденного, из тряпки, у хлебо-

роба отнятой. Вы, сударь, каждый день мясо едите и бургундское у вас на столе, а поэтому крестьяне ваши одну воду пить должны. Вы шелка носите, поэтому крестьяне ваши в дерюгах ходят. У вас излишки, у них нет необходимейшего.

— Но вы-то, сударь, — яростно перебил его Державин, — вы-то не ходите нагим и босым. Вы-то яства и пития довольно имели? Какое же вам до всего дело было?

— Извините, — сказал глухо Халевин. — Я на сей вопрос и вовсе отвечать не намерен, ибо глупость его вам самим понятна.

Несколько минут они оба молчали. Это была страшная, тяжелая тишина, которая сказала каждому больше слов. Потом Державин встал и взял Халевина за плечо.

— Ну что же, сударь, — сказал он печально, — мы расстаемся с вами. Отныне не я буду вашей судьбы указчик, но не скажете ли вы мне, сударь, чего-нибудь на прощание? — Он заглянул ему в глаза. — Обещаю вам все, что вы попросите, выполнить беспрекословно. Чести моей можете верить.

Халевин молчал и думал.

— Не бойтесь, не бойтесь, сударь, — сказал Державин ободряюще, — все, что вы попросите, будет исполнено.

— Там среди бумаг моих, вами забранных, — сказал Халевин, — есть дневник, отдайте мне его обратно.

Лицо Державина помрачнело. Он несколько минут молчал.

— Никак этого, сударь, нельзя, — сказал он наконец, — ваша рукопись уже к делу приложена.

Халевин порывисто встал с места.

— Тогда ничего, — сказал он. — Тогда все. Прикажите меня отвести в камеру.

Державин вдруг выдвинул нижний ящик и бросил тетрадь на стол.

— Берите, — сказал он.

Халевин подхватил ее обеими руками.

— Можно, сударь? — спросил он, жадно глядя на Державина во все глаза.

Державин не отвечал. Тогда Халевин оглянулся и быстро сунул тетрадь в огонь камина.

— Вот и все, — сказал он, смотря, как гибнут, рассыпаясь, ее почерневшие листы. — Конец жизни, надеждам, чаяниям. Все они превратились в пепел. Так и я, сударь, прошел через пламя и пеплом по ветру рассыпался. — Он с улыбкой посмотрел на Державина. — Прощайте, сударь, больше мы с вами не встретимся. Желаю вам карьер быстрый и легкий, вы многого достигнете, сударь. Нрав у вас быстрый и изворотливый, а таких теперь только и нужно. Когда будете министром, помните, о чем я вам говорил. — Он повернулся, чтобы уйти, но Державин вдруг остановил его легким движением руки.

— Подождите, — сказал он. — Мне нужно кое-что узнать от вас. Наш разговор не кончен.

Он прошел к двери и, отстранив Халевина, вышел в коридор.

— Можете идти, — услышал его голос узник. — Я преступника сам доставлю.

Он вернулся и сел в кресло.

— Ну-с, сударь, — сказал он, — обещал я вам свободу, но по вашей сопротивности и упорству вижу, что никак вас на волю отпускать невозможно, ибо враг вы упорный и закоренелый.

Халевин пожал плечами.

— На волю я и не надеялся, ваше благородие, — сказал он. — Разве вы меня когда-нибудь отпустите?

Следователь прищурился.

— А как вы сами полагаете, сударь, отпустить вас возможно?

Халевин, улыбаясь, пожал плечами.

— Но вы бы меня, например, отпустили? Если бы не вы мне, а я вам в руки попал?

Глаза Халевина вспыхнули недобрым зеленым огнем. Он наклонился к лицу следователя.

— Я бы, сударь, — сказал он, вздрагивая от ненависти, — сразу бы вас вздернул, я бы вас и допрашивать не стал. Вы же, сударь, лжете и вертитесь.

— Нет, бургомистр Халевин, — сказал Державин серьезно, — отпустить вас я никак не могу, да и удивляюсь даже, что вас начальство еще в Казань не отправило. Вы же человек дерзкий и быстрый, так и смотрите, чтобы убежать.

Халевин печально усмехнулся. Меры, принятые к охранению его личности, были таковы, что, конечно, ни о каком бегстве и думать не приходилось. Около окна стояли два вооруженных гвардейца, дверь со стороны коридора тоже охранялась. Все вещи, могущие быть превращенными в орудие обороны или нападения, были вынесены из камеры.

— Ну да, — сказал Державин, уловив насмешливую гримасу, с которой Халевин выслушал его реплику о возможном бегстве, — из камеры вы не убежите. Я уж там все меры принял, а с допроса, из окна, например, можете. Стоите, например, слушаете и делаете вид, что заняты только допросом, а сами все ближе и ближе к окну — на шаг, на два, на три, потом сапогом переплет рамы — раз, пока следователь подбежит, вас уже и след простыл. Потом ищи-свищи. Где вас тогда, сударь, найдешь? Своих отыскали и айда с ними в степи киргизские. Верно, сударь, я говорю? А начальству-то тревога.

Теперь Халевин смотрел на Державина широко открытыми глазами. В словах следователя чувствовался явный намек, но длинное и некрасивое лицо с пухлыми губами было по-прежнему неподвижно. И только в самой глубине глаз исчезали и зажигались безумные зеленые искры.

— Что, хороший план вам, сударь, предлагаю, а? Следователя по голове ударили — раз, к окну — два, на улицу — три, а на улице темень, город не освещен, — ищи в стогу иголку. А вам какие-нибудь пять минут бежать — и в безопасности.

Халевин сделал движение к окну. Державин посмотрел на него и вдруг засмеялся.

— А вы уж правду подумали. Эх, вы, герой! У меня-то ведь под окном как раз патруль стоит. Так вы ему прямо в объятия и угодите. Я же знаю, сударь, сердце человеческое. Затем и караул ставлю, затем и конвойного отсылаю, время-то позднее, а кто знает, как вы с ним договорились. Сам-то поведу, так спокойнее будет. От меня-то уж вы никуда не денетесь.

Он посмотрел на Халевина.

— А может быть, и денетесь. Поведу вас по коридору, вы повернетесь, меня кулаком по голове — раз, там угол есть такой темный во дворе — я и готов. Что вы на меня так смотрите? Правду вам говорю. Человек-то вы отчаянный, только одно, пожалуй, вашим замыслам повредит, я-то с вами, сударь, тоже церемониться не буду, оружие у меня всегда при себе. Пулю в череп, и все...

Это был странный, чудовищный разговор. Горела только единственная свеча, и лиловые тени метались по стене. Тень головы следователя занимала всю комнату, и Халевин весь утопал в этой тени. Ни одной живой души не было в верхнем этаже здания. Два человека, два врага — следователь и преступник — сидели друг против друга и мирно вели разговор о смерти и жизни.

— Я не побегу, ваше благородие, — сказал Халевин устало, — можете быть спокойны. Я все средства уж приложу к тому, чтоб подольше живу остаться.

— Верю, — возбужденно крикнул следователь. — Вот вы мне говорите, а я вам верю. Вы человек хитрый и тонкий, вы уж ни одного случая не упустите, чтобы из-под суда уйти. Так вам ли лезть на верную смерть? До топора еще, может, годы пройдут, так чего же вам жизнью рисковать зря и необдуманно. Нет, нет, вы не из таких. Вы хитрый, вы все тихой сапой берете. Вы, сударь, и крови боитесь, и тараканов, наверное, в руки не берете. Знаю я таких.

Он остановился и загадочно посмотрел в лицо Халевину.

— Вопрос не в этом, — сказал он задумчиво, — вопрос в том, не лучше ли мне с вами разом покончить. Вот мы, например, по коридору пойдем, а я незаметно пистолет вытащу и вам в затылок — бац, вы и умрете, сами не заметя. Смерть для всех равна, но не зная и умереть легче, как вы думаете?

Он встал и положил Халевину руку на плечо.

— Однако идемте, сударь, — сказал он, — время позднее, надо вам выспаться до отъезда, завтра вас разбудят в восемь часов утра. Мне тоже нужно вставать к этому времени.

Они уже прошли коридор и стали спускаться по лестнице, как вдруг Державин вцепился в плечо Халевину.

— Стойте, сударь, — сказал он растерянно, — я пистолет-то у себя в комнате забыл.

Он смотрел на Халевина в смятении и не отпускал его плеча.

— Так что же делать? — спросил он растерянно. — Ведь возвращаться надо.

Халевин послушно поворотил обратно. Он отлично знал цену этой забывчивости, но Державин уже раздумал.

— Нет, идемте, — сказал он, — я вас буду за плечо держать, так вы не уйдете.

Как будто скованные друг с другом, они спустились по лестнице, прошли по нижнему коридору и в самом конце его, там, где через узкую скрипучую дверь струился прозрачный свет луны, Державин опять остановил Халевина.

— Идемте назад, — сказал он решительно и резко, — дальше я вас так не поведу. Здесь темнота и глушь, забор низкий, вы, как человек сильный, его с одного прыжка возьмете.

Он сильно и грубо схватил его за плечо.

— Чего же вы стоите, — крикнул он, — идем, идем. Я знаю ваши планы, вы ищете удобную мину-

ту, а потом развернетесь, ударите меня по голове и бежать.

Он тряс его мелкими яростными толчками.

— Этого вы хотите, этого, да? Я знаю все ваши прожекты, не обманете, нет, сударь, нет, не проведете.

Они стояли около самой двери.

Халевин вдруг развернулся и изо всей силы опустил кулак на эту ненавистную ему голову.

Державин крикнул коротко и отчаянно и тихо опустился на пол.

Халевин ударил еще раз.

Невысокий забор действительно не составлял для него препятствия. Он перепрыгнул через него и побежал по улице.

VII

Халевин бежал по улице.

Он отлично знал все закоулки и тупики своего города. Ему нужно было только добежать до площади и там постучаться в окно одного заброшенного, полуразвалившегося домика. Он знал хорошо — там ждут его свои люди, которые сумеют его переодеть и провести через линию фронта. Свежий воздух жег его слегка саднившее горло и был отраден, как холодная вода. Без шапки и шубы он пробирался под заборами, иногда приникал к сугробам и с удовольствием прислушивался к молодому, сочному хрусту снега.

Раз перепрыгивая через какой-то забор, он оступился и упал на руки и колени в снег. Резкая, обжигающая боль в ладонях, едва заметный и все-таки сильный запах снега, холод в локтях, все это было настолько остро и неведомо, что он даже вскрикнул от наслаждения. Через двадцать минут он уже был в сравнительной безопасности. Темные и узкие улицы пригорода сами по себе служили достаточной гаран-

тией, кроме того, он не слышал ни свистка, ни крика, ни звона колокола. Очевидно, он так изрядно угостил следователя, что тот упал без чувств.

Без чувств! — Халевин вдруг остановился, соображая. Когда он опустил кулак на голову врага, и тот, обливаясь кровью и задыхаясь, упал на камни, и его голова коротко и сухо стукнулась о плиту, он увидел на мгновение, как окровавленное лицо искривилось болезненной, но радостной улыбкой.

И, морщась от боли, отрывая от пола эту страшную кровавую голову, он все-таки смотрел на Халевина, смотрел и улыбался радостной, немного смущенной улыбкой.

Вспомнив это, Халевин остановился у забора и провел рукой по лицу. Только теперь он понял значение улыбки Державина.

И вот оттого, что наконец понял все, ему уже не хотелось ни бежать, ни прятаться, ни разговаривать со своими сообщниками.

Он стоял под черным звездным небом, и свежий ветер ворошил его волосы.

Глава пятая

ДОКУМЕНТЫ

Бибиков рассылает письма. В Петербург, Москву из Казани мчатся гонцы с переполненными сумками. Он торопит своих адресатов, потому что время не ждет. Однако ответы неблагоприятны. Войска не приходят, а оружие застряло в Петербурге. Члены секретной комиссии не могут справиться с работой, а, несмотря на все просьбы, военный министр Чернышев так и не присылает писцов, коим можно было бы доверить дела важности государственной.

Зато Чернышев дает советы. В одном из писем он пишет:

"Между прочими мер принятиями к искоренению злодейств Пугачева, не бесполезно кажется быть может и обещание некоторого награждения тем, кто его живого взяв приведет к Оренбургскому ли губернатору, или же к военным нашим командирам. Таковое обещание помянутом господином губернатором действительно и учинено. Но как оно слишком умеренно, то я теперь пишу господину Рейнсдорпу и находящемуся в Яицком городке подполковнику Симонову, дабы учинили они публикацию, что за приведение означенного самозванца живого, будет награждение дано десять тысяч рублей".

На другой день снова гонцы скачут, развозя по церквам и городским магистратам рукописные объявления, кои надлежит читать горожанам с площадей и амвонов.

"ОБЪЯВЛЕНИЕ

Я, нижеподписавшийся, главнокомандующий войсками Ее Императорского Величества всемилостивейшей нашей государыни, генерал-аншеф лейб-гвардии, майор и разных орденов кавалер, объявляю через сие, что как все бедствия, угнетающие ныне Оренбургскую губернию огнем и мечем и проливщее уже потоки крови собственных наших собратий, сограждан происходит единственно от самозванца Емельяна Пугачева, беглого с Дону казака и в Польше немалое время скитавшегося, который было в убийстве своем дерзнул всякого подобия и вероятности взять на себя высокое название покойного императора Петра Третьего, то он паче всех и заслуживает, для пресечения внутреннего междоусобия и для возвращения любезного отечеству драгоценного покоя, воспри-

нять достойное злодейству и измене его казнь, дабы инако от продолжения оных другие из одного невежества погрешившие равному жребию подверженными не были, когда его постигнет месть озлобленных им божественных и человеческих законов, почему я, с моей стороны, по вверенной мне власти желая спасти сих последних и обратить зло на главу истинного его виновника самозванца Емельяна Пугачева, как изверга рода человеческого и недостойного имени Россиянина, обещаю сим тому или тем, кто из усердия к отечеству поймав его, приведет ко мне, или к кому ни на есть из подчиненных моих и отдаст под стражу живого, дать награждение десять тысяч рублей".

Но это испытанное средство не помогает. Каждый день следствия умножает число арестованных, следователи не справляются с доносами и Бибиков настаивает снова.

"О присылке в комиссию секретных писцов и теперь вашего сиятельства прошу. Нет возможности справиться и офицеры сами день и ночь пишут, потому что колодников умножается".

Но писцы не приходят, и Бибиков шлет письма императрице.

"Всемилостивейшая Государыня! — пишет он.

Дерзость злодея Пугачева, его злодейских сообщников дошла до последней крайности, что вступающие как в секретную комиссию, так и ко мне присылаемые ежедневно письменные сообщения открывают, а приводимые в секретную комиссию из злодейских шаек захваченные и для разглаше-

ния и рассеяния посланные колодники подтверждают. Старался я при многих ежечасных отправлениях несколько дел рассмотреть и что б чем ни на есть остановить буйство, наглость и злодейственные убийства. По данной мне высочайшей от Вашего Императорского Величества власти, решился, наконец, одного бунтовщика, злодея и жестокого убийцы помещицы своей подпоручицы Пополутовой, крестьянина Леонтия Назарова, который добровольно признался во всем, здесь публичными обрядами велел повесить, с прописанием его вины, с подтверждением, дабы прочие таковые злодейства и бунт того же страшились. Некоторых же при висилице определил высечь кнутом, поставя клейму, значущие злодея, бунтовщика и изменника, других же наказать плетьми. К сей крайности приступил я в надежде, что редкость таковой казни устрашит колеблющихся к самозванцу склонности и остановит начальников убийства. О решенных же комиссией делах приведенных колодников к высочайшему усмотрению экстракт подношу.

Секретная комиссия, трудясь, так сказать, день и ночь, почти не успевает приводимых допрашивать, ибо их время от времени умножается.

По выгнании злодеев из Самары, репортует меня, что духовенство тамошнее при приближении злодеев пошли к ним навстречу с колокольным звоном и со кресты, что из найденного злодейского предводителя Арапова репорта усмотреть можно, который по несказанной дерзости и наглости тех извергов, так как и другие найденные письма он ко мне прислал, из которых некоторые при сем, для высочайшего усмотрения, подношу, другие же для справок впредь отдам

10–1949

секретной комиссии. Самарских попов, кои и в эктениях высокое лицо Ваше, во время пребывания злодея, исключить дерзнули, я всех посланному нарочно лейб-гвардии Преображенского полку, подпоручику Державину допросить велел, а показавших к злодеям склоненных жителей, генералу майору Мансурову рассмотря публично наказать велел, подтвердя в верности вновь к Вашему Императорскому Величеству присягою. Здешнему же архиерею сообщил, чтобы он сих самарских попов немедленно переменить другими приказал, а в прикосновенных к оному селению жителей, кои добровольно поддались злодеям зачинщиков высечь при собрании жителей и под смертную казнь подтвердить, чтоб они впредь от злодейских и изменнических шаек их внушение хранили, и ловя их приводили и отнюдь как пропитание, так и людей по требованию им не давали и присяги Вашему Императорскому Величеству верности не нарушали, а злодея Пугачева почитали за изменника и самозванца, инако же сами яко злодеи огнем и мечом накажутся.

Всемилостивейшая Государыня, слепота и невежество в здешнем краю по большей части жителей превосходят, кажется, всякое понятие. Сие примечаю не только в самой черни, но и в здешних краях живущих отставных офицеров, как то в экстракте, при сем подносимом, из показания поручика Мызникова усмотреть изволите, тож и из рапорта, поданного злодею Арапову по вступлении его с шайкой в Самару от поручика Ильи Щепачева, которого я арестовав сюда же прислать по караулам велел. Так же велел арестовать и бегущего из Самары двоекратно за коменданта капитана Балахонцева.

По сие время к удержанию злой сей заразы и к остановлению успехов злодейских, и к удержанию глупой черни от его прилепления, не вижу я иных еще способов, как воинская сила. Но между тем однако ж испытываю всевозможные средства к пресечению зла столь далеко возросшего. Счастливым себя почту, если возмогу, тем или другим способом, показать Вашему Императорскому Величеству, и при сей высочайшей доверенной мне экспедиции, с какою непоколебимой верностью пребываю.

Всемилостивейшая Государыня!
Вашего Императорского Величества всеподданнейший *Александр Бибиков. Января 29 дня 1774 года. Казань*".

Через несколько дней, не получая ответа, Бибиков посылает императрице выписки из дел следственной комиссии и снова пишет.

"Всемилостивейшая Государыня!

Здесь всеподданнейше подношу экстракт произведенных дел тайной комиссии, из которых некоторые решены мною с комиссиею, а на другие осмеливаюсь испросить высочайшего Вашего указа, как то о протопопе и попах Самарских и Заинском, и о трех офицерах — Щепачеве, Черемисинове и Воробьевском, равно и подпрапорщике Буткевиче. Из решенных же приметить изволите, что некоторые определил я с публичными обрядами повесить в самых тех местах, где они преступниками жили и злодействовали, а гарнизонного солдата в Казани на Арском поле, чтоб сделать страх не только другим, но и самим гарнизонным, из коих по разным местам некоторые прегнусными предателя-

ми и злодеями себя показали. Строгость сия неминуемою по здешним обстоятельствам показалась, дабы повсюду раздалась казнь злодеям и бунтовщикам исполняемая, умеряю я число сих сколько можно меньше, хотя они все по строгости законов сему без изъятия подвергаются. Человеколюбивое Вашего Императорского Величества сердце и образ Ваших мыслей всегда за сих извергов и против строгости законов предстательствуют.

Дерзостные и глупые злодейские сочинения и все допросы показывают, что злодеи кроме буйности и злости никаких правил и ума не имеют, но при всем том злые внушения и через нескладный слог в черном народе действуют, и тем более что редко найдешь в сем краю и между чиновниками людей с просвещением и разумом, а охранные гарнизонные офицеры, буде смею сказать, своею мрачною глупостью способствуют, как из допросов Черемисинова и Щепачева, тож Буткевича усмотреть соизволите. Злодейские сочинения здесь при последней экзекуции сожжены палачом и знаки их, так называемые знамена, им же изорваны. То же самое велено от меня делать по всем местам, где оные письма и знаки случаются.

Всемилостивейшая Государыня и проч.

Александр Бибиков.

Января 29 дня 1774 г. Казань."

Отвечает Екатерина:

"Нашему генерал-аншефу БИБИКОВУ.

Реляцию вашу от 29 числа января и приложение при оной экстракты города Самары о протопопе Андрее Иванове, попах Никифоре Иванове, Федоре Никитине, Алексее Ми-

хайлове, Василье Михайлове, Даниле Прокофьеве, Максиме Иванове, дьяконах Степане Яковлеве, Петре Иванове, Василье Никифорове, отставном поручике Ефиме Воробьевском, Ставропольского батальона поручике Илье Щепачеве, Тобольского третьего батальона прапорщике Иване Черемисинове, отставном подпрапорщике Богдане Буткевиче, пригорода Заинска попе Прокофье Андрееве, мы рассматривали. О всех вышесказанных преступниках учиненные в секретной ведения вашего комиссии сентенции нашли с государственными законами, по происшедших от них злодеяниях, согласными, но при всем том однако же повелеваем с оными преступниками поступить по вашему рассмотрению, и сколько польза и благосостояние Империи по нынешним в тамошном краю обстоятельствам того требуют.

В прочем с нашею милостию мы вам пребываем

Екатерина.

Подписан, февраля 15 дня 1774 года. С.П.Б.".

29 января Державин возвратился в Казань. Там уже ждало письмо от Максимова.

Глава шестая

I

Его ждало письмо от Максимова.

"Братец, душа моя Гаврило Романович. Сердцем и душою радуюсь, услыша о вашем приезде в Казань, а паче в Самару. За приписку в письме брата Ивана Яковлевича нижайше благодарствую: только что вы писали, оба да я третий, великие дураки: у нас де-

нег нет. Напиши, голубчик, стихи на быка, у которого денег много: какой умница он, а у кого денег нет, великий дурак! Ведь на меня и в Москве гневаются, а в Казани бесятся, все за деньги. Черт знает, откуда зараза в люди вошла, что все уже ныне в гошпиталях валяются, одержимы болезнью, а только деньгами, деньгами, деньгами. Ежели бы я имел их довольно, какой бы умница, достойный похвалы и добродетельный был человек; в чем и на тебя ссылаются, что я, право, ведь добрый человек, да карман мой — великий плут, мошенник и бездельник. Да и признаться должен, что это правда только перед теми, кто должен; а то, брат, это напасть: у кого я не думал никогда просить и брать алтына, и тот рублей требует: ваша, дескать, милость, великолепный (знаешь, в каком чину был; насилу, слава богу, ныне из оного разжалован: так и за это сердиться, для чего разжаловали!). Уведомь, душенька, о своем благополучии и о всем, как вы поживаете и долго ли в Самаре пробудете; не можно ли в Малыковку пожаловать? Если ж попродолжитесь в Самаре, то, может быть, и я к вам побываю повидаться. Порадуйся, душа моя, тому, что вы сделали Сергею помочь в получении Яковлевой деревни; он тем вечно обязанным почитает, которую я владею другой год. Дай бог, чтоб я в жизни имел такую же радость, чтоб вам за то заслужил, да и синбирскую одну деревню, 50 душ, во владение получил. Весь мой нажиток в Малыковке, что в хлопотных, к купленным в Москве деревень сто душ получил. Теперь утешение мое состоит в том, чтоб слышать о вашем благополучии; я ж всегда и навек пребуду ваш, братец, душа моя, покорный и верный слуга Сергей Максимов.

За тем рекомендую приятели моего Савелья Ивановича Тарарина, г. есаула казацкого, в вашу милость, который человек честный и добрый".

Держа в руке письмо Максимова, Державин задумался. Ему припомнилось то странное, таинственное, манящее дело, в которое он едва не попал сам.

II

Был Максимов остер, опрометчив, но смел и на решения быстр. Его дерзкие похождения, почти всегда плохо продуманные и неожиданные по своему завершению, потому именно и сходили ему с рук, что проводил их человек пылкий и решительный.

Первое чувство, которое вызвал у Державина этот ладно сложенный, крепкий толстяк, было огромное удивление. В нем все было не так, как у остальных. Он и смеялся не так, как все, и карты сдавал по-особенному, и выигрывал как-то своим особым манером. Особенно же непередаваемое франтовство и задор заключались в тех жестах рук, круглых и коротких, но при этом все-таки размашистых, которыми он придвигал к себе или, наоборот, отбрасывал на край зеленого стола кучу сверкающих и звонких денег. С непередаваемой грацией он умел сдавать карты. Они вылетали из его рук сплошным красочным потоком, и ошалелый партнер видел только короткие, толстые, маленькие пальцы; как при этом сдавались карты и в каком порядке, уследить, конечно, было невозможно.

Впрочем, сдавал Максимов редко и только тогда, когда его очень просили.

Он и при обычной игре крайне редко проигрывал, причем никогда его проигрыш не был особенно значительным.

Другой страстью Максимова была страсть к мгновенному и внезапному обогащению. Когда-то он слышал рассказ о человеке, нашедшем под сосной, вырванной бурей, горшок с золотом.

Человек стал на ноги — до того был нищим. Выстроил себе дворец, развел чудесный сад и умножил свое состояние осторожными и умелыми операциями, стал одним из богатейших людей города.

Этот рассказ, услышанный в раннем детстве, Максимов сохранил и свято пронес его через всю жизнь.

Постепенно несложный сюжет рассказа оброс подробностями, изменил место действия, героев, но сущность его осталась неизменной.

Максимов по-прежнему мечтал найти горшок, в котором было бы не двадцать пять тысяч, как в рассказе, а сто.

Придя однажды, эта мысль уже не оставляла его.

Учившийся плохо и мало, не умеющий на бумаге связно изложить свои мысли, он вдруг погрузился в странные и не ведомые никому из его друзей науки: археологию, дипломатику, геральдику, эпиграфику.

Он сделался нумизматом, историком, знатоком старых надписей и документов. Резко изменилось и поведение его. Он стал молчалив, рассеян, углублен. В доме вместо краснощеких молодых людей и девиц сомнительного вида вдруг стали появляться люди совершенно особого рода.

Был ученый немецкий путешественник, старик замкнутый, недоверчивый и молчаливо-недоброжелательный. Приходили быстрые, сухие и маленькие старички с прыгающей речью и порывистыми жестами.

Утром появлялись длиннобородые, медлительные и малословные крестьяне и еще какие-то старые, дремучие, обросшие зеленым мохом, с маленькими плутовскими глазками и запутанной речью — знахари, заклинатели.

Они вынимали из карманов желтые свертки пергамента, обломки радужного стекла, рыжие от старости наконечники стрел, осколки горшков с треугольным орнаментом.

Узнав о каком-нибудь могильнике или городище, Максимов бросал все, ехал, собирал рабочих, делал распоряжения, волновался, бегал и, не найдя ничего, кроме человеческих костей, разрушенного собачьего черепа и пригоршни бус, ехал домой злой, сосредоточенный, но непоколебимый.

— Если бы только место знать, — говорил он с тихой яростью. — Если бы только за кончик нити уцепиться, не ушло бы золото от меня. Руками землю

разгреб бы! Зубами бы вытащил! Сто верст пешком прошел, а все-таки нашел, разбогател бы.

На своем веку, а было ему лет тридцать, он уже изъездил половину империи.

Искал клад Иоанна Грозного в Москве, клад Стеньки Разина на Волге, клад святого Владимира около Киева, искал даже клад Тамерлана, но ничего не нашел.

Вот в это-то время судьба свела его с опальным запорожским атаманом Черняем.

Даже впоследствии, когда Державин занялся вплотную изучением этой странной истории и ему стали доступны архивные материалы, он так и не смог разрешить ряда вопросов, связанных с именем Максимова, казенного крестьянина Серебрякова и казака Черняя.

Ему, например, так и не удалось с полной ясностью выяснить, куда же делся впоследствии колодник, государственный изменник, запорожский атаман Черняй. Сама же история, в которую он едва не впутался, заключалась вот в чем.

III

Сидел в московской тюрьме, вместе с другом Максимова Серебряковым, запорожский атаман Черняй.

Преступление его отнюдь не отличалось особой сложностью.

Он был из тех казацких батек, которые даже под старость никак не могли примириться с новым веянием времени.

Ухищрения дипломатов, внешняя иностранная политика екатерининского правительства не вызвали в нем ничего, кроме тревожного удивления.

Широкоплечий, неуклюжий, кряжистый, с чудовищными мускулами и огромным упорством, он

продолжал понимать свое звание по старинке, то есть думать, что все сводится к тому, чтоб покрепче насолить соседям. Он и солил им с полной бесшабашностью, совершая набеги на турецкие города, предавая огню и мечу целые селения и развешивая пленников на окрестных деревьях.

Бил он турок, бил он поляков, и после каждой битвы его войсковая казна едва умещалась на нескольких телегах.

Так под старость он завоевал славу могутного и смелого батька.

Бесчинствовал он много лет, и его дерзкие и всегда успешные набеги не только не навлекали никаких кар на его голову, но даже покрывали ее своего рода славой.

Однако, старея, Черняй потерял житейскую гибкость и все менее и менее стал понимать виды петербургского правительства.

Наконец, в центре хмуро посмотрели на его последний подвиг, когда было сожжено слишком уж много домов и перевешано несколько сот пленников.

Военная коллегия послала ему указ, который выражал с достаточной определенностью мысль, что время грабежей прошло.

Указ был подписан Екатериной.

Черняй принял указ коленопреклоненно, зачел его через писаря войсковой громаде и, возвратившись домой, продолжал формировать отряд для ночного налета на турецкую слободу Балту.

Набег был произведен с той изумительной быстротой, ловкостью и наглостью, которая вообще составляла военный стиль атамана Черняя.

Балта была разгромлена.

Но в силу ли недостатка времени, в силу ли указа — человеческих жерств на этот раз было мало.

Зато опять награбленную добычу увозили на возах.

Этот набег, кажется, был последней каплей, переполнившей чашу долготерпения теснимой со всех сторон Оттоманской империи.

Турки переступили русские границы.

Вспыхнула война.

Она была явно не ко времени.

Екатерина велела переловить реестровых казаков, участвовавших в деле, и во главе с атаманом сослать в Сибирь.

В длинном списке подлежащих аресту, изъятию и ссылке первым стояло имя Черняя.

Черняй был арестован и привезен в Москву.

Казалось, спасения не было.

Однако он не хотел сдаваться так быстро.

В его голове зародился новый план.

Накануне отправки Черняй притворился умирающим и в течение нескольких дней так хорошо выдержал свою роль, что профос — так по-иностранному зовут начальника тюрьмы, — посмотрев на его бледное, искаженное страданиями лицо, позвал ему доктора и священника.

Доктор признал положение атамана весьма серьезным, — очевидно, этому помогло то золото, которое Черняй ухитрился сохранить даже в тюрьме, — а священник дал приобщиться и отпустил грехи.

В это время Черняй и встретил Серебрякова.

С первого взгляда Черняй понял, чем можно заинтересовать этого молчаливого, хитрого, но жадного до денег мужика.

Охая и стеная, он рассказал ему о кладе, якобы зарытом на турецкой границе.

Сорок лет таскали запорожцы сокровища, награбленные во время набегов, и со страшным кровавым заклятьем зарывали в заветное место.

Чего там только нет! Одного золота пять сундуков: и турецкие лиры, и немецкие цехины, и голландские гульдены, и итальянские флорины, и московские червонцы. Золото в слитках, в брусьях, в прутьях, в посуде, в поделках, просто самородком.

Турецкие чаши, золотые тарелки, золотые подносы, серебро же просто свалено навалом. Сколько его — никто не знает. Так горой и лежит. Да откуда и знать, когда его ведь прямо ссыпали возами. Дно ямы выстлано бархатом и парчой, и на нем лежат двадцать пушек, нашпигованных жемчугом. Сорок лет грабили тот жемчуг запорожцы, из ушей выдирали серьги, с шей срывали ожерелья, с рук — запястья. Сносили каждый год пригоршнями и прятали в пушки. Есть жемчуг с горошину, есть с орех, а есть и с лесное яблоко. Есть матерь жумчуга о пяти ядрах в виде креста. Есть черный жемчуг, есть розовый, есть перламутровый, есть серебристый. А еще там алмазы, рубины, изумруды, сапфиры. Камни голубые, камни желтые, камни зеленые.

Серебряков слушал затаив дыхание.

Черняй говорил без запинок, складно, но с большими перерывами, останавливаясь, хватаясь за грудь и переводя хриплое, жесткое дыхание. По всему было видно, что он доживает свои последние дни.

— Все равно я на свете не жилец, — говорил он с тихой грустью, — так что же мне в сих сокровищах, кровавым путем добытых? Достаньте их и володейте ими. Вы люди молодые. Вам еще жить да жить.

Однако на настойчивые вопросы о месте клада Черняй отвечал путано, неохотно, ссылаясь на ослабевшую от болезни память и то, что ему трудно долго разговаривать.

— Если бы хоть одним глазом тую степь увидеть — я сразу бы понял, — говорил он тоскливо.

Выздоравливая или притворяясь выздоравливающим, Черняй делался все замкнутей, молчаливей и на настойчивые вопросы Серебрякова о кладе только пожимал плечами и махал рукой.

— Что теперь говорить, — отвечал он. — Копил, копил сорок лет, и все прахом пошло. Вот если бы нам хоть на один денек в степь попасть, уж я бы...

Тут он вздыхал и, махнув рукой, отходил в сторону.

Вскоре дело изменилось.

По поручительству Максимова Серебрякова выпустили из тюрьмы.

В тот же день он рассказал Максимову о странном преступнике, и они сообща выработали план освобождения Черняя.

План был дерзок и прост.

Заключался он вот в чем.

Сыздавна существовал такой обычай, что по требованию кредиторов в городской магистрат приводили под конвоем несостоятельных должников, откуда по согласию и по требованию того же кредитора его под конвоем отпускали в баню или по домашним делам. Конвой состоял из одного человека, и поэтому отбить преступника не представляло никакого труда. Вот этим и решил воспользоваться Максимов.

Через знакомого сенатского чиновника были изготовлены фальшивые векселя, якобы выданные Черняем, и по ним выписано требование в магистрат.

Как и должно было ожидать, план удался блистательно.

На другой день Максимов возвратился из магистрата, ведя за собой Черняя.

Державин не был посвящен во все тонкости этой истории, но основное: клад, Черняй, освобождение преступника — он знал хорошо.

Черняй с первого же раза поразил Державина.

Небольшой, широкоплечий, крепкий, он сидел на стуле, сложив руки на груди, и не спеша, не задумываясь, не колеблясь, отвечал на все вопросы.

Увидев вошедшего незнакомца, он повернул к нему круглое кошачье лицо, хотел что-то спросить, но только нервно передернул плечами и отвернулся.

Но Максимов, сидевший рядом, понял его жест и сказал:

— Этого не бойся, это из своих. Он уж все знает.

— Мне почто бояться, — сказал Черняй, — я свое отбоялся, теперь вы за меня бойтесь.

Вечером пили, ломали посуду, пели песни и под конец Черняй рассказал о кладе.

Державина, не верившего во всю эту историю, поразила та обстоятельность и точность, с которыми Черняй рассказывал о кладе.

— Та яма имеет восемь аршин глубины и две сажени по сторонам. Рыли ее казаки ночью со страшными заклятьями и перед уходом поклялись никому об этой яме не болтать, а чтобы клад нельзя было открыть, его закопали на крови.

— Как на крови? — спросил Державин.

Черняй недовольно покосился на него.

— Как на крови бывает, — ответил он неохотно, — так и закопали.

На самом месте клада Черняй положил кости коня и желтый человеческий череп. Знали об этом кладе пять человек, трое, которые копали, двое, которые прятали.

Теперь первых трех нет уже в живых.

— А где же они? — снова спросил Державин. И опять Черняй недовольно покосился на него.

— В битву убили.

Остались они двое — Черняй да Железняк, но Железняк сейчас в Сибири, он же, Черняй, — вот налицо. И он согласен пойти и открыть сокровища с тем, чтобы поделить клад на четыре части.

— На три, — прервал его Максимов. — Ты, я, Серебряков — вот и все.

Черняй опять взглянул на Державина, но ничего не сказал.

Подали вина. Державин, забывая пить, смотрел на этого страшного и привлекательного человека, а он опрокидывал стакан за стаканом, не останавливаясь и не пьянея, только глаза его все глубже уходили в череп да опускали над переносицей мохнатые, похожие на черных гусениц брови.

На пятом стакане Черняй крякнул и застегнул жупан (одет он был вовсе не по-тюремному).

— По-моему, так, — сказал он вполголоса, — ежели ты не с нами, незачем тебе в наш разговор вязаться. Речь же, прошу вашего извинения, не о пуговице идет, а о сокровищах, кои цену изрядную имеют. Вот как, по-моему.

И он со звоном отодвинул тяжелый медный стакан.

Державин встал с места. Была уже полночь, ему нужно было торопиться в полк. С ним вместе вышел Серебряков. На Сенатской площади они расстались, и каждый пошел в свою сторону. В Москве они больше не встречались.

Глава седьмая

МАЛЫКОВКА

I

Два месяца блуждали трое стяжателей по Днепровской степи. Клад был спрятан на самой турецкой границе под старым дубом, но чтоб добраться до этого дуба, надо было покрыть огромное расстояние.

Ехали все трое верхом.

Лето было в разгаре.

Цвел дрок.

По ветру колыхались белые стрелы ковыля.

Желтые и розовые тюльпаны, упругие и крепкие, с плотными кровеносными чашечками, хрустели под копытами коней.

Черняй ехал впереди.

По каким-то неуловимым признакам, ночью — по расположению звезд, днем — по помятой траве, по изредка встречающимся деревьям, он определял дорогу.

Когда не было ни звезд, ни деревьев, он слезал с коня, маленький, тяжелый, чуткий, вставал на четве-

реньки и водил головой по ветру, обнюхивая воздух и ища дорогу.

Впрочем, говорил он, дорогу найти сейчас трудно, так как он едет с чужой стороны, а не из того места, как ходил обычно.

Попадались курганы.

Черняй влезал на каждый из них, осматривая со всех сторон, поднимал какие-то камешки, рассматривал их, обнюхивал, а если на кургане была баба, то тщательно обшаривал глазами каждую впадину ее морщинистого каменного тела. "Должна быть замета, — говорил он уверенно, — знак тут положен". Но бабы стояли на курганах черные, неподвижные, с широкими монгольскими лицами и раскосыми разрезами глаз.

И никаких замет не было на их круглых телах.

Руки у баб были сложены около чресел, и в них была зажата круглая тюльпаноподобная чаша. Коршуны летали над курганами и, пища, садились на плечи и головы каменных баб. Черняй отходил от кургана. "И не здесь, — говорил он, — треба еще ехать к югу".

И путники снова садились на разгоряченных коней и мчались дальше. Иногда на привалах Черняй по старому обычаю начинал рассказывать о кладах.

— Золото...

— Слитки...

— Посуда...

— Серебра не счесть...

— Двадцать пушек, нашпигованных жемчугом... Оживляясь, он махал руками: ведь он сам собирал этот жемчуг и пригоршнями сыпал его в жерла.

Розовые, черные, белые жемчужины, еще живые, сверкающие перламутровой радугой, гранатовые кресты, которые носят на шеях польские паны, серьги с тяжелыми зелеными камнями. Во время набегов он сам, своими руками, вырывал их из ушей полячек с кусками мяса. Шкатулки из серебряного кружева, невесомого, как морская пена. Хватай эти сокрови-

ща, прячь их под кровати! Набивай карманы! Насыпай в пятерики! В бочки! Завязывай в рубахи и тащи волоком! Только бы найти, только бы добраться!

Но даже Максимов уже перестал слушать Черняя. Разговоры о кладе только больше разжигали его и заставляли жгуче ненавидеть запорожца.

Наконец, в начале второго месяца, Черняй увидел курган, влез на него, посмотрел на солнце, на горизонт, зачем-то прилег ухом к сухой раскаленной земле, потом встал и сказал:

— Ну, хлопцы, креститесь. Теперь уже доехали. От этого кургана на восток и двадцати верст не будет.

А наутро они услышали первые выстрелы. С этого места начинался театр военных действий. Дальше идти было некуда. И особенно опасно было идти с Черняем, которого знали турки и ловили русские войска. Три дня путники кружились около лагеря, ища перехода.

Перехода не было.

На четвертый день их задержали и доставили к командиру.

Приняв на себя независимый вид, Максимов стал объяснять.

Он — помещик, богатый помещик. Его имение находится в двадцати верстах от усадьбы его превосходительства. Если он, командир, был в тех краях, то, конечно, слышал фамилию Максимова. Ах, он не был в тех краях! Жалко!

Очень жалко! Иначе, конечно, он бы не стал сейчас допрашивать его.

А эти люди — его крепостные. Он здесь путешествует по своей надобности.

По какой надобности? Ну, что ж, он может и это открыть. Он хотел здесь купить земельный надел, ибо, как говорят, здесь плодороднейшая почва, немереные просторы, и достается она задаром.

Документы? У него есть все документы.

Максимов улыбался, пожимая плечами, говорил то по-русски, то по-французски и под конец совсем

сбил с толку нерасторопного офицера. Его документы, конечно, были в порядке. У слуг же командир даже и не догадался спросить их.

Вечером сели играть в карты. И Максимов, может быть, первый раз в жизни, проиграл двести рублей и не отыгрался.

А утром двинулись дальше. Конечно, ни о каких поисках сокровищ говорить уже не приходилось. Черняй совсем осел, побледнел и шел опустив глаза. Иногда он внезапно останавливался и начинал бормотать себе под нос, размахивая руками и показывая на далекую синеву горизонта.

Серебряков и Максимов зорко следили за каждым его движением. За последнее время его голова приобрела особую ценность.

Опять кружили они около курганов. Опять Черняй высматривал каменных баб, по звездам определяя место клада. Однако идти теперь надо было не прямо, а кружными путями.

И наконец случилось то, чего давно ожидал и боялся Максимов. Ночью Серебряков разбудил его. Слабо потрескивая, горел костер, вырывая из темноты лицо Серебрякова.

— Что такое? — спросил Максимов.

Серебряков толкнул его локтем.

— Крутит да вертит, трет да мнет, — сказал он, показывая на мирно спящего Черняя. — Только беды с ним наживешь. Ведь он — преступник государственный. Ему и от русских и от турков бежать нужно. А ведь тут турецкая граница. Русские его поймают, так второй раз небось не отпустят. А турки с нас живых шкуру сдерут. Это хорошо, что мы на своих напоролись. А если бы в турецкий стан попали, тогда бы на нас смотреть стали? Вырезали бы из спины по ремню и кверху ногами повесили.

Максимов посмотрел на Серебрякова, в голове у него гудело.

— Так что же делать? — спросил он.

Серебряков покосился на спящего Черняя.

— А то, что нечего с ним валандаться. Только беды наживешь. Выбрать время поудобнее да спустить с рук долой.

— Как спустить?

— Да уж известно как, — сказал улыбаясь Серебряков. — Долго валандаться с ним не приходится.

В степи было очень тихо. Только, умирая, потрескивал костер да в густой траве кричала какая-то птичка.

Максимов посмотрел на Серебрякова.

— И возьмешь ты себе на плечи такое дело? — спросил он.

Серебряков улыбнулся:

— Убить Черняя ничего не стоит. А вот отпустить его — за это вот по головке уж не погладят.

Максимов, не решаясь, покачал головой.

— Не знаю, — сказал он, глядя в глаза Серебрякову. — Думай уж ты сам.

— Я уже вздумал, — сказал Серебряков. — Я еще месяц тому назад все это вздумал. Только знать хотел, что вы скажете.

— Я как ты, — ответил Максимов.

— Ну, а коли так, — сказал Серебряков, — то и решать нечего. Ясное дело. — Он отошел от Максимова и, сбросив куртку, лег на нее. — Вам и мешаться не надо, — сказал он через минуту. — Я все один обделаю. Он и проснуться не успеет.

Подложив под голову руку и вытянувшись около костра, Черняй спал.

Через тридцать лет, составляя свою автобиографию, Державин так записал о Черняе:

"По обнаружении всех обстоятельств, сказать должно, что когда Серебрякову и Максимову не удалось вышеозначенных в польской Украине награбленных кладов отыскать, ибо все области те как военный театр против турков занят был войсками и не можно было им без подозрений на себя шататься в степях и искать клада, то они предводителя их Черняя отпустили или куда дели неизвестно".

II

Весь день прошел у Державина в хлопотах. Кроме прямых обязанностей, Бибиков нагрузил на него работу по приведению в порядок дневников, называемых так: "Дневные записи поисков над самозванцем Пугачевым".

Это была на редкость трудная работа.

Он сидел в канцелярии, замыкая двери на ключ и утопая с головой в ворохе исписанной бумаги.

Матушка Фекла Андреевна худела, горбилась, с каждым днем становилась все более молчаливой и опасливой. Здоровье сына волновало ее особенно. Раз она ходила даже к какому-то чудотворцу вынимать просфору за здравие воина Гавриила. Но спросить сына, где он засиживается по ночам, не смела и даже плакала только ночью, украдкой от домашних.

Мальчик возвращался поздно ночью, усталый, чем-то недовольный, и сразу же проходил в свою комнату.

Есть ему подавали туда же.

И всю ночь в комнате сына горел свет, и когда мать прикладывала ухо к замочной скважине, ей был слышен голос сына, произносящий какие-то непонятные для нее, диковинные слова. Собственно не голос даже, а пение. Мальчик пел.

Расхаживая по комнате, натыкаясь на мебель, он пел тягучим фальцетом о победе русского оружия, о славе, о божестве, о смерти, о жизни. Мать не разбиралась в этих словах, — слишком кудрявых и громких, чтобы быть понятными, но уходила от двери она с чувством, похожим на то, с каким недавно стояла на обедне чудотворца.

Она уже знала — сын ее сочинял стихи.

Однажды, возвратившись из комиссии, Державин увидел у себя в комнате странного гостя. Положив на стол какой-то пестрый узелок и при-

слонив к стене посох, сидел у стола, дожидаясь его, Серебряков.

Это явление настолько было чудовищным, что Державин даже не сразу поверил своим глазам.

А Серебряков уже встал с места и, низко поклонившись, подошел к нему вплотную.

— С приездом в вашу отчизну, Гаврило Романович, — сказал он смиренно.

— Серебряков! Ты ли это? — спросил Державин ошалело.

Серебряков поклонился еще раз.

— К вашей милости прибегаю, — сказал он.

— Стой! Стой! — крикнул Державин. — Как же так? А где же Черняй?

Они стояли друг перед другом и смотрели друг другу в глаза. Внезапно Серебряков широко махнул рукой.

— Где ему полагается быть, Гаврило Романович, там он и есть, — сказал он, улыбаясь.

Державин взглянул на него прямо и страшно.

— В тюрьме? — спросил он.

Серебряков покачал головой.

— Что ему в тюрьме сидеть? Он человек вольный, как тот ветер, что в степу. Либо смерть, либо воля.

— Так значит?.. — спросил Державин. — Значит, вы...

Серебряков улыбнулся.

— Значит, Гаврило Романович, что хочу я его высокопревосходительству Бибикову большую помощь оказать, дабы того вора и обманщика Емельку живьем взять и ее императорскому величеству доставить в клетке.

— В клетке?

— В клетке-с, Гаврило Романович, живьем для показа.

Державин опустился на стул и показал Серебрякову на кресло около себя.

— Ну, садись, рассказывай, — бросил он коротко.

Серебряков жирно откашлялся.

— Как я его высокоблагородием господином Максимовым из тюрьмы выпущен под его расписку...

— Да ты дело говори. Как ты думаешь помочь его высокопревосходительству, — прикрикнул Державин.

— ...То я и просил бы, чтоб он надзор за мной доверил ему же, господину Максимову, — спокойно докончил Серебряков.

Он вынул из кармана лист бумаги, сложенный вчетверо, и, развернув его, начал рассказывать.

План Серебрякова был серьезен, прост и примечателен. Не план, вернее даже, привез он Державину, а общие соображения насчет поимки Пугачева. Все основывалось на успешном действии правительственной армии, которая в последнее время стала теснить дерзкого самозванца.

— Несомненно, — говорил Серебряков, — разбитый самозванец подастся к раскольникам, ибо всему свету известно, что он и сам раскольник. И конечно, он придет к иргизским пустосвятам, тем воровским старцам, которые до сей поры его скрывали. И прежде всего на память ему придет — в дворцовое село Малыковку, где он уже раз был. — Вот тут и начинаются соображения его, Серебрякова.

Надо прежде всего знать, что он, Серебряков, исконный житель Малыковки.

— Ну, и что ж из этого? — спросил Державин.

— Хочу через сие предложить его высокопревосходительству, дабы он мои слабые силы для оного славного дела и использовал.

— Чепуха, — резонно сказал Державин. — Что за чепуху ты говоришь? Больше ничего не скажешь?

И, помявшись, Серебряков стал рассказывать дальше.

— Дело в том, — сказал он, — что мне раз уже удалось поймать вора, самозванца и плута Емельку Пугачева.

Державин вскочил с места.

— Как поймать? — спросил он.

Серебряков продолжал рассказывать.

В прошлом, 1772 году он, бывши в Малыковке, встретился с Иваном Фадеевым, ездившим на Иргиз в раскольничью Мечетную слободу для покупки рыбы. Сей Фадеев рассказал ему, что он был в доме у жителя той слободы Степана Косых и видел там некоего проезжего человека. Оный человек, собрав всех в горницу, а допрежь баб и ребят выслав вон, говорил о том, что хорошо бы предаться туркам, а военачальников перевешать. Говорил приезжий о том, что на Яике казаки оное дело уж накрепко решили и ждут только удобного момента. Яицкие-де казаки, говорил человек, согласились идти в турецкую область под его началом. Только-де, говорил приезжий, они допрежь всего военных людей всех перебьют. Он же, проезжий, много раз в той Туретчине был, все места там знает и уверить может, что турки их примут как своих родных братьев. Живи себе, как хочешь. Здесь же свои люди жить не дают. Говорят, что турки люты. А как они ни люты, свои военачальники еще их лютее. Из турков, говорил человек, кто вам что худого сделал, а военачальник каждого из вас утеснил да обидел.

Державин слушал неподвижно и молча.

— Посему, — сказал Серебряков, — услыша от Фадеева сии возмутительные речи и будучи сам болен, призвал я к себе надежного приятеля, дворцового крестьянина Герасимова, и просил его съездить в Мечетную слободу и от друзей разведать — от кого пронеслись такие возмутительные речи и кто сей человек, к бунту, неповиновению и смертоубийству призывающий.

— Ну и что ж? — сказал Державин, внимательно слушавший рассказ Серебрякова. — Узнал он что-нибудь?

Не торопясь и улыбаясь, Серебряков продолжал рассказывать.

— Да, разумеется. Герасимов ездил, как он есть первый друг мой, и по приязни к нему той же слобо-

ды житель Семен Филиппов сказал, что тот проезжий человек — вышедший с польской границы раскольник, и называется он Емельяном Ивановым Пугачевым. Сей человек, по разрешению дворцового управителя Позднякова, ездит и осматривает, есть ли для селитьбы место, а также он, Филиппов, подтвердил Герасимову вышепомянутые дурные разглашения.

— Ну и что же дальше? — спросил Державин. — Поймали Емельку?

Серебряков покачал головой.

— Нет, как в той Мечетной слободе его уже не было, а, по известиям, поехал он в село Малыковку, на базар, то Герасимов бросился туда и нашел его квартиру у экономического крестьянина Максима Васильева. И здесь велел за ним посмотреть. А сам подал через крестьянина Ивана Вавилова сына Расторгуева рапорт к властям. И вследствие оного Герасимов был доставлен в Симбирск, а оттуда в Казань для допросов и розыску.

— Так, — сказал Державин, прослушав Серебрякова до конца, и встал с места. — Но все сие является делом давно прошедшим, о чем же можно говорить сейчас?

Если бы тогда удалось поймать вора Пугачева, то было бы хорошо. Но что же он, Серебряков, думает сейчас? Ведь ни в Малыковке, ни в Мечетной слободе, ни в каких других местах Пугачева давно нету.

Но Серебряков оказался совсем не так прост. У него, оказывается, были свои соображения. Не торопясь, он стал их выкладывать.

— Сейчас самое время действовать, — сказал он. — Как наши верные войска ее императорского величества для истребления сего изверга пошли, то и должно надеяться, что вскорости злодейская толпа будет разбита наголову.

— Ну и что же? — спросил Державин.

Серебряков встал со стула и подошел к нему вплотную.

— Как — что же? — спросил он с глубоким удивлением. — да разве его высокоблагородие не знают, что сей вор, сей изверг, сей зверь бесчеловечный не кто иной, как раскольник?

— Знаю, — сказал Державин.

— Так вот, — торжественно сказал Серебряков, — из сего-то мое предложение вытекает. Куда сему вору, раскольнику податься после того, как его сила будет наголову разбита? Ясное дело — только к раскольникам. Он, злодей, принужден будет искать там убежища, как искал до своего объявления, а для сего лучшего места и найти невозможно, как на Иргизе или на узенях, у его друзей-раскольников.

— Так, так, — сказал Державин. — Что же ты думаешь делать дальше?

Он, Серебряков, просит, чтобы дали ему в товарищи Герасимова и Максимова и, снабдив их всех троих приличной суммой денег, послали в стан Пугачева.

— Денег? — спросил Державин.

Серебряков, не дрогнув, выдержал его взгляд.

— Да, денег, — сказал он серьезно. — Без денег такие дела не делаются. Тут нужен большой подкуп.

— И много денег? — поинтересовался Державин.

Наглость Серебрякова была чудовищной. Вчерашний колодник, обманом избавленный от тюрьмы, он приходил, после совершения убийства, к Державину и требовал денег, людей и средств.

— Много денег, — сказал Серебряков и даже вздохнул. — Одной тысячью здесь не отделаешься.

— Так, — протянул Державин, рассматривая его лицо. — Отлично. Еще чего спросишь?

А больше ему, Серебрякову, ничего не нужно, решительно ничего. Ему бы только заслужить вольные и невольные грехи перед ее величеством, а там...

Державин встал с места. Замысел был неверный и сомнительный, однако скрыть его от Бибикова он не смел.

— Ну, ладно, — сказал он, — хорошо. Оставь бумагу. Я завтра передам ее главнокомандующему. Зайдешь за ответом.

III

Поздней ночью, после разговора с Серебряковым, Бибиков принял подпоручика Державина. В кабинете было темно и тихо. На письменном столе горела только одна свеча, и первое, что увидел Державин, это было яркое световое пятно, вырывающее из мрака кусочек стола, заваленного бумагами, резную спинку кресла и склоненную к бумагам седую голову главнокомандующего.

При входе Державина он рывком повернул голову, поднялся со стула и пошел навстречу.

— Ну, здравствуй, здравствуй, — сказал он радушно, первым протягивая руку. — Только что сейчас просматривал дела судебные, кои ты мне на конфирмацию прислал. Иные подписал, а иные, просмотрев, отложил. Ужо думаю послать с курьером в Москву. Пусть они там разбираются. А я не мастак и не охотник до ябедничества. Однако кажется, что в сем деле без петли не обойдется.

Выжидая ответа, от смотрел на Державина.

Державин молчал.

Бибиков засмеялся.

— Как ты мне, бишь, из Казани писал? Сколь, мол, ни пори, сколь к присяге ни приводи, — все одно, народ по своей развращенности на царскую грамоту плевать хотел. Никто за помилованием не идет.

— Я не так писал, — улыбнулся Державин.

— Ну да, еще бы ты мне так писал. Я не о словах с тобой говорю, а о духе. О духе, коим все письмо было пропитано. Впрочем, — он махнул рукой, — как о сем ни напиши — все равно ничего не изменишь.

Он хмуро смотрел на Державина. И вдруг лукаво, совсем по-мальчишески, прищурил левый глаз.

— А как ты мне сначала говорил? Непобедимое воинство премудрой матери нашей. Помнишь? И грудью на меня, грудью за то, что я слов таких не понимаю.

— Ваше превосходительство! — крикнул Державин. — Я никак не мыслил...

— Э... да что там говорить, — махнул рукой Бибиков. — Я, брат, тоже когда-то таким был, как ты. Все мне на свете ясным казалось. А на эти, на бунты народные, я попросту плевал, сударь. Как, мол, он, мужик, против моей шпаги дворянской с колом да с топором попрет? Да я его... А вот он взял топор и пошел. А мы сидим у моря и гадаем — чи так, а чи не так. Вот какое дело-то.

Он вдруг резко, с креслом, повернулся к столу и стал шарить среди бумаг.

Искал, не находил, отбрасывал бумаги в сторону, наконец нашел одну, исписанную крупным, неуклюжим почерком, и бросил ее на стол.

— Была бы у нас армия, — сказал он с горечью, — да люди, все это полдела было бы. А у нас и офицеры — те же Балахонцевы. — Он ударил рукой по листу бумаги. — Вот полюбуйся, комендант города, капитан гвардии, дважды из города бежал, как баба, захватив перины и денежный ящик. Боялся, видно, что отечество не переживет, если его, героя, на воротах вздернут. Приехал в Казань — бледный, губы трясутся, рукой за стаканом тянется — рука дрожит. Говорить о чем-нибудь начнет — и сейчас же соврет. И что бы ни сделал, что бы ни сказал — всего боится. Ты поверишь ли, когда я ему сказал — пожалуйте, сударь, вашу шпагу и будьте добры проследовать за моим адъютантом под арест, то он даже просветлел. Все, мол, кончилось. Никуда больше не пошлют, ни о чем не спросят. Да я, говорит, ваше благородие... Ладно, говорю, идите уж... идите, нечего там. Вот, сударь, какие у нас офицеры.

Державин молча разглядывал лицо главнокомандующего.

Ему показалось, что он поправился и даже пополнел. Белое холеное лицо было спокойно и даже весело. И говорил он легко, красиво, не затрудняясь, и по тону его голоса никак нельзя было понять, что он сделает сейчас — завопит от ужаса или, смеясь, шутя и острословя, будет продолжать свой рассказ.

Только когда он, жестикулируя, положил на минуту руку на спинку кресла, Державин заметил, как едва заметно, но четко дрожат его большие, прохладные пальцы.

— Тут силой ничего не сделаешь, — сказал главнокомандующий. — Манифестами тоже. Тут кровью нужно, кровью бунт заливать. Юлий Цезарь говорит...

Но Державин так и не услышал, что сказал Юлий Цезарь. Главнокомандующий вдруг круто оборвал речь и заговорил о другом.

— Ты вот мне Серебрякова привел — и хорошо сделал. Эта птица залетная и говорит дельно. Однако не особенно я таким залетным соколам верю, за ними глаз да глаз нужен. — Он взял бумагу, исписанную со всех сторон старинным уставным письмом, с глаголами и титлами, и прочитал: — "А посему прошу дать мне в надзиратели здешнего помещика его высокоблагородие Максимова". Вот видишь, какую он штуку задумал: дай его Максимову.

Бибиков остро посмотрел на Державина.

— Максимову я его не доверю, — сказал он решительно. — Максимов — плут и его наперсник. А доверяю я его тебе. Ты мне его привел, ты и расквитывайся.

Державин наклонил голову.

— А теперь расскажи, что ты о нем знаешь. Что это за история с Черняем и с кладами?

Пока Державин говорил, Бибиков сидел неподвижно, опустив голову, и только иногда его лицо кривилось быстрой, едва заметной улыбкой.

— Здорово, — сказал он, когда Державин кончил рассказывать и глубоко вздохнул. — Удальцы что надо. А где Черняй?

— Не знаю, — ответил Державин. — Сам об этом неоднократно думал. Отпустили или же...

— Отпустили? — улыбнулся Бибиков и покачал головой. — То-то что отпустили ли? Ну, а что ты скажешь, я этого Серебрякова сразу раскусил. Этот даром за дело не возьмется. Либо им, либо нам услужить хочет. Но вернее, что нам, потому что с ними ему делать нечего. Так вот, бери его и поезжай в Малыковку, в то самое место, где первый раз вора видели. Может быть, и выйдет что. А сейчас давай обсудим, что ты делать будешь на месте.

* * *

Они сидели друг против друга, и Бибиков говорил Державину:

— План не глуп. Известно, что вора и злодея Пугачева гнездо прежнего злодейства были селенья раскольничьи в Иргизе. А посему не можно думать, чтобы, оных злодеев растеряв...

— Нет, не растерял, — сказал Державин, — не мог он их растерять, ибо среди задержанных в Самаре были раскольники в преизрядном количестве. Они все за него.

Бибиков кивнул головой.

— Следственно, — сказал он, — предполагать можно, что после крушения его под Оренбургом толпы и по рассеянии ее (чего, не дай боже), в случае побега, злодей вознамерится скрыться на Иргизе, в узенях или в тамошних муругах или же у раскольников. Так полагать надо.

— А из сего, значит, состоит моя обязанность, — следя за словами главнокомандующего, продолжал Державин.

— Не пропустить сего злодея, к чему почву нужно подготовить сейчас же. — Бибиков пригнулся к самому лицу Державина. — Для чего вы скрытным и неприметным образом обратите все возможные ста-

рания, чтобы узнать тех людей, к коим бы он в таком случае прибегнуть мог. Понятно?

— Понятно, — ответил Державин.

— А узнавши сих людей, расположите таковые меры, чтобы сей злодей поимки избежать не мог.

Державин вздохнул.

— Нужны деньги, награды, и не маленькие награды, — сказал он.

Главнокомандующий положил ему руку на плечо.

— Отлично. Обещайте, как было уже от меня объявлено, — десять тысяч или какие другие возмездия тем, кто может способствовать в ваши руки злодея сего доставить.

Он посмотрел на Державина прищурясь.

— Сие дело отменно тонкое, — сказал он. — Я токмо на ваше искусство полагаюсь. На сие дело надо заблаговременно людей приискать и подготовить искуснейшим образом, дабы они все сокровеннейшие планы злодеев открыть могли. Понятно?

Державин наклонил голову.

— Будет сделано, — ответил он.

Бибиков встал с места.

— Но не жди окончательного разгромления злодейской сволочи. Ибо сие дело еще изрядно протянуться может. Действуй, сударь, действуй. Действуй подкупом, кинжалом, петлей, шпицрутенами, чем хочешь. Но только действуй, а не жди. Ибо воистину можно сказать, что здесь всякое промедление смерти подобно. Употреби все свое старание о том, чтобы узнать о действиях и намерениях злодея, его толпы, будь зорк и неусыпен и бдителен, узнай состояние толпы, их силу и взаимные между собой связи. А всего подробнее и более узнай, нет ли среди сей сволочи колеблющихся, готовых ради своей пользы предать злодея и сложить свои головы к ногам премудрой матери нашей. Сих призрите, осыпьте наградами и обнадежьте. Не бойся переборщить, сударь. Там видно будет — кто чего достоин, а сейчас обещай все. С этими сведениями как ко мне, так и к марширую-

щим по сибирской линии господам генералам, майорам князю Голицыну и Мансурову с верными людьми доставлять имеете, ведя о тайном деле переписку посредством цифирного ключа, который тебе вверяется. Таковы два первых пункта твоей инструкции.

Бибиков говорил складно, быстро, не задумываясь и не останавливаясь ни на минуту. Таким, очевидно, он был на торжественных приемах или наедине с секретарем, когда диктовал свои реляции.

Потом он вдруг встал с места и положил ему руку на плечо.

— Хотя уж поздно, друг мой, — сказал он. — Иди к себе. Я же подумаю — какие еще артикулы в ваше наставление включить.

IV

Остальные пункты инструкции:

"Пункт номер третий. Чтобы доставить в толпу к злодею надежных людей и ведать о его и прочих злодеев деяниях, не щадите вы ни трудов, ни денег, для чего и отпускается с вами четыреста рублей из экстраординарной суммы, в которых по возвращении вашем отчет дать можете. Чтоб в случае нужном делано было вам и от вас посланным всякое вспоможение, для того снабжаетесь вы письмом пребывающему в Саратове г. астраханскому губернатору Кречетникову, а к малыковским дворцовым управителям открытым ордером. Вы воспользуетесь тем тогда, когда нужда вам во вспоможении от того или другого настоять будет. Для сыскания и привлечения к вам от тамошних людей доверенности, ласковое и скромное с ними обращение всего более вам способствовать будет.

Пункт четвертый. Не уставайте наблюдать все людей тамошних склонности, образ мыслей и понятие их о злом самозванце и все способы употребляйте к объяснению обманутых, колеблющихся, что он не

только самозванец, но злейший государственный злодей и изменник. Проповедуйте милосердие монаршее тем, кои от него отстанут и покаются. Обличайте рассуждениями вашими обольщения и обманы Пугачева и его сообщников.

Пункт пятый. Наконец, для вступления в дело возьмите себе в помощь представленных вами известных Серебрякова и Герасимова, из которых Серебряков примечен мною как человек с разумом и довольно тамошние обстоятельства знающий. Но рассуждение здравое и собственный ваш ум да будут вам лучшим руководителем; а ревность и усердие к службе представит вам такие способы, которые, не быв на месте и по заочности предписать не можно. Их же, Герасимова и Серебрякова, к тому по рассмотрению вашему употребите, для чего они в команду вашу точно и поручаются.

В прочем я полагаюсь на искусство ваше, усердие и верность, оставляя более наблюдение дела, для которого вы посылаетесь, собственной вашей расторопности, и надеюсь, что вы как все сие весьма тайно содержать будете, так не упустите никакого случая, коим бы не воспользовались, понимая силу прямую посылки вашей.

Ал. Бибиков".

V

На сто сороковой версте выше Саратова впадает в Волгу река Иргиз. Вдоль реки расположена длинная сеть селений, деревень и лесных скитов.

Живут в них раскольники. Длиннобородые, медлительные, немногословные, с острыми быстрыми глазами, они пришли первыми на эту реку и всюду разбили свои обители.

Скитов на Иргизе очень много.

Есть явные скиты, построенные на открытом месте, хорошо известные властям и даже процветающие

под их наблюдением. Есть скиты тайные, запрятанные в глубь лесов, разбитые в пещерах и в темных, мало кому известных местах.

В этих тайных обителях живут старцы, настоятели, раскольничьи епископы. Сюда, в эти тайные, глубоко запрятанные норы, приходят беглые крепостные, раскольники, теснимые за веру, преступники, скрывающиеся от розыска. Здесь их кормят, переодевают, дают лошадей и отправляют еще дальше, в самые темные, недоступные для людских глаз норы.

Раскольничьи старцы немногословны. Но зато человек, прошедший через их руки, может быть спокоен. Они не выдадут, не проболтаются, не предадут.

И еще сюда приходят беглые, утратившие свое имя, фамилию и родину. Когда-то, спасаясь от гонений, переступили они польскую границу и теперь по указу Петра III приобретают опять права гражданства, перейдя ее вновь и отдавшись в руки пограничному патрулю.

Их не спрашивают ни о чем, не сажают в тюрьмы, не наводят следствия.

Любую фамилию, имя и отчество они могут взять себе при первом же беглом опросе на границе.

Таков указ Петра III.

Люди, бегущие от правосудия, крестьяне, спасающиеся от помещика, должны дважды в одни сутки перейти русскую границу и ночь провести на польской земле. Они тихо переходят русскую границу в первый раз — если их теперь поймают, все пропало, — и ждут в Польше следующего дня, чтобы перейти границу снова, под новым прозвищем и фамилией. В этот раз они переходят ее явно. Служащие на границе мало интересуются мотивами их возвращения. Любовь к родине, тоска по близким, желание умереть на родной земле — все мотивы одинаково хороши для караульного офицера. Всех все равно не поймаешь, всех все равно не засунешь в тюрьмы. И какое дело пограничному чиновнику до имени и до прош-

лого перебежчика, если есть твердый указ пропускать всех?!

Так человек теряет самого себя. Так он приобретает новое имя, новый дом, новые привязанности.

Темны волжские ночи, густы иргизские леса — хватит в них скитов, обителей и логовищ на всех.

Человек живет, постепенно забывая свое прошлое. Даже настоящая фамилия его становится чужой, и разве в бреду она сорвется с его языка.

И только дремучие бородатые старцы знают коечто о прошлом перебежчика.

Но они молчат.

Из них не выбьешь ни одного слова.

Они умеют хранить чужие тайны. А если и случится когда-нибудь, что человека назовут его настоящим именем, — что помешает ему перейти русскую границу во второй, третий, четвертый раз?

Снова патруль, карантин, новый паспорт и после этого на многие годы та же притаившаяся, жадная и хищная жизнь.

Скиты, логова, овраги, мурыги, тростниковые заросли, глубокие пещеры — все это известно наизусть такому трехкратному изменнику.

* * *

Два места славятся особенно среди перебежчиков.

Село Мечетное и ниже его, против впадения Иргиза в Волгу, на горном правом берегу — дворцовое село Малыковка.

В этом селе в первый раз и был арестован Пугачев. Как и большинство беглых, он, преступив польскую границу, провел шесть дней в карантине и получил паспорт. (Удивительный был этот паспорт:

Волосы на голове темно-русые.

Борода черная с сединой.

От золотухи на левом виске шрам.

Рост два аршина.

От роду сорок лет.

На оном, кроме одеяния, обуви, никаких иных вещей не имеется.)

На опросе он заявил, что желаемым им местожительством является дворцовое село Малыковка.

Здесь же после допроса Филиппова он был арестован.

Здесь же второй раз его ждали Герасимов и Серебряков.

Десятого марта 1774 года Державин приехал в Малыковку.

VI

Серебряков и Герасимов привели к Державину экономического крестьянина Дюпина.

Был он тяжел, немногословен и замкнут.

Державин смерил его с головы до ног быстрым пронизывающим взглядом. Ничего, не шелохнулся приведенный человек, не отвел глаз, не изменился в лице. Тогда Державин показал ему на стул, но сам не сел и Серебрякова с Герасимовым тоже не посадил. Быстрый, легкий, стройный, он ходил по комнате, и лицо его все время было скрыто от сидевшего неподвижно экономического крестьянина Дюпина.

— Ну что ж, — спросил он, подойдя к окну, — надумали чего-нибудь?

Серебряков показал глазами на сидевшего неподвижно Дюпина.

— Вот он вам, ваше благородие, скажет, что мы замыслили.

Державин рывком повернулся к Дюпину.

— Ну, говори, — сказал он.

Дюпин откашлялся.

— Мы, ваше благородие...

Но Державин прервал его:

— Ты подожди. Как звать-то тебя?

Человек на стуле сидел по-прежнему неподвижно.

— Василий Григорьев, — ответил он через минуту.

— Так, Василий Григорьевич, — весело сказал Державин. — Ну, а как — семья есть?

— Семья есть, — ответил Дюпин.

— И большая? — как-то будто мимоходом поинтересовался Державин.

— Семья большая, — ответил Дюпин.

Державин подошел к Дюпину вплотную.

— За большое дело берешься, — сказал он строго. — Убежишь — семья останется. Она уж никуда не уйдет.

— Это точно, — ответил Дюпин.

Державин взял его за виски и повернул лицом к себе.

— Ты думаешь, может, щадить будем? Ты своруешь, а мы с твоим семейством нянчиться будем? Не будем, всю твою семью до корня изведем.

— Это верно, изведете, — как будто чересчур уж равнодушно согласился Дюпин.

Державин отпустил его голову и обернулся к Серебрякову.

— Ты за него ручаешься? — спросил он.

— Как за самого себя, — торопливо подхватил Серебряков.

Как же возможно ему своровать, коли его семья вся здесь? Руку протянул и достал.

Державин подошел и сел в кресло.

— Ну, рассказывай, — сказал он.

Немногословно, с большими перерывами, вдумываясь в каждое слово, Дюпин стал рассказывать.

Его план был прост и правдоподобен.

В число участников заговора, кроме Державина, Серебрякова и Герасимова, включалось два новых лица: Дюпин и некий раскольничий старец Иов, человек острый и верный, как сказал Дюпин и как сейчас же подтвердил его слова Серебряков. С этим старцем, который Пугачева знает в лицо, направиться к пугачевской шайке, притворяясь Христа ради юродивыми, продавая образки и ладанки, и там разузнать все, что нужно.

— А что узнать нужно? — спросил Державин строго и загнул один палец. — Сколько человек в злодейской шайке есть — раз. Сколько провианту, артиллерии, пороху и прочих воинских снаряжений в наличии имеется и откуда оные идут — два. — Державин загнул второй палец.

— Это узнать нетрудно, — сказал Серебряков. — Только бы нам в стан проникнуть.

— Дальше: какое у него согласие с башкирцами, киргизами, калмыками и нет ли какой переписки с другим неприятелем, например, с турком, или поляком, или немцем.

Дюпин сидел молча.

— А самое главное, — Державин снизил голос до шепота, — нельзя ли злодея с малой толпой заманить в какое ни на есть место и там придушить.

Дюпин молчал.

Державин смотрел ему в глаза.

— Как, по-твоему, сие сделать можно?

Дюпин приподнял голову.

— Можно, отчего нельзя, — ответил он охотно. — И заманить, и убить можно. Все сие не выше сил человеческих.

— А пойдешь ты на это? — спросил Державин.

— Раз вызвался к вашему благородию явиться, значит — пойду.

Державин подошел к нему вплотную.

— Поезжай, — сказал он громко. — Поезжай за старцем. Даю тебе три дня сроку. Там поговорим.

VII

В тот же день, воротившись домой, Дюпин стал собираться. Своей жене он сказал, что едет по особо важному и секретному делу, которое может его либо погубить, либо, если все пойдет ладно, по гроб жизни осчастливить. При этом он пожимал плечами, зага-

дочно улыбался, а когда говорил об опасности, раздва провел по шее:

— Ну, беда моя, — сказала жена, выслушав его хвастливый, хотя и немногословный рассказ. — Опять придется тебя водой отливать.

Дюпин, упаковывавший в мешок какие-то сухари, вдруг остановился и даже побледнел.

Дело заключалось в том, что месяц тому назад его били в соседней станице, били как следует, не щадя ни головы, ни лица. Били так, что он полдня провалялся в крапиве и только к вечеру пришедшая на тревожные слухи жена отлила его водой и отвела в хату.

Били Дюпина за то, что он, поверив какому-то заезжему знахарю, взялся лечить по его рецепту соседскую корову.

Этот рецепт лечения был особый. В сложный состав мази, которой пичкали несчастную животину, входило и растолченное крыло летучей мыши, и кости жабы, проглоченной ужом, и какие-то корешки, собранные лунной ночью и высушенные на солнце. Все это толклось и варилось в котле, зарывалось вместе с горшком в землю, парилось там три дня до периода брожения и, наконец, давалось больной корове три раза в сутки: утром, вечером и ночью. При этом есть корове не давали и поили только один раз в день.

Лечение с ужасающей систематичностью продолжалось три дня, а на четвертый день корова сдохла.

Вот тогда-то и взялись мужики всем миром за Дюпина.

Если они не переломали ему кости, как грозились сначала, то во всяком случае избили его так, что он неделю ходил не разгибаясь и жаловался, что у него внутри завелась лягушка. Когда он ложился спать на ночь, лягушка согревается, ворочается и начинает квакать.

Однако азартный, упорный, деловитый и вовсе не глупый, он сейчас же задумал новое дело — поймать самозванца.

Когда он говорил о своем плане друзьям, то по

его складным, гладким речам все выходило замечательно.

Приехать, подговорить несколько человек, устроить ложную тревогу, потом завести самозванца в царские войска и выдать его с головой.

Энергичный, пытливый, немногословный (это-то и было всего удивительнее), он так горячо ратовал за свою мысль, такими красками разрисовывал выгоды своего предприятия, так клялся и божился, что совершенно сбил с толку даже Серебрякова. Случилось так, что пронырливый и вороватый Серебряков поверил ему, так же как месяц тому назад ему поверили хозяева болеющей скотины. Правда, он поверил ему только на минуту, вернее на то время, когда Дюпин рассказывал свой план: отойдя от него, он сейчас же махнул рукой и сказал Герасимову:

— Мужик дельный, а черт его знает, что в башке у него завелось.

Но если не самая идея, то ее общая направленность не прошла даром. Его мысль стала работать в этом направлении.

Поймать Пугачева — вот чем можно заинтересовать сейчас гражданских и воинских начальников края: они все — и глупые, и умные, энергичные и бездеятельные, — все клюнут на эту приманку.

Какая огромная армия наемных убийц, отравителей, лазутчиков направляется каждый месяц в лагерь Пугачева! Сколько денег тратится на подкупы!

Поймать Пугачева!

На этой мысли делали карьеру, и не было ни одного губернатора, военачальника или просто мелкого судейского чиновника, который так или иначе не действовал, не думал, не мечтал об этом.

Решил действовать и Серебряков.

Когда Максимов сообщил ему о пребывании Державина в Казани, он немедленно собрался и поехал. Особых надежд на успех он не возлагал, однако неожиданно ему повезло. В Казани клюнуло, теперь дело было только за Дюпиным.

VIII

Всю дорогу Дюпин молчал и думал. Только у самого скита он несколько оправился, пригладил волосы, перепоясался, одернул полушубок, привязал лошадь к дереву, пошел по знакомой тропинке, важный, молчаливый, сосредоточенный.

В лесу было тихо. Только тяжелый снег лежал ноздреватыми сугробами, и из него торчали вывернутые корни, какие-то коряги, и кое-где виднелась желтая, вязкая земля.

Около самой избушки снег лежал завалом, и к двери вела узкая, аккуратно протоптанная тропинка.

Дюпин перекрестил лоб и несколько раз осторожно стукнул в дверь.

— Аминь, — раздался из-за двери глухой, скрипучий голос.

Дюпин вошел.

Старец, стоя около печки, вынимал из нее горшок, покрытый тарелкой, густо примазанной тестом. Увидев Дюпина, он бросил на него искоса быстрый, внимательный взгляд и продолжал возиться около печки.

Дюпин молча сел на лавку. Так он мог просидеть, не шелохнувшись, целый день.

— С чем бог принес? — спросил наконец старик, не выдержав молчания.

Дюпин откашлялся.

— Чать, сами знаете, — сказал он несмело.

Старик ничего не ответил. Нахмурив белые лохматые брови, он поставил горшок на загнеток и, взяв нож, стал аккуратно скалывать растрескавшееся тесто.

— Все по тому делу? — спросил он через несколько минут.

— По тому.

— Так, — старик несколько минут безмолвно работал ножом. — А что ж, начальство приехало? —

спросил он, отрывая тарелку. Из горшка пошел густой, пахучий пар.

— Приехало, — ответил Дюпин.

— А Серебряков тоже?

— И Серебряков, отец.

Старец, держа в одной руке тарелку, посмотрел в дымящееся нутро горшка.

— А как начальника зовут? — спросил он, осторожно отставляя горшок.

— Господин подпоручик Державин.

— Так, так, — сказал старец, его маленькие хитрые глаза быстро обшарили фигуру Дюпина.

— О чем же он говорит?

— Разное, отец, говорит. Говорит — Пугачева убить надо.

— Убить-то убить, это они все говорят. А как убить надо — не говорит?

— Говорит, отец.

Старец подошел к лавке и сел рядом с гостем.

— Так, значит, надо ехать? — спросил он.

— Надо, отец.

Старец подумал с минуту.

— Ну, что ж, поедем, — сказал он. — Вот я лошадь свою покормлю, избу закроем и поедем.

Несколько минут они сидели молча.

— А как же твой начальник предлагает Пугачева убить?

Дюпин рассказал.

Старец Иов слушал, не перебивая.

— Хорош жук, — сказал он, когда дошел Дюпин до того, как Державин предлагает извести Пугачева. — Этот толк понимает, хотя, — перебил он сам себя, — они только этим делом и знают заниматься.

Несколько минут опять молчали.

— Деньги сулит? — спросил наконец старец Иов.

— Сулит, отец, — сказал Дюпин.

— Много сулит?

— Много, отец.

— Так, так. Молодой, да ранний. Ну что ж, пое-

дем, посмотрим, что за Пугачев и как его брать нужно.

Весь следующий день провели в сборах. Старец съездил в ближайшую деревню и привез оттуда какого-то внука, румяного парня, подстриженного в скобку, с такими же быстрыми, как у старца, глазами. Он целый день водил его по горнице, сенцам, чуланам. Поднимал крышки каких-то горшков, разрывал какое-то тряпье, объяснял, где что лежит и что нужно сделать, чтоб хозяйство шло прежним порядком.

У Дюпина разгорелись глаза, когда старик раскрывал кладовые, полные снеди, вынимал сундуки из-под нар, поставцы с полок.

Видимо, старец Иов думал ехать надолго.

С Дюпиным он не говорил вовсе. Только к концу второго дня, когда уже улеглись спать, он вдруг спросил Дюпина:

— А скажи — ты дюже жадный?

Дюпин смолчал.

Старик покачал головой.

— Вижу, жаден, глаз у тебя нехороший, озорной. Ах, как нехорошо. Погубит тебя жадность. Уж гладили тебя раз ребята, чуть живого оставили, и опять берешься не за свое дело. Из тебя такой же воин, как и коровий лекарь. Сидел бы лучше дома да богу молился. А то, чать, кроме "отче наш" и никаких молитв не знаешь.

Утром третьего дня они выехали из скита.

До тридцатой версты старца провожал тот самый молодой парень, которому он оставил свое хозяйство.

— Ты понимаешь, Павел, — говорил старец, — как будут какие известия, так сразу и твори, как я тебе наказывал. Никого не бойся, сие дело из всех дел важнейшее. Понял?

Парень качал головой.

Потом опять ехали молча.

Старец сидел в телеге, правил лошадьми, вздыхал и крестился. Уже около самого села он посмотрел на Дюпина и еще раз покачал головой.

— Зря ты не в свое дело суешься, — сказал он. — Ах, как зря. Ну, пусть бы Серебряков с Герасимовым ехали, да головы позакладывали, они молодые, воины. А тебе что — жизнь надоела?

— Ничего, отец.

— Ничего! — прикрикнул старик. — То-то ничего! Я не тебя, дурака, жалею, а твою семью. У тебя изба полна ребят, а ты вон за какие судные дела берешься.

В этот день старец переночевал у Серебрякова и к Державину не пошел.

О деле они не говорили.

IX

На другой день и произошел первый разговор Державина со старцем Иовом. Когда Дюпин обещал привезти ему раскольничьего пустосвята, он представлял себе кряжистого широкоплечего старика, с длинной зеленоватой бородой, косматыми ноздрями и быстрыми юркими глазами. Таких старцев он встречал среди раскольников без счета, с таким он и готовился к разговору.

Но Дюпин неожиданно вернулся с худеньким старичком, очень аккуратно одетым, живым и голосистым. Войдя в горницу, он моментально обшарил глазами ее стены, задержался на висящем оружии, украдкой заглянул даже за ширмы и только потом, как будто только что заметив Державина, почтительно и вместе с тем развязно, кивнул ему головой.

— Желаю здравствовать, ваше благородие, многие лета, — сказал старец и даже голову склонил набок.

— Здравствуй, — сказал Державин, не сводя глаз со старика. — Ты, значит, и есть старец Иов?

— Раб божий Иов, так зовут меня добрые люди.

Державин взглянул на Дюпина.

— Ну что ж, разговаривать будем? — спросил он.

И Дюпин кивнул ему головой, и опять все трое замолчали, разглядывая друг друга.

Державин заметил про себя ту необыкновенную легкость, с которой старик вставал, ходил, садился на табуретку. Казалось, он ни одну минуту не мог пробыть неподвижно. Так и сейчас, только он сел на лавку, как его пальцы быстро забегали по краю стола, приподнимая и ощупывая какие-то обрывки бумаги, мелкий сор, сломанные и погнутые гусиные перья.

— Так вот какое дело, отец, — сказал Державин. — Надо пробраться в пугачевское становище и все там по порядку узнать.

— Это дело мне понятное, — сказал старец.

— Будут вам на дорогу деньги даны...

— Без денег там ничего не сделаешь, — сказал старец. — Такое дело деньги требует, чтобы у людей совесть, страх и разум откупить.

— Приехать вам надлежит в станицу Берды и там распустить о себе такие слухи... — он мельком, но значительно поглядел на старца, — такие слухи, что вы приехали от старца Филарета, коий его, вора Емельку, однажды на царство благословил. Понятно?

Старик мотнул головой.

— Ну, а мне непонятно, как вы там управитесь, что скажете, каким путем пойдете.

— Да ай мы, батюшка, ваше благородие, сказать не сумеем? — сказал старец и усмехнулся. — Не таких орлов, как твой Емелька, вокруг пальца обводили, когда нужно было.

Державину очень не понравилось чрезмерное оживление старика.

Он снова нахмурился.

— Ну, а например, — сказал он, глядя на старца, — вот я — Пугачев, а ты — посланный ко мне. Вот я сижу на троне и на тебя смотрю, а ну ж, что ты мне, старец Иов, сказать можешь?

Прошла только одна секунда, но наружность старца вдруг совершенно изменилась. Он стал ниже ростом, наклонил к земле маленькую, злую голову и, искоса глядя на Державина, запел:

— Батюшка Петр Федорович, а приехали мы к твоему царскому величеству, дабы кланяться тебе нашими рабьими головами и привезли от твоего духовного отца Филарета весть и благословение. Кланяется он тебе, батюшка, от бела лица до сырой земли и передает тебе весточку.

— Какую весточку? — грозно спросил Державин, поддаваясь очарованию этой странной игры.

Лицо старца было настолько сладко и умилительно, так сияли глядящие на Державина голубые глаза, что Державину на минуту показалось, что и он, и старик, и Дюпин действительно присутствуют при дворе Пугачева.

— А такую весточку велел передать старец Филарет, что сидит он в узилище, за железными замками и затворами, и пытают его твои лиходеи о том, кто еще к твоему царскому величеству мыслит и что ты дальше делать намерен.

— Так, так, — сказал Державин. — А что же он на происки оных лиходеев отвечает?

— А тем, государь, — ответил старец, и даже руки сложил на груди, — что молчит и, несмотря на все мучения, готов раньше умереть, чем предать твое царское величество в руки злодеев. Мы же, рабы твои, и подавно головы свои к подножью твоему сложить готовы.

И, закрывая лицо руками, старец упал на землю, и его голова несколько раз стукнулась о доски пола.

Державин рывком вскочил с места.

Голова у него слегка кружилась.

Бледный и перепуганный стоял около стены Дюпин.

Державин поднес руку к лицу.

— Неплохо, — сказал он с усилием, — очень неплохо, только кудревато здорово. Надо проще. — Он вплотную подошел к старцу. — Смотри там, как нужно будет. Буде выйдет иначе — говори, что ты просто перебежчик. Убежал-де от преследования, не хочу, мол, старую веру бросать. Через край не перехватывай, много не болтай! Чем меньше тобой интересоваться будут — тем для дела лучше! Что раз сказал, того и держись!

Старец кивнул головой.

— Как ты пристанешь к толпе самозванца, так ты уж из нее и не выходи. Проникни к нему в доверие, сделайся своим человеком — тебе это легко. Он сам вашей веры. А ты грамотный, пиши ему письма, указы, реляции, пиши и запоминай. Однако делай так, чтобы никакого подозрения на тебя не было. Ты должен быть в глазах самозванца паче снега белого. Понял?

Старец кивнул головой.

— А выдашь себя — на нас не пеняй. Мы тебе в сем деле не помощники. Выручать тебя не будем, и своя голова не дюже крепка. Так что держись настороже. Понимаешь?

— Понимаю, ваше благородие, — сказал старец Иов. — Все понимаю.

— Для связи со мной и для всех прочих дел у тебя есть Дюпин, который для сего нарочно мною выделяется. Ему все передавай. Он все обязан принять и доставить. Теперь второе дело.

Он подошел к столу и, выдвинув ящик, вытащил запечатанный сургучом конверт.

— Вот, — сказал он, подбрасывая его на ладони. — Сие письмо по дороге передашь из рук в руки коменданту Симонову. Если что нужно будет — он тебе по-

может. От моего имени скажи, чтобы держались они до последнего, ибо я тоже недаром здесь все время провожу. — Он посмотрел на старца, на Дюпина. — Скажу вам, как людям острым и верным, — сюда идут войска из Астрахани. Четыре гусарских полка. Все на лошадях. С ними сорок пушек. Я же остался тут для закупки провианта, как войска придут, мы ударим на самозванца.

Дюпин молча кивнул головой. Старец посмотрел на Державина, и какая-то быстрая, почти неуловимая глазу гримаса прошла по его лицу.

— Сие тоже ваше высокоблагородие всем передать приказать изволит? — спросил после небольшой паузы.

Державин пытливо посмотрел ему в лицо и на минуту замедлил с ответом.

— Да, сие тоже надлежит распространять, — сказал он после минутного молчания.

— Четыре гусарских полка идут из Астрахани. А ваше высокоблагородие оставлены в Малыковке для того только, чтоб заготовлять фураж. Так?

Державин подошел к столу и спрятал письмо.

— Когда думаете ехать? — спросил он отрывисто. — Вам еще собраться нужно.

— Какие у нас сборы, ваше высокоблагородие. Завтра солнышко встанет, мы и тронемся.

— Так, ну идите отдыхайте, — сказал Державин. — Завтра получите письмо и деньги.

Он проводил их глазами и сел писать донесение Бибикову.

> ”Приехав десятого числа в Малыковку, — писал он, — где того ж числа приискан старанием 22, 11, 21, 11, 7, 21, 35, 15, 19, 8, 6, — и 9, 6, 21, 1, 22, 14, 17, 19, 8, 6[1] и послан был сюда дворцовый красноярский крестьянин Василий Григорьев сын Дюпин для при-

---

1 Серебрякова и Герасимова.

возу ко мне с Иргизу старца раскольничьего Иова, на которого они надежду полагали, что он может исполнить положенное на него дело, почему тот старец ко мне сегодня и привезен. Я, изведав из слов его усердие к службе ея величества и испытав способность, а паче положась на тех, которые его представили, наложил на него дело, для которого я послан. Он, взяв с собой в товарищи вышеописанного Дюпина и еще одного ему надежнейшего, хотел исполнить следующее: 1) Разведать, в каком состоянии подлинно Яик, отдать от меня письмо к Симонову и от него прислать с одним из своих товарищей ко мне. 2) С другим своим товарищем идти в толпу Пугачева под Оренбург, там стараться разведать, сколько у него в толпе людей, сколько пушек, пороху, ядер, провианту и откуда он все сие получает. 3) Ежели его разобьют, куда он намерен бежать. 4) Какое у него согласие с башкирцами и с калмыками, и нет ли у него переписок с киргизàми или с какими другими отечеству нашему неприятелями. 5) Стараться разведать все его нам злодейские мысли и о том, ежели что ко вреду нашему служить будет, давать знать нашим командам. 6) Не можно ли как его заманить куда с малым числом людей, дав знать наперед нашим, чтоб его живого поймать можно было".

Державин дошел до седьмого пункта и остановился. То, о чем он должен был писать дальше, казалось ему таким естественным, когда думал об этом наедине с собой, сейчас, глубокой ночью, при свете свечей, было так страшно, что он несколько минут колебался, прежде чем переложить мысли на бумагу. Но эта мысль, случайно зародившаяся в его голове, все-таки должна была лечь на бумагу.

Кажется, он даже был рад этому. Пусть главнокомандующий знает, что он пойдет на все. Пусть ему будет даже стыдно и больно, как стыдно ему, Державину сейчас.

Итак, пункт седьмой.

> "7) Ежели живого не можно достать, то чтобы его стараться убить, а меж тем в главнейших его посеять несогласие и раздор, дабы тем можно было разделить толпу его и рассеять в разные части".

Вот и все. Как просто и как мало. А сколько яду таится в этих простых словах. Он, Державин, не только следователь, не только шпион, но и тайный убийца. В стан врага он посылает наймитов с ядом, железом и ножом. Сильное средство, что и говорить. Однако исход ли это?

Пусть будет убит Пугачев. Но Пугачевым ли двигается сие восстание народное? Сколько убийц придется послать и сколько голов придется снести, прежде чем будет потушено восстание?

Дальше!

Пункт восьмой.

> "8) Стараться изведать и дать знать, что ежели он убит будет, не будет ли у сволочи нового еще злодея, называющегося царем".

Пункт девятый.

> "9) Один ли он называется сим именем или многие принимают на себя сие звание".

И, наконец, самый страшный по своей многозначительности.

Пункт десятый.

> "10) Как его народ почитает — действительно покойным государем или знают, что он подлинный Пугачев, но только из злого умысла к бунту не хотят от него отставать".

А если они не считают за царя этого страшного обманщика, если они отлично знают, что он играет именем давно умершего человека, есть ли еще какая-нибудь надежда остановить эту лавину, этот губительный, всеуничтожающий поток. Самозванца можно разоблачить, разбойников можно переловить, можно даже раскрыть могилу и вынуть из нее пожелтевшие кости мертвого императора. Но что сделать с людьми, которые отлично знают, за что они сражаются и кто их ведет на бой? Для которых важно не имя, но дело. Что делать с такими?

Нет, ваше превосходительство, об этом лучше не думать и для вас и для меня, вашего подчиненного подпоручика Державина.

Дальше!

> "Таким образом все сие исполнить обезался старец и что он человек надеждый, ручаются за него Серебряков и Герасимов, а паче за Дюпина, который имеет у себя на Иргизе семью и целую избу детей, а паче то его польстило, что я ему обещал избавить сына его от рекрутства, которому была очередь; о чем я к г. воеводе Симбирскому и писал, чтоб для некоторого до него надлежащего секретного дела его брать... погодил. При отправлении старца с его двумя товарищами сделал я им обещание, за их услуги, милости вашей и милосердной нашей государыни; а по требованию их, для всяких случаев и для самих, дал денег 100 рублев. Старец обещался, ежели можно будет и сыщет он надежных людей, то чтобы уведомлять друг друга и г. г. наших генералов, а самому, чтобы всегда оставаться в толпе у Пугачева. На первый случай хотел он послать от себя Дюпина..."

Писал до двух часов ночи. Тут его прервали пришедшие к нему Серебряков и Герасимов.

X

С первыми утренними лучами Дюпин и старец выехали из дому. Перед отъездом деньги поделили надвое. 50 рублей должно было быть зашито у Дюпина за пазухой, другие 50 рублей и письма к Симонову вез с собой старец Иов.

Он был сосредоточен, молчалив и строг.

Плача и бияcь о землю, упала при выезде путников молодая жена Дюпина.

Ее сердце давно чувствовало неладное. По всему: по разговору, прерванному, как она взошла в избу, по неясным, но значительным словам мужа, по молчаливости старца, по неожиданному ночному вызову их обоих к подпоручику Державину, по целому ряду других признаков, еще более мелких и незаметных, но ясных для ее зоркого бабьего глаза, она, почти в точности, уяснила себе смысл поездки мужа.

Она бы поговорила с ним раньше, поговорила так, как говорила всегда, с криком, руганью, плачем, битьем горшков, но боялась старца.

Худенький, юркий, молчаливый, но быстрый и подвижный, как мышь, он с первого же раза вселял в нее чувство, похожее и на ужас и на отвращение. При нем она молчала, испуганно пряталась за печь и усиленно громко начинала греметь горшками и ухватами.

Только в ночь перед отъездом, каким-то верхним женским чутьем поняв, что эта ночь последняя, она прокралась к постели мужа и положила ему руку на лицо. Тот проснулся сейчас же и, увидев жену в рубахе, простоволосую и растрепанную, понял все. Посмотрел на старца, посмотрел на полати, где спали ребята, быстро поднялся и вышел в сени.

Она схватила его за шею, неуклюже, но крепко прижала к себе его голову, и он вздрогнул, почувствовав на щеке горячие и обильные слезы.

— Куда ты едешь? — шептала она, прижимая его лицо к своему плечу. — Пошто едешь? Пропадешь

ведь там, за грош медный пропадешь. Ну, куда ты свою голову под обух понес? Плетью обуха все равно не перешибешь. — Она плакала тихо и отчаянно, и все ее тело ходило под его руками.

Он подумал, прислушался, — из избы раздавался осторожный, но явственный кашель — им старик давал знать о себе, — и оттолкнул ее от себя.

— Баба, — сказал он, стараясь говорить презрительно и уверенно, как подобает порядочному мужу говорить с женой, — что ты не в свое дело свой бабий нос суешь? Ум короток, да волос длинен. Лучше вожй с горшками да ухватом — дело получится, — и он повернулся, чтобы уйти.

Но она не отпускала его. Неожиданно гибкая и проворная, как девушка, она соскользнула с его плеч и крепко кольцом обхватила его босые ноги.

— Не пущу, — сказала она хрипло, — всю ночь так пробуду, а не пущу. Куда ты идешь? На смерть идешь, о детях подумал бы, бессовестный.

Тогда он сразу обмяк и сделался рыхлым и сговорчивым.

Уже не прислушиваясь к кашлю, методически раздающемуся из избы, он рассказал ей все.

Она слушала внимательно, не перебивая, и, когда он окончил рассказ, заплакала снова.

Ну куда он идет против мира, ведь мир за Пугачева. Пусть он посмотрит на монастырских и экономических мужиков. Все они бегут к Пугачу. Он обещал землю, волю, покосы, зачем же он один, Василий Дюпин, пойдет против всех? Его поймают и повесят на воротах, вот как о прошлое лето повесили конокрада.

Она плакала, говорила быстрым громким шепотом, а он стоял перед ней молчаливый и подавленный и, тем не менее, твердый, решительный и смелый, как всегда.

— Там будет видно, — сказал он и сунул ей в руку мешочек с деньгами. — Там будет видно, — повторил

он. Может быть, все пойдет иначе, но сейчас он поедет. Иного выхода у него нет. И пусть она не плачет, пусть не будет дурой. Что ему, жизнь надоела, что ли? Он вовсе не намерен подставлять шею под топор.

И вот рано утром они выехали из села.

На улице было тихо. Был тот утренний час тишины и прохлады, когда все звуки приглушены, краски затуманены легкой облачной дымкой и даже птицы не поют еще на ветвях.

Час утренних туманов, выпадения рос и утренников.

— Ты с бабой зря трепался. Нечего с ней на бобах разводить, — сказал старец после долгого молчания. — С бабой нужно быть как со стеной, чтобы ни ты ей, ни она тебе. Пойдет теперь по селу трепать, так сразу голова с плеч слетит.

Дюпин молчал.

Еще проехали несколько шагов.

— Деньги-то у тебя целы? — спросил старец.

— Целы, — ответил Дюпин, не поднимая глаз.

— Ой ли? — посомневался старик. — Смотри, потом своей шкурой придется отчитываться. Легко ль сказать — 50 рублей. Ты сам вместе с избой и с животами того не стоишь.

— Целы деньги, — хмуро ответил Дюпин.

Дальше до ночлега они ехали молча.

На ночлег они останавливались в деревнях.

Старец Иов снимал со спины мешок, крестил его и не торопясь вынимал образочки, кипарисовые крестики, какие-то камушки в пузыречке, ладанки.

Его обступали со всех сторон. Поднимая ладанку, старец смотрел на нее умильными глазами, и его лицо внезапно озарялось доброй, слегка застенчивой улыбкой.

Вертя во все стороны предмет, он рассказывал, то понижая голос до тончайшего шепота, то поднимая его почти до крика, то ласково и елейно складывая десницу крестом, то протягивал ее вперед, обличая и громя грешников.

Он рассказывал о своих путешествиях по святым местам и о чудесах, творящихся в этих местах.

Тут он уже не забывал ничего. И как ни удивительны были его рассказы, в его устах они неожиданно приобретали такой обыденный и реальный характер (ведь он сам был свидетелем многих чудес и явлений), что никому и в голову не приходило заподозрить его во лжи.

Ночевал старец на полатях и, уходя, наклонял голову и говорил нараспев:

— Мир дому сему и хозяину его и домочадцам его.

Но когда однажды Дюпин вынул из корзины семишник и хотел уплатить за ночлег, старец вырвал деньги из его рук и сказал, что делать так — это значит проваливать дело. Роли Дюпина на ночлегах были неопределенны и сложны. И так как постоянно они менялись, он не мог привыкнуть ни к одной из них.

Чаще всего он изображал зажиточного хозяина из казаков, путешествующего к святым местам.

— Совершил грех, — говорил он коротко в таких случаях. — И вот хожу отмаливаю. Был и в Иерусалиме городе, был и в Вифлееме городе, и по морю Мертвому плавал, и на гору Елеонскую взбирался. Теперь иду в Соловецкую обитель.

Крестьяне смотрели на него, качали головой и вздыхая думали о преступлении, какое мог совершить этот ладный и хозяйственный мужичок.

Путешествуя, они старались узнать о Пугачеве.

Неожиданно путь их переменился.

Дело в том, что за последнее время прошли слухи, что Пугачев повернул к Яику.

Они переменили свой путь и к концу восьмого дня увидели огни крепости.

Глава восьмая

СЛАВА

I

На этой главе кончается первая книга рассказов о поэте, следователе и подпоручике Гаврииле Романовиче Державине.

Весь март Державин ждал известий от Дюпина и старца Иова. Известия не приходили. Ломая голову, Державин думал о их судьбе. И вот в самом начале апреля возвратились посланный в Иргиз Герасимов и Серебряков. И хотя и они были нужны ему, Державин встретил их все-таки хмуро — это было не то, что он ожидал.

А лазутчики, запыленные и усталые, еле держались на ногах, рассказывали ему страшную новость.

— Вся степь, — сказали они, — занята злодейскими шайками, пугачевские наезды держат в руках все Поволжье. Может быть, даже Самара зажата в кольцо осады. Хуже всего, однако, дело обстоит с городом Яиком.

Отрезанный от мира, он несомненно доживает свои последние дни и не сегодня, так завтра, если не придет подмога, должен сдаться. Он должен сдаться, потому что в крепости нет снарядов, в городе голод и жители едят мертвечину. Он должен сдаться потому, что у него нет крепкого боеспособного гарнизона и не сегодня, так завтра кончатся снаряды. Он должен сдаться, если не придет подмога. А подмога не придет — неоткуда ей прийти в город Яик.

Это была поистине удивительная новость.

Не смея верить, Державин смотрел на лазутчиков. По его расчетам отнюдь не выходило так, что Яик доживает свои последние дни. Конечно, кто говорит, положение города, расположенного вдалеке от воинских баз, в местности, занятой врагом, не может считаться особенно блестящим. Нужен крепкий гарнизон, а от-

нюдь не те бледные, шатающиеся от усталости люди, который второй месяц сидят в его стенах. Нужно большое количество снарядов, склады, полные провианта, правильное сообщение с Казанью, регулярные подвозы, чтобы можно было начать репрессалий против бунтовщиков. Всего этого не было в Яике.

Но кто же говорит о репрессалиях? Разве он сам, подпоручик Державин, нападает? Разве ведет наступательную тактику его начальник генерал Бибиков? Нет, они сидят и ждут. Один — войск, секретных писаний и боевых припасов из Москвы, другой — вестей от лазутчиков и денег для их подкупа. Все это так.

Но именно и нет оснований опасаться за Яик.

Силы, жалкие на поле битвы, производят совершенно другое впечатление за стенами крепости. Осада — не нападение. Кроме того, генерал Мансуров, обладающий крепкой военной командой и орудиями...

Услышав о Мансурове, Серебряков махнул рукой.

— Команда Мансурова, — сказал Серебряков, — до сих пор не добралась до Яика и не скоро доберется.

Державин встал с места.

— Как не добралась? — спросил с глубоким удивлением. (Он все время внимательно следил за передвижением войск и отлично разбирался в расстоянии.) — Ведь от последней стоянки его до Яика совсем недалеко.

— Сколько бы там ни было, — бойко ответил Серебряков, — они, ваше благородие, еще простоят с недельку: посмотрите, что на дворе-то творится! — и он махнул рукой по направлению к окну. — Весна сегодня поздняя, реки только что разлились, сиди на том берегу и жди.

Действительно, Волга вскрылась недавно. Весна запаздывала, и желтый весенний снег все еще покрывал землю.

— А плоты? — спросил Державин и сейчас же понял ненужность своего вопроса. Никакие плоты не могли выдержать свирепую силу разлива.

Серебряков усмехнулся.

— У нас, ваше благородие, когда лед тронется, река как медведь — ревмя ревет, она, если дом попадет на дороге, и дом в щепы разнесет, не то что плоты.

Ночью Державин не спал. Мысль, зародившаяся в его голове при первом упоминании о ледоходе, приобрела теперь определенную направленность. Конечно, то, о чем, не переставая, думал он целую ночь, было очень похоже на безумие, даже храбростью нельзя было назвать этот план, имеющий очень мало шансов на успех, но обязательно связанный с нарушением воинской дисциплины. И однако, и все-таки...

Он вставал с кровати и крупными, тяжелыми шагами ходил по комнате.

На другой день Державин написал письмо губернатору, прося предоставить в его полное распоряжение тридцать казаков.

Писем было два: официальное и, как приложение к нему, небольшая частная записка. Казаков он просил в бумаге официальной, в частной же объяснял истинные мотивы своей просьбы. Дело в том, что он, подпоручик Державин, намерен идти к городу Яику и снять с него осаду. Именно для этого ему и нужны казаки. Пусть он, губернатор Кречетников, даст ему эту горстку. Ведь, кроме всего прочего, этим он выполняет волю и распоряжение Бибикова, который предоставил ему полное право требовать всяческого содействия от властей. Кречетников может быть уверен — город действительно будет спасен. Он сам пойдет во главе войск и возьмет его с первым же приступом. Разумеется, отвечает за все он сам. Кстати, ни пушки, ни орудия ему не нужны, всего только тридцать человек команды.

Конечно, это должны быть хорошо вооруженные, крепкие ребята, привычные к военной службе, не трусы и не плаксы. В этом он верит Кречетникову. На этом кончаются его просьбы. Стоит ли говорить, что он ни минуты не ожидает отказа. Готовый к услугам подпоручик Державин.

К письмам — и частному, и официальному был приложен ордер, данный Бибиковым.

Ясно, точно, определенно требовал главнокомандующий оказывать всем властям и военным, и гражданским подпоручику Державину содействие. Снабжать его, буде это нужно, войсками, деньгами, провиантом.

Письмо было запечатано гербовой печатью Державина, и к вечеру этого же дня экономический крестьянин Серебряков поскакал в Казань к губернатору Кречетникову.

II

Получив от подпоручика Державина такое письмо, Кречетников даже побледнел от ярости.

Его первым порывом было скомкать конверт, письмо, ордер и бросить в камин. Он даже сжал в кулаке пакет, но это было именно первым порывом. Потом разгладил его, дважды, вдумываясь в каждое слово, внимательно прочитал и письмо и записку, посмотрел на печать ордера — печать была в порядке, но подпись — подпись точно принадлежала Бибикову, и только тогда отбросил и пакет, и ордер, и письмо на край стола.

Гневно пожимая плечами, он подошел к столу и сел за него, строгий и решительный.

Мальчишка! Сопляк! Вчерашний сержант! Секре-та-ришка!! Он осмеливается писать ему такие послания, он, видите ли, требует, а не просит. Требует, потому что иначе зачем бы он стал прилагать к письму глупый и бестактный — чего уж тут скрывать — ордер главнокомандующего.

Пишет об одолжении, а прилагает эту дурацкую бумажонку, которая делает его, Кречетникова, приказчиком этого подпоручика.

Губернатор даже вскочил из-за стола. Дай ему тридцать человек команды. Он скомкал бумагу. И Яик будет освобожден. Герой! Знаем мы таких ге-

роев. Захотел отличиться, получить орден на шею и тысячу червонцев в карман и поэтому что-то бормочет о долге истинного россиянина и присяге. Поэтому он, Кречетников, старый, пожилой, заслуженный генерал, обязан выполнять бредовые требования мальчишки. Он горько усмехнулся. И ничего не поделаешь — ордер. Дрянь мальчишка, покровитель судных дел и укрыватель беглых каторжников. Он, Кречетников, отлично знает, что это за птица — Серебряков, а все-таки придется дать ему тридцать солдат.

Он поднял голову и увидел стоящего у порога Серебрякова. Серебряков видел все: и гнев генерала, и скомканный пакет, однако лицо его было неподвижно и строго. Губернатор поднялся с места.

— А ну, подойди-ка сюда, сударка, — сказал он с ядовитой ласковостью. — Иди, иди, что ты там у порога вытянулся, мы с тобой старые друзья. Я тебя с лета шестьдесят второго года помню, прожектерщик.

Серебряков поднял голову и взглянул на губернатора.

— Так точно, ваше благородие, — ответил он тихо и почтительно. — Мы давно знакомы.

— Знакомы?! С тобой??!! — генерал вынул из стола дрожащей рукой трубку и стал набивать ее. — Подлинно, что знакомы. Известны мне твои воровские проделки, как ты на место перебежчиков польских, кои, по твоему же воровскому прожекту, должны быть на Иргизе поселены, зазывал и прятал беглых холопов. Знаю, знаю, сударь, все знаю и все помню. Удивления достойно, однако, что ты до сих пор еще не в Сибири находишься, а здесь воруешь, — голос его пересекся от негодования. Он бросил трубку на стол, дрожащими руками оправил крестик на шее и подошел к Серебрякову вплотную. Его белые и круглые, как у луны, глаза были неподвижны и страшны. Генерал казался самому себе таким грозным и величавым, что не сомневался в успехе. Вот сейчас Серебряков упадет на колени и расскажет ему

все: кто его выпустил, кто взял на поруки, кто свел его с Бибиковым.

— Что же ты тут делаешь? — спросил он, чувствуя даже легкое головокружение от необузданного приступа ярости. — Каким делом занимаешься?

Серебряков смотрел на него с ясной улыбкой.

— Служу его благородию подпоручику Державину по государственным делам, секретным и наистрожайшим. Оный же подпоручик имеет ордер от самого главнокомандующего.

— Так, — сказал губернатор, задыхаясь. — Так. Хорошую же себе свиту нашел подпоручик, недаром же и возомнил о себе, как о главнокомандующем. Похвально, очень похвально.

Он, прищурившись, задумчиво смотрел на Серебрякова. Серебряков стоял перед ним прямой, стройный, улыбающийся.

— А что, сударка, — сказал вдруг весело губернатор, — ежели и мне такой прожект подать, что взять тебя, как человека, из острога бежавшего и во многих воровствах уже изобличенного, и посадить под караул. А там собрать подводу, дать двух солдат в провожатые, как есть человек казенный, и даже с подпоручиками знаешься, и в Петербург, а там разберутся, какое ты дело выполняешь — государственное или воровское. Как ты насчет сего прожекта думаешь? Не плохой прожектец, ась?

Теперь генерал улыбался тоже. Ему казалось, что сейчас-то Серебряков струсит наверняка. Но тот только плечами пожал.

— Как вашему превосходительству угодно, — сказал он просто и наклонил голову. — Как вы есть главный начальник, то мне ли вам советовать? Однако я, как лицо государственное, от его превосходительства действую. Его превосходительство послал меня в толпу Пугачева шпионом — вот я и работаю.

Губернатор отошел от Серебрякова. Ничего, решительно ничего не мог он сделать ни подпоручику,

ни его послам. Все было оговорено указами, ордерами, грамотами и статьями.

Грубый, прямой, властный, нерасчетливый, он буквально пасовал перед этим мальчишкой. Никакими издевками, отписками, проволочкой не удастся сбить его с толку, поставить на место. Он молод, силен, дерзок и с таким умением и расчетливым искусством лезет вверх по чиновной лестнице, что, конечно, не ему, Кречетникову, старому, грубому, честному служаке, начинать борьбу. Его карты все равно будут биты. Кто он такой? Только губернатор, который пасует и перед Пугачевым, и перед Бибиковым, и перед грозными указами петербургского правительства. Он никогда не хочет рисковать, он ничего не берет на свою ответственность, а этот мальчишка шутя играет собственной головой, и нет такой опасности, перед которой он опустил бы глаза.

Он поглядел на Серебрякова пустым, остановившимся взглядом и, ковыляя, подошел к столу.

— Приди вечером за ответом, — сказал он. — Выедешь сегодня в ночь, а теперь пошел вон, — добавил он ровным голосом.

Он проводил его и тщательно закрыл за ним дверь.

Надо было отвечать. Он взял перо и, не думая, не отрываясь, стал писать ответ.

"Милостивый государь мой, Гаврила Романович! — выводил он крупным стариковским почерком. — Письмо ваше от 30 числа, по порученной вам комиссии казаков тридцать человек, я сего числа имел получить".

Он писал собственноручно набело, вздрагивая от глубочайшего негодования, однако иного писать он не осмелился. Кроме того, он хорошо знал, что это и бесполезно. Не даст он казаков добровольно сейчас — так через пять дней получит ответ из Казани с чрезвычайнейшей инструкцией, выговором и наказом о немедленном выделении помянутых казаков. И как тогда будет смеяться этот ненавистный ему подпоручик! Он сейчас же поделится письмом Биби-

кова со всеми подручными ему шпионами. Как они будут хохотать, как они будут издеваться, как они будут ругать его, губернатора Кречетникова.

"И приняв в рассуждение требование его превосходительства и орденов кавалера об учинении вам всевозможной помощи, и об отправке вам..." — он остановился и отер пот с лица.

Боже мой, как, однако, трудно переносить унижения в его лета!

"И отправке вам потребного количества команд... — Он задумчиво держал перо над бумагой. — ...при сем посылаю согласно требованию Вашему 30 человек". Но тогда нужно будет отослать своих солдат с Серебряковым и вроде как под его началом. Опять эта улыбающаяся морда, наглые ухватки, разговор слишком почтительный и быстрый, взгляд в сторону, наклон головы, нет, нет, этого он не сделает... "Кои следуют к Вам особо под командой сержанта"... На, бери да подавись! Разве дописать еще — "Премного благодарен вашему благородию за то, что вы в неусыпных трудах о благе государства и всемилостивейшей государыни нашей, поручаете меня под команду подлецу, коий под следствием". Нет, только рассмеется подпоручик Державин и будет потом показывать своим друзьям письмо. Вот как раскипятился старик, довел я его до белого каления. Надо кончать... "Итак, остаюсь вашего благородия покорный слуга — Петр Кречетников". Протянул руку, чтобы позвонить, но, опережая его движения, в комнату влетел секретарь. Он был красен и возбужден.

— Ваше превосходительство, — сказал он быстро. — Известие от его превосходительства.

Кречетников поднялся с места и стоя надорвал конверт. Секретарь, понявший по возбужденному лицу губернатора и по той торопливости, с которой он схватил конверт, что дело идет о событии давно ожидаемом и желанном, стоял, прислушиваясь к невнятному бормоту губернатора. Тот прочел письмо до конца, провел рукой по волосам и, не отрываясь

от листа бумаги, протянул руку, нащупал стакан и стал пить быстрыми звонкими глотками.

— Так, так, — сказал он загадочно, — так, очень хорошо. — Он вдруг с быстротой необыкновенной схватил со стола только что написанную бумагу и яростно разорвал ее в мелкие клочья. Потом посмотрел на секретаря и сунул ему конверт главнокомандующего под нос.

Пропуская начало, секретарь читал:

"...злодей с лучшей своей толпою, в 9000-х состоящею, осмелился встретить ген.-майора кн. Голицына в Татищевой крепости, но тут же и разбит, потеряв с лишком 3000 захваченных в плен, да убитыми до 300 злодеев и 36 больших пушек; прочие все разбежались, куда только страх и отчаяние завести их могли; сам же злодей, спасшись с 5—ю только человеками, пришел в Берду и, забрав до 1000 человек и 10 малых пушек, побежал степью на Переволоцкую крепость, где стоит уже подполковник Бедряга для пресечения его пути. Но какой успех он имеет, не получил я еще известия.

Посему предписывается вам, — писал генерал далее, — учинить над ними поиски и для того всех оставшихся у вас казаков и пехотинцев командировать к городу Яику в узени для присмотра и поимки преступников, со всей ихней командой. Кроме того, надлежит вам произвести поиски во всех остальных местах, кои вам лучше моего ведомы".

Секретарь прочел бумагу до конца и посмотрел на губернатора.

— Значит, всей воровской шайке конец, — сказал он радостно, — теперь мы их как мышей передавим.

Кречетников, усталый, опустившийся, дряхлый, смотрел на него без улыбки.

— Пугачеву-то не конец, — сказал он, — у него в Бердах целые эскадроны стоят, а то скроется он на несколько недель в мурыгах, наберет там шайку и снова грянет. Сему пожару еще долго пылать. Скоро ты его не затушишь. Ну, однако, кое-кому сие уж

наверное конец предсказывает. Не Пугачеву, а другому.

— Кому, ваше превосходительство? — спросил секретарь, смотря на начальника.

— Ну, господину Державину, например. Ему скоро здесь нечего делать будет. Он чувствует это, собака, и пыжится. Захотел отличиться, собрал всяких висельников и требует подмоги от меня. Я, мол-де, к Яику хочу пойти. Я-де его от злодеев освобожу. Нет, голубчик, не пойдешь, не освободишь! Разговор с тобой простой — нет людей и все. Мне его высокопревосходительство особый указ послал — вот, пожалуйста, — он ткнул пальцем в валяющийся листок отношения. — Посмотрим, чья возьмет. Теперь что хочешь пиши — не боюсь. Бери перо и пиши:

"Государь мой, Гаврила Романович! Письмо ваше о полученной вам комиссии казаков 30 человек я сего числа имел честь получить, почему в рассуждении требования его превосходительства господина генерала-аншефа и кавалера А. И. Бибикова о учинении вам вспоможения снабдить бы вас не оставил и сам до остальным за расходом числом. Но как вчерашнего числа получил я от его высокопревосходительства радостное уведомление, что известный злодей с воровской его толпой разбит и все его единомышленники разбежались, то я и не преминул учинить над ним поиска и для того оставшихся у меня казаков всех при одном есауле командировал в степь к городу Яику на узени для присмотру и поимки кроющихся злодеев".

Он подумал немного и вдруг лукаво прищурил левый глаз.

"А как на сих днях проследовали к его высокопревосходительству пять гусарских эскадронов с премьер-майором Шевичем, коим по случаю разбития их, злодеев, приказано взять на реке Иргизу разъезд к городу Яику и при том съехався с вами, поступить и по вашим наставлениям, а потому можете в нужном употреблении пользоваться уже не малейшим числом казаков, но целым эскадроном их".

Секретарь кончил писать и подал бумагу Кречетникову. Тот посмотрел ее и подписал одним росчерком пера: на-кась, выкуси!

— А этого Серебрякова я опять в тюрьму засажу. Рано он распелся. Ишь ты, посланником вздумал к губернатору ездить. Ну, погоди у меня!

В этот день Кречетников спал спокойно.

III

Державин переживал мучительные дни. Он лишился сна, потерял аппетит и даже немного похудел. Зеркало отражало зеленое длинное лицо, уже давно не бритое, усталые глаза и рот, около которого вдруг появилась целая паутина почти незаметных морщинок. Известий ни от старца Иова, ни от Дюпина он не получил. Старец Иов по уговорам должен был послать рапорт с Дюпиным через неделю после своего прибытия в лагерь злодеев. По уговорам же Герасимов и Серебряков, посланные на Иргиз, должны были прислать известие через три дня. Известия не приходили. Он не особенно беспокоился о Герасимове и Серебрякове, так как они поехали в места, занятые правительственными войсками. Бежать они не могли. Совсем иное дело был старец Иов — хитрый, молчаливый, замкнутый, он сразу же произвел на Державина впечатление двойственности. Однако и тут Державин все-таки не допускал мысли, что старик мог прямо предаться Пугачеву. Вся игра его была построена на чем-то ином: может быть, на жажде наживы, может быть, на желании выслужиться и получить какие-то особенные льготы, — что там ни говори, а пустосвятам и раскольникам жилось далеко не весело и после всемилостивейшего манифеста. Он даже допускал мысль, что старца могли убить, допускал мысль, что старец мог бежать с дороги, испугавшись поручения, и в обоих этих случаях план надо было считать неудавшимся. С томлением, страхом и болью Державин ждал сообщения от Кречетникова.

14–1949

Мысль об освобождении города, пришедшая однажды ему в голову, не оставляла его. Теперь он был твердо уверен, что решение это не было затеей безумия, рассчитанной на случайный и непрочный успех. Державин четко, на карте, вычислил количество переходов, время, которое они могут занять. На отдельной бумаге он наметил предполагаемую расстановку вражеских сил, вероятное направление похода злодейских атаманов и даже, разумеется, очень приблизительно и на глаз, определил воинскую силу, облагавшуюся или уже занявшую город. Конечно, злодейский гарнизон, как бы мал он ни был, состоял из нескольких полков. Он же может располагать считанными десятками. Значит, весь расчет следовало возлагать на смелость, быстроту и решительность.

Он думал захватить город набегом, поставить несколько пушек и открыть непрерывный, губительный огонь по крепости. Во время этого огня несколько человек, во главе с ним, должны ударить на город и открыть стрельбу.

Очень хорошо бы, если бы как-нибудь удалось поджечь деревянные стены города. Тогда бы отряд гусаров, с обнаженными саблями, встал бы около пожарища, рубя всех, кто думает спастись. Огонь, барабанный бой, ночной набег, беспрерывная стрельба — вот на что рассчитывал Державин.

Он обдумывал этот план тщательно, несколько раз меняя отдельные детали. Около Яика он никогда не был и поэтому крепость и расположение вражеских сил представлял очень смутно, но основные элементы его — ночь, пожар, набег — оставались неизменными.

Он настолько реально представлял себе черную громаду спящей крепости, лишь кое-где озаренной желтыми сторожевыми огнями, серую воду, отразившую форму его солдат, и пальбу, и крик, и желтые клубы огня, поднимающегося все выше и выше, что часто взятие Яика ему казалось делом уже решенным.

Он так ясно представлял себе все, так точен и безошибочен был его расчет, что казалось, никакая случайность, никакое непредвиденное обстоятельство не может помешать ему. Он все взвесил, все обдумал, все учел. И тем не менее, несмотря на эту уверенность в победе, он отлично сознавал, что рискует жизнью. Бывали у него такие минуты, когда он совершенно искренне считал себя обреченным.

Тогда он начинал считать. 400 человек, думал он, и 4000. Пять орудий — и пятьдесят. Все это составляет огромную гибельную разницу. Его расчет верен. Яик, конечно, будет взят. Но ему-то, Державину, не уйти живым. Его убьют. И убьют при первом же приступе.

Так начиналось то, что в случае совершения называется предчувствием.

Со странным любопытством он теперь разглядывал свои руки, присматривался к манере своей ходить и разговаривать. Вдруг вспомнил, что в далеком детстве он, прыгая через плетень, поскользнулся и упал на лицо. На левой скуле с тех пор остался мало заметный, но довольно глубокий лиловый рубец. Он щупал этот рубец и думал: "Вот все это — рубец на скуле, манера ходить, разговаривать, смеяться, манера отвечать на вопросы не сразу, а после небольшой паузы, — все это я, Гаврила Романович Державин. Я живу, думаю, двигаюсь, составляю прожекты, посылаю лазутчиков, пишу донесения. Вот я стою здесь перед зеркалом, длинный, сильный, молодой, высокий, с шрамом на левой щеке, с звонким жестким голосом и резкими порывистыми движениями. Меня убьют при осаде, и я умру. Вот тот самый, что вычерчивает прожект взятия крепости. Оторвут ядром голову, или всадят пулю, или просто возьмут в плен и повесят на дереве. Я знаю, что я скоро умру".

Это ощущение смерти, как он ни гнал его от себя, было настолько же частым, как и ощущение победы.

Гром барабанов, торжественный рев струн, арки, выстроенные по дороге триумфального шествия, — эти картины не отличались такой же реальностью,

как и видения смерти, но тем не менее он видел и их достаточно часто. Особенно запомнились ему полеты во сне, это ощущение медленного, но неуклонного подъема на гору, когда кружится слегка голова и сладко ноют пальцы ног. Он поднимался на эту гору чуть ли не каждую ночь. Сны не сопровождаются подробностями. Это не был даже сон, с определенным содержанием, действующими лицами и с каким-то действием. Никакой толкователь снов не объяснил бы ему его значения. Это было просто голое ощущение подъема,— все выше, выше, кружится голова, замирает сердце, а он взбирается еще и еще и, наконец, на какой-то недосягаемой высоте застывает в предчувствии падения. Упадет или нет? Он ничего не видит, но знает, что эти минуты решают все. Упадет или нет? Внизу земля, и многие часы лететь ему вниз, прежде чем, расплющиваясь, ударится он об эту землю.

Это ощущение незримого полета Державин сохранил наяву и запомнил на всю жизнь.

IV

Наконец возвратился Серебряков. Холодея от ярости, читал Державин письмо Кречетникова. Такого отказа, прямого, насмешливого, наглого, он не ожидал. Он и вообще не ожидал отказа. Но то, что прислал сейчас губернатор, превосходило всякое вероятие. Он знал Кречетникова и раньше — сухой, надменный, насмешливый, может быть, немного туповатый, но совсем не глупый старик, ера и насмешник, он никогда не лазил за словом в карман, и то, что он говорил, было всегда к месту. Был он правил немногих, но твердых, и никогда им не изменял. Так, в частности, он очень строго отделял дворянство родовитое от дворянства служилого. С первым он вел себя ласково, мягко и даже заискивающе. Зато вторых открыто презирал, говорил с ними боком, через зубы, поворачивался к собеседнику задом, бросая на него иногда мимолетный настороженный

взгляд. Служилых дворян за глаза он называл шпаками — так на Украине зовут скворцов — и бездомниками. Таким шпаком и бездомником был для него Державин. С этой стороны отказ был вполне понятен. Но как губернатор мог пойти против прямого приказа Бибикова?

Державин прочел его наглое и вежливое письмо еще раз и только тогда вдруг понял, в чем дело. Пугачев был разбит и, как, наверное, считал этот осел, ни с Державиным, ни с Бибиковым больше считаться не приходилось. Однако известие его поразило отнюдь не с этой стороны. Оказывается, надо было спешить. Правительственные войска делали крупные успехи, самозванец первый раз был бит по-настоящему, это уже говорило о многом. Если можно было снять патрули с Волги и послать их в погоню за остатками пугачевской армии, почему тому же Кречетникову нельзя было послать их в Яик? И, конечно, он не позабудет этого сделать. Собрать небольшой отряд, вооружить его и послать на выручку осажденному городу — дело отнюдь не большой трудности. Ведь у Кречетникова много людей, и армия его не убудет. Он сделает это, сделает непременно, и хотя бы в пику Державину. Тогда все — и почести, и слава, и награды достанутся не Державину, а этому злобному старику. Может быть, поэтому он и отказал ему в подкреплении.

Серебряков стоял неподвижно около двери, смотря на Державина. Державин подошел к нему.

— Завтра собираемся в поход, — сказал он. — Созови крестьян и утром приведешь их ко мне. Оружие достанем.

В этот день он просидел до ночи, составляя письмо к Бибикову. Письмо было большое. В нем сообщалось, что господин Кречетников, неизвестно по каким причинам, отказался отпустить солдат для освобождения города Яика. Поэтому, он, Державин, выходит один, с поселянами, вооруженными оружием, найденным им в конторе села Малыковки. Оружие

старое, ржавое, и успех с ним более чем сомнителен. Однако он не смеет медлить. Несмотря ни на что он пойдет к городу Яику. А там что видно будет.

Написав письмо, Державин успокоенно улыбнулся. Он знал, что Бибиков этого отказа Кречетникову не простит.

V

За сто верст от Яика решили сделать привал. Державин расставил дозор и велел разбить походные палатки. Зажгли костры. Державин смотрел, как тонкий сизый дым полз по земле, цепляясь за жесткий и звонкий кустарник. Лошади, привязанные к деревьям, — здесь была небольшая рощица — били землю, поднимая чуткие острые уши. Державин сел перед костром и обхватил голову руками.

Это — выгодное предприятие, которое он задумал. Да, да, именно так и следовало. Собрать небольшую силу воинскую и тронуться на спасение города. Трудное дело, опасное, но в смысле результатов оно гораздо благороднее следственной работы. И если ему теперь действительно удастся взять Яик — какими горячими похвалами засыплет его тогда Бибиков.

Царская армия имеет генералов, губернаторов, войска, пушки, крепости. Но у ней нет героев, некого венчать лавровыми венками, не для кого строить триумфальные арки, некому слагать оды. Армия состоит из изменников, трусов, шкуродеров.

Генерал Кар, оставивший войско и бежавший в Москву, капитан Балахонцев, бросивший Самару и убежавший в Казань, — все это явление одного порядка.

Бибиков? Но бравый генерал Бибиков болен, слаб и нерешителен.

Перед походом надо было бы все-таки написать письмо его высокопревосходительству. Пусть он знает, на что способен подпоручик Державин. Не жалобу, которую он уже послал на губернатора Кречетни-

кова, а именно небольшое частное письмо. Гордое, независимое и почтительное.

"Ваше высокопревосходительство, — так начал бы он это письмо, — ища всюду пользы для отечества и подвигнутый сыновьей любовью к премудрой матери нашей, решил я на собственный страх и риск предпринять освобождение города Яика.

И как это дело весьма сомнительное, в смысле несоответствия взаимных сил — моих и злодейских, — пишу вам сие письмо взамен рапорта. Ибо может случиться так, что свидеться не придется. Собрав 70 казаков и захватив с собой 4 орудия, я выступил встречу врагу и ныне..."

Такое письмо должно было произвести впечатление. Он еще раз прошелся мимо костров и уже хотел идти в палатку, как вдруг ему явственно послышалось, что его зовут. Он обернулся. Действительно звали.

— Ваше благородие, — кричал солдат, бегая по лагерю и разыскивая его. — Ваше благородие, до вас лазутчик.

Державин вгляделся. Около дальнего костра стояла небольшая группа людей, и в центре ее, вытянувшись во весь рост, шевелился кто-то белый и длинный, размахивающий руками, похожими на крылья.

Державина уже заметили.

— Ваше благородие, — крикнул подбежавший к нему солдат. — Подзорщика поймали. Говорит, что к вам его с письмом направили.

Чувствуя неладное, Державин подошел к костру.

Длинная фигура, увидев его, крикнула что-то отчаянным гортанным голосом и упала на землю, взмахнув белыми, похожими на крылья руками.

Державин подошел вплотную и ткнул ногой лежащего перед ним человека. Его русые волосы и длинная борода смутно напоминали ему кого-то, но кто это — он еще не знал.

— А ну, вставай, — крикнул он грубо. — Вставай, показывайся. С чем пришел из злодейского стана?

Человек, лежащий брюхом на земле, завозился и поднял голову.

— Ваше благородие, — крикнул он жалобно, — и не чаял уж живым уйти, все с себя продал, только чтобы откупиться...

Державин внезапно узнал человека.

— Иов! — крикнул он в ужасе, отступая.

— Он самый, ваше благородие, — ответили ему с земли. — Нижайший раб ваш. — Уж не чаял ваше благородие видеть.

Державин оцепенело, сверху вниз смотрел на него. Вокруг толпились солдаты, и синий дым костров стлался по земле.

— Да как же так? — спросил Державин. — Ведь ты был послан шпионом?

Человек поднял голову еще выше.

— Поймали, ваше благородие. И если бы не господин Мансуров, подай бог ему счастья, и не ушел бы я вовсе.

— А письма? — спросил Державин.

— Все взяли, ваше благородие. До одной бумажки всего выпростали.

Державин наклонился и точно рассчитанным коротким движением схватил его за шиворот. Поднял, потряс и с размаху бросил на землю.

— Изменник! — крикнул он хрипло. — Я из тебя всю правду выбью. Я знаю, зачем ты сюда пришел. Чтобы убить меня и опять бежать к Пугачеву? Да? Сознавайся!

Он тряс лежащего в пыли человека, и губы его дрожали.

— Сознавайся, — кричал он. — от меня не скроешься! Я знаю, с чем ты бежал!

Он схватил его за воротник рубахи и поднял с земли.

— Веревок! — крикнул он и на минуту сам оглох от своего голоса. — Вздернуть изменника как собаку на первом дереве.

Старик быстро вскочил на ноги и рванулся от подступивших к нему солдат.

— У меня есть письмо к вашему превосходительству от генерала Мансурова, — и он поспешно сунул Державину в руки запечатанный конверт. — Оный превосходительный генерал, освободив Яик от злодейских сил...

— Как, разве Яик взят? — спросил Державин и почувствовал, как лицо у него похолодело.

— Взят, ваше превосходительство, взят, и все злодейские силы от оного города угнаны.

Державин сорвал конверт. Письмо действительно было подписано Мансуровым. Державин сразу узнал его крупный, красивый почерк.

"Государь мой Гаврила Романович, известный мне малыковский старец Иов, потерпя здесь важные истязания, вырван прибытием моим на сикурс бедного здешнего гарнизона из челюстей смерти. Он подлинно, как вам доносить будет, откупал время жизни своей деньгами, занимая здесь. Я завладел Яиком, побив два раза сих извергов, и вступил в него вчера. В прочем с моим прямым почтением государя моего покорный и верный слуга.

П. Мансуров".

Он прочитал письмо до конца и бессильно опустил руку с конвертом. Солдаты обступили его, тихо переговаривались. Старец Иов, длинный, страшный, в белой рубахе, стоял перед ним, прямой, как покойник, и на губах его застыла испуганная гримаса. Трещал костер, и ржали лошади, почуяв свежий предутренний ветер.

Итак, все пропало. План, который он лелеял с такой страстью, горечью и надеждой, — рассыпался. Его геройский поступок превращался в обыкновенное ослушание, непростительное, дерзкое и мальчишеское. Улыбающееся лицо Кречетникова представилось ему ясно. Лицо улыбалось и щурило левый глаз.

"Напрасно, напрасно поторопились, ваше благородие, — говорил Кречетников. — Не могу одобрить

вашего поступка, никак не могу. А будьте ласковы, скажите, как вы осмелились покинуть пост, вам вверенный, и отправиться неведомо куда, без инструкций и указаний? Соответствует ли сие дисциплине воинской, а?"

Треща, догорали костры.

Державин круто повернулся и пошел к своей палатке. За ним двинулся сержант Елчин.

— Ваше благородие, — сказал он осторожно, — как прикажете со стариком?

Державин молчал. И, кашлянув, Елчин спросил снова:

— Прикажете сниматься?

Державин повернул к нему бледное, истрепанное лицо с круглыми, невидящими глазами.

— Да, — сказал он очень спокойно. — Сниматься. Завтра же двинемся обратно.

Сержант смотрел на него, переминаясь с ноги на ногу, и что-то хотел сказать, но не решался. И только когда Державин повернулся и пошел, он крикнул вдогонку:

— А со старцем-то что прикажете сделать? Давеча вы его повесить приказали, а теперь...

Державин махнул рукой.

— Пусть идет на все четыре стороны.

— Может, покормить его, ваше благородие? — спросил сержант.

— Покормите.

Тут же у костра Державин начал писать Бибикову. Он оправдывался в своем самочинном отлучении, говорил о долге воинском, который не позволял ему считать себя посторонним и независимым наблюдателем, опять жаловался на Кречетникова и уверял, что честь воинскую он ставит превыше всего — и карьеры, и счастья, и жизни.

Он писал много, долго и хорошо. И когда положил перо, то почувствовал, что у него свалилась с души большая тяжесть. Бибиков поймет, Бибиков защитит, пока жив Бибиков — ему нечего бояться. Од-

нако на карьеру воинскую, на почести и награды приходилось махнуть рукой. Никто не воспоет его подвиги, никто не назовет его героем, никто не выстроит ему триумфальную арку. Кому интересен маленький, бедный, неудачливый карьерист Державин?

А Кречетников?

Кречетников остается в прежней силе. Грубый, упорный, бездеятельный, ничем не рискуя и ничего не ставя на карту, он всегда будет главенствовать над ним. Так создан свет. Дети живут славой и могуществом своих предков. И будь у тебя хоть семь пядей во лбу, но если ты не богат и не знатен, не смей и думать о счастье. Всеми мыслями и душой он тянулся к Бибикову. Этот поймет. Этот не осудит за дерзость и смелость. Душа подпоручика Державина открыта ему, и он свободно читает все ее страницы. Сегодня же письмо с гонцом отправится в Казань. Не медлить ни минуты, не ждать, не колебаться, самому донести обо всем. Чем скорее, тем лучше.

Войско ехало обратно. Громыхали пушки, скакали верховые. Старец Иов ехал в самом конце отряда, радостно улыбающийся, изможденный, но счастливый. Он только что избавился от большой опасности. Да и было чего бояться. Придя в Яик, он сразу пришел к жене Пугачева и объявил ей о своей миссии. Все время, пока Яик не был взят генералом Мансуровым, он находился у власти, и его советами не пренебрегали даже самые наибольшие. Теперь, после отступления от Яика, старец отлично уяснил себе, что это отнюдь не окончательное и даже не решающее поражение. Он направился в стан Бибикова с тайными и важными инструкциями — узнать, увидеться кое с кем и обо всем этом донести. Теперь он был действительно настоящим подзорщиком — опытным, решительным и смелым. Подпоручика Державина он не боялся. Ему-то, старцу Иову, он теперь ничего плохого не сделает. Подпоручику Державину теперь не до него. Ему собственную шкуру приходится спасать от

начальства. Старцу Иову уже успели рассказать солдаты о самовольном выступлении отряда.

Старец отлично уяснил себе также и то, что именно теперь Пугачев был сильнее, чем когда-либо. Неожиданное поражение приносило ему тысячи соратников. Он видел этих обтрепанных, голодных и злых мужиков, которые отовсюду собирались под знамя бунта. Все дело было только в Бибикове. Этот человек, больной и бессильный, сидя в Казани, стягивал все новые и новые войска, задумывал все новые и новые планы. И все они, так или иначе, наносили какой-либо вред пугачевцам.

По его словам, отовсюду стягивались войска, приходили пушки, формировались полки. Если бы не Бибиков — победа давно была бы у Пугачева! — думал старец.

Так в ясный весенний день 22 апреля два человека, ехавшие в разных концах отряда, — Иов и Державин — думали о главнокомандующем Бибикове.

Только бы Бибиков не узнал от кого-нибудь другого о самовольной отлучке Державина, — думал Иов; только бы Бибиков получил скорей его письмо! — думал подпоручик.

Войско направлялось в Малыковку.

За десять верст от Малыковки их догнал гонец.

Он вез письмо Державину.

Державин на ветру распечатал конверт и, пробежав первые две строчки, побледнел.

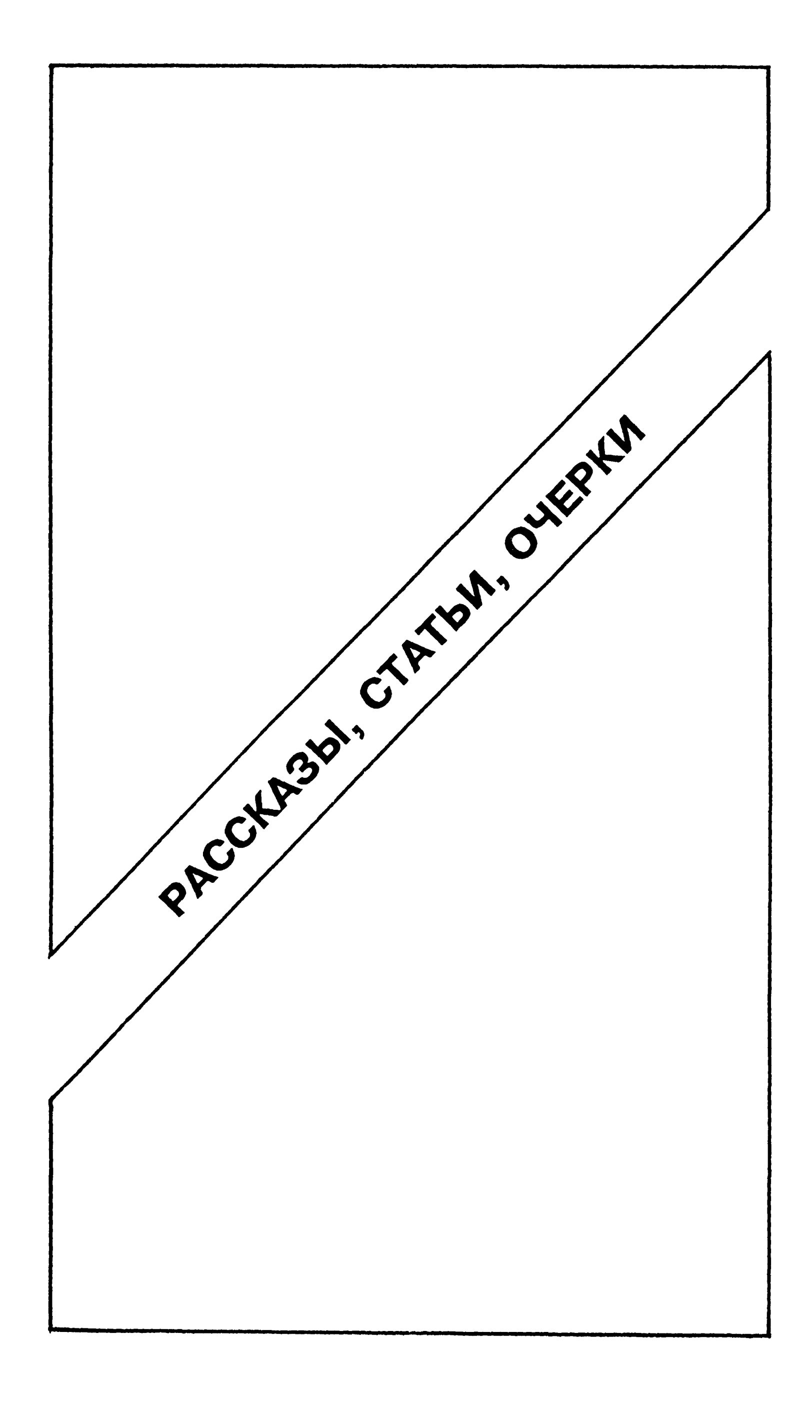
Письмо было частное. Его писал Бушуев.

"Милостивый государь мой, Гаврила Романович, — писал Бушуев, — закатилось наше солнце, вчера умер Александр Ильич Бибиков".

Дальше он не читал. Опустив письмо в сумку, он ехал во главе отряда. Сержант Елчин, увидев гонца, было подскакал к Державину, но, посмотрев на его перекошенное лицо, осадил лошадь и возвратился.

Вскоре стали появляться первые строения.

Это была Малыковка.


РАССКАЗЫ, СТАТЬИ, ОЧЕРКИ

СМЕРТЬ ЛОРДА БАЙРОНА

I

Низкое серое небо, сплошь затканное тучами, глядело в окно, и очертания деревьев скрывались за плотным туманом. Барабаня по стеклу, Байрон смотрел на двор, вымощенный кирпичом, — и дальше, на серое ровное море. Дождя еще не было, но жесткий ветер раскачивал рогатые ветки кустарника и расплескивал лужи. Зябко пожимая плечами, — хотя в комнате было не холодно — Байрон подошел к столу.

Предчувствие припадка застало его врасплох.

Он еще успел увидеть груду неразобранной почты, нож для разрезания бумаг в виде длинного кинжала и бронзовую чернильницу, похожую на подкову счастья. Все остальное со страшной быстротой мелькнуло в его глазах сплошным красочным пятном и исчезло.

Зная, что он сейчас упадет и всеми силами противясь этому, Байрон до боли заломил руки за спиной, стиснул зубы и остался так неподвижным.

— Раз, два, три, — считал он, — три, четыре, — дыхание его пересекалось и рот был полон вязкой сладкой слюной, — пять.

Припадка не повторилось.

Тогда, все еще дрожа от легкого головокружения, он задвинул плохо повинующимися руками тяжелое кресло и сел за стол.

Перед ним опять была неразобранная почта, нож в виде кинжала, чернильница в виде подковы.

Почту надо было разобрать, на письма надо было ответить.

— Письма, письма, — он вскрывал их и, посмотрев, откладывал в сторону. Их было очень много: из Испании, из Греции, из Италии. Дальше пошли счета: счет от типографии, счет от техника земляных работ, счет от английского портного за обмундирование пятидесяти человек его свиты. Он посмотрел и отодвинул их к прочитанным письмам. За счетами пошли сметы и проекты, их было особенно много. Длинный разграфленный по всем направлениям лист он прочитал два раза и еще долго держал в руках, прежде чем решился отложить. Это был подробнейший проект и смета судна, которое он хотел снарядить на собственные средства. Легкое и сильное, как северный лебедь, оно было нарисовано карандашом на обороте сметы: вздымались высокие борта, ветер гудел в выгнутых парусах, тупые морды пушек смотрели в небо. Это была его мечта. Судно должно быть легким на ходу, иметь небольшой и сильный экипаж и вооружаться английскими пушками. Это не был какой-нибудь тяжелый, неповоротливый бриг, предназначенный для обстрела гавани или высадки десанта, — это было его боевое судно, созданное для губительного огня, быстрых и дерзких нападений.

Пушки! Судно!

В Греции не было ни пушек, ни судна, ни денег на них.

Письма из Англии не шли. Деньги тоже. Очевидно, заем, на который он возлагал все надежды, — срывался. Его лебедь, быстрый и неуловимый, в конечном счете оказывался такой же мечтой, как и вся борьба за свободу.

С чувством досадливой боли он отложил в сторону смету.

Следующее письмо, которое он взял в руки, говорило о хлебе, и он прочел его внимательно. Впрочем, его содержание он угадал еще раньше. Действительно, было от чего сойти с ума! Хлеб, выпекаемый здешними булочниками, был просто ужасен — тяжелый и сырой, он напоминал замшелый кирпич и не-

съедобен был почти так же. Кирпичом его и звали греческие солдаты, которым он выдавался в виде пайка. Как-то Байрон даже пошутил над этим.

— Придется, видимо, — сказал он своим друзьям, — все-таки добыть булочника вместо кирпичника, который его выпекает.

Однако он сам знал, что это одни слова, настоящего булочника достать было неоткуда. Солдаты попрежнему ели ужасный кирпичный хлеб и называли Байрона турецким шпионом.

— Турецкий шпион! — сначала это прозвище вызывало приступ неукротимой ярости, теперь он принимал его равнодушно. Байрон затратил на вооружение войска половину своих средств и до сих пор не получил шиллинга. Он добровольно посадил себя на паек рядового и отказывался от всех прибавок, которые ему предлагали. Он, черт возьми, голодал так же, как все остальные, так же мог заразиться чумой, так же мог погибнуть от ножа, пистолета или взрыва, как любой из его соотечественников. Но, кроме того, он выносил на себе все неполадки, все шероховатости борьбы за освобождение.

Сулиеты бунтовали.

Они толпой собирались около его дверей и кричали, вздымая к потолку сухие черные руки. Они требовали хорошего пайка, денег, офицерских чинов, и в последние дни их дикий гортанный крик выражал уж не одну просьбу. Ему надоедало торговаться с ними, и вот, зажимая рукой сердце и стиснув зубы, он стоял, ожидая припадка, и клял тот день и час, когда ввязался в это постыдное дело. Он так и говорил наедине с собой — "постыдное дело". Из его памяти еще никак не могло сгладиться то, как он, больной, с пистолетом в руках выгонял из своей комнаты обнаглевших сулиетов.

А в последние дни он волновался особенно. В Англии был объявлен сбор средств, но деньги не приходили и было видно по всему, что заем проходит весьма туго. Видимо, давнишние слова Питта: "Я не

буду рассуждать с тем человеком, который не понимает, что интересы Англии требуют неприкосновенности Отоманской империи"— весили все еще больше, чем все брошюры о национальном освобождении и марсельеза, переведенная на греческий язык.

— Если так будет продолжаться, — подумал Байрон с злой насмешкой над самим собой, — Греция так и останется в оковах.

И вот он вспомнил о том письме, которое пришло месяца два тому назад. Письмо было короткое, но сильное. Один из его друзей настоятельно просил Байрона не уезжать из Кефалонии без серьезных предосторожностей. Он прочитал письмо и легко бросил его на стол.

— Поздно, — сказал он окружающим друзьям. — Это то же, что остерегаться женщины, на которой ты уже женился.

За окном его двухэтажного дома было серое, обвислое, как отсыревший потолок, небо, черные кусты жасмина и очень ровная, несмотря на резкий ветер, вода залива.

Он сидел за письменным столом, просматривал бумаги и думал, что теперь уже все равно.

В этот ненастный, дождливый день 9 апреля 1824 года Байрон получил сообщение, что греческий заем в Англии дал два с половиной миллиона.

II

Все, что произошло затем, было неожиданно и нелепо. С письмом в руках он вошел в комнату графа Гамбы.

— Два с половиной миллиона, — сказал он. — На это уже можно кое-что устроить.

Затем, бегая по комнате, он стал перечислять, загибая пальцы, что можно сделать на эти деньги.

— Купить хороших дальнобойных пушек, организовать небольшую, но крепкую артиллерию и целый пехотный корпус.

— Пехотный корпус! — крикнул он вдруг, останавливаясь посредине комнаты. — Две тысячи человек, вооруженных ружьями Конгрева!

Потом он вернулся к мысли, которая сильно занимала его с прибытия в Грецию.

— Прежде всего, — сказал он, — надо было предпринять осаду какого-нибудь небольшого турецкого городка или крепости. Это сразу подняло бы Грецию в глазах Европы и деньги потекли бы золотым дождем. Как-никак, а континент на стороне Греции, несмотря на все афоризмы Питта и Меттерниха. Очень было бы хорошо, чтобы привлечь внимание Европы, начать издание какого-нибудь журнала, посвященного освобождению Греции. На трех или четырех языках мира сразу.

— Например, — сказал Гамба, уже знавший кое-что об издательских планах Байрона, — "Греческий телеграф".

Байрон отрицательно покачал головой. Мысль о газете мучила его, и он носился с ней, пожалуй, не меньше, чем с планами о боевом судне или осаде турецкого города.

— Из этого дела, — сказал он задумчиво, — ничего не получится. Правда, он дал деньги — и немалые — на подобное же издание, но в успех его мало верит. Причины? — они ясны для него! Всякое бесцензурное издание в Греции обречено на скорую гибель уж потому, что его некому будет одергивать. В Греции еще нет общественного мнения. Свобода превратится в свою противоположность.

Гамба смотрел на него, утвердительно качал головой и думал, что здоровье его друга совсем не так плохо, как его хотят представить. У него очень крепкая голова, если он в этом аду не потерял еще ни бодрости логично мыслить, ни способности правильно расценивать свои и чужие поступки. Бесцензурная газета на греческом архипелаге, где о культуре говорят только тысячелетние развалины да мраморные обломки, выкопанные из земли! Газета на трех или

четырех языках в стране, где толком не знают одного! Действительно, черт знает что. Но Байрон вдруг прервал самого себя.

— Газета на трех языках, — сказал он тихо, думая совсем о чем-то другом, — это хорошо звучит, друг мой. Но мне пока не до газеты. Земляные работы находятся в безобразном состоянии, бастион — старая развалина, достаточно двух-трех полевых орудий и мы все взлетим на воздух. Накануне предполагаемой осады начинают проверять полковые списки, и вот оказывается, что половина солдат числится только на бумаге. Почему? Я понял все только, как посмотрел на откормленную рожу командующего. Командиры получают деньги за бумажные головы, а я сижу и жду, когда из Англии прибудут пушки.

Он засмеялся и ударил Гамбу по плечу.

— Впрочем, нет, дорогой, — сказал он лукаво, — я не только жду, я кое-что и делаю. Один из наших пиротехников, уезжая, поручил мне распространить между солдатами библию на новогреческом языке, и я охотно взялся за это дело. Очень хорошая бумага и переплет. Когда зайдете ко мне, я вам покажу их. Двадцать штук еще лежит в моем кабинете.

Гамба взглянул на него с опаской. Лицо Байрона было желтое и левая сторона рта время от времени подергивалась, как в припадке. В сущности, и в этом не было ничего страшного, он видел, с какими лицами разговаривают о здешних порядках прирожденные греки, но Гамба все-таки встревожился. Он подошел к окну и отдернул штору. Дождя еще не было, но сырое небо спускалось все ниже.

— Если бы не дождь, — сказал Гамба, смотря на воду залива, — я предложил бы вам съездить в оливковую рощу, но погода такая... — Он ждал, что скажет Байрон.

Но Байрон даже не посмотрел в окно. Он только положил руку на плечо Гамбы.

— Чепуха, — сказал он, — сегодня я получил два с половиной миллиона. Это бывает не каждый день. Едем!

III

В трех милях от города их застал дождь. Свежий морской ветер рвал шляпы и бил по глазам ошалевших лошадей. У оливковой рощи вдруг сильно запахло морем. Волны, прежде грузные и тяжелые, теперь легко прядали на острые камни и рассыпались в желтую пену. Две большие белые птицы, почти не махая крыльями, косо пронеслись мимо них. ”Гроза, — подумал Гамба, — и надо ж было ехать.” ”Альбатросы, — подумал Байрон, — как они низко летят над морем.”

Дождь, мелкий, но хлесткий, бил его по одежде, и почва под ногами коней расползалась бурой, жирной грязью.

— Вот, — сказал Гамба, — я говорил.

Байрон скакал с ним рядом молча, вглядываясь в серую дымку дождя. Его мокрое лицо пахло морем и было серьезно.

— Пожалуй, умнее всего, — сказал Гамба, задыхаясь от дождя и ветра, — было вернуться.

— Ну что же, — сказал Байрон, не поворачивая головы, — вернемся.

IV

Через пять минут они подъехали к рыбацкой хижине, где их обыкновенно ждала лодка. Попав на кремнистую тропинку, кони опустили уши и пошли широким неторопким шагом. Тут Байрон, молчавший почти всю дорогу, вдруг оживился. Он легко соскочил с коня и, почти не хромая, хотя и эта дорога была сильно размыта, побежал вниз по тропинке.

Гамба следил за ним с неудовольствием. Бодрый вид Байрона почему-то ему очень не нравился.

— Вам надо обязательно переменить одежду, — сказал он хмуро. — Вы простудитесь.

Байрон посмотрел на него с улыбкой.

— Вам нет оснований опасаться за мою жизнь, — сказал он любезно, — несчастен для меня только один день в неделе — воскресенье. Сейчас же, если не ошибаюсь, — понедельник. Зато год, в который мы живем, для меня очень несчастлив! 22 января 1824 года мне исполнилось тридцать шесть. А этот возраст для меня роковой, я должен умереть.

Последние слова он сказал, грассируя в нос и, как показалось Гамбе, с легким кокетством.

— Неужели вы серьезно верите в эту чепуху? — спросил Гамба с досадой.

Байрон отрицательно покачал головой.

— А вы, — спросил он вызывающе, — вы тоже не верите? Помните, как полковник Стенхоп сказал мне, что он не может поручиться за жизнь даже одного английского пиротехника, и их пришлось отправить обратно. А ведь они были самые обыкновенные английские солдаты, даже без репутаций турецкого подданого, который сопровождает вашего покорного слугу. — Он засмеялся.

Высокие башмаки Байрона тяжело ступали по грязи, рассыпая звездчатые брызги. Вошли в хижину.

— Это насчет года, — сказал Байрон, останавливаясь у порога. — Припадок же со мной случился 19 февраля, и когда я очнулся, моей первой мыслью было спросить, что это за день. Мне ответили, что воскресенье. Ну, конечно, сказал я.

Он сел на скамью и снял с головы широкополую шляпу. Шляпа была тяжелая и мокрая, как только что убитая птица, и он отбросил ее на стол. Хозяин хижины — грек Газис, — улыбаясь и кланяясь, побежал заказывать лодку.

Гамба смотрел на Байрона. Все это ему очень не нравилось. После последнего припадка для него, как

и для всех друзей, стало ясно, что дни Байрона сочтены. Эта мысль не сразу пришла ему в голову, но оттого, что она наконец пришла, Гамба почувствовал, как у него заломило под ногтями. Он сейчас же стал прогонять от себя эту мысль. Байрон молод, — говорил он сам себе. У него богатырский организм, он ловок, смел, жизнерадостен. Кто другой может выстрелом потушить свечку или переплыть Геллеспонтский залив? Кто другой может вынести эту постыдную торговлю из-за денег, эти постоянные стычки с греками, англичанами, итальянцами? Кто другой мог остаться жизнерадостным и твердым, видя, как превращается в ничто дело его жизни? Один Байрон! Бредни выжившей из ума старухи о каком-то особенном смысле тридцать седьмой годовщины его жизни не заслуживают даже просто внимания. Кажется, сама судьба хранит его голову. Ведь хватило же у него благоразумия отказаться в последнюю минуту от поездки на Ариель в тот самый день, когда погиб Шелли. Байрон согласился сперва на эту поездку, даже торопил Шелли, а потом вдруг взял и отказался. Почему? Нет, видимо, сама судьба хранит его красивую беспутную голову.

Так думал Гамба, отходя от Байрона. Но ему достаточно было взглянуть на него опять, чтобы снова понять его обреченность. Даже в припадке его истерической ребяческой проказливости он стал видеть признаки наступающей развязки. Байрон стал бояться всего: воскресного дня, разбитого стакана, соли, рассыпанной на столе, года, в котором он жил. И в то же время эта страшная боязливость не вязалась с его обычным презрительным бесстрашием.

И только теперь Гамба стал понимать смысл стихов, написанных Байроном в день его рождения. Стихи были длинные и кончались они так:

И если ты о юности жалеешь,
Зачем беречь напрасно жизнь свою?
Смерть пред тобой — и ты ли не сумеешь
Со славой пасть в бою!

Ищи ж того, что часто поневоле
Находим мы; вокруг себя взгляни,
Найди себе могилу в бранном поле
И в ней навек усни!

Найди себе могилу в бранном поле. Ах, если бы с Байроном теперь был Шелли!

Он вдруг вздрогнул, почувствовав на себе тревожный, но неподвижный взгляд Байрона. Байрон смотрел на него со своего места, желтый и прямой. Его губы кривила детская беспомощная улыбка.

Гамба ласково взял его за плечо.

— Джордж, — сказал он, — ехать в лодке сейчас нельзя. Вы промокли и замерзли. Вам надо размяться и согреть кровь. Лошади наши еще не расседланы. Поедем обратно верхом. — Байрон отрицательно покачал головой.

— Какой же я солдат, — сказал он, — если буду бояться такой чепухи?

Он встал с места и, хромая больше, чем обыкновенно, пошел к выходу.

— Смерти я не боюсь, — сказал он хмуро. — Смерть — это чепуха. Но я до сих пор не могу понять себя. Я тридцатисемилетний мальчишка, который не хочет сделаться стариком. И вот я не соглашаюсь со своей старостью, а старость приходит, мой друг. Она настойчиво стучится в стенки моего сердца. — Он говорил теперь медленно, и пот струился по его лицу.

Около самого берега он вдруг остановился и, взяв Гамбу за руку, сказал тихо и искренне:

— Не считайте меня только, мой друг, на самом деле суеверным. — Разбитый стакан, рассыпанная соль — все это чепуха. Даже воскресный день я готов признать счастливым. Я боюсь только двух вещей в мире, но боюсь их по-настоящему: медленно умереть на постели, как на станке пытки, или кончить свои дни, как Свифт, — старым кокетливым идиотом.

Через полчаса они были у дома. Даль моря совсем скрылась за серой пеленой. Дождь шел не пере-

ставая, и теперь цвет неба не отличался от цвета воды.

— Вот в такую погоду, — сказал Байрон задумчиво, — и погиб Шелли.

Уже подходя к дому, Гамба вдруг вспомнил, при каких обстоятельствах Байрон прочитал свое стихотворение: он вышел из спальни с листом бумаги в руке и сказал, обращаясь к нему и полковнику Стенхопу:

— Вы как-то жаловались на то, что я уже не пишу стихов. Сегодня день моего рождения, и я только что кончил стихи, которые кажутся мне лучшими из всего написанного.

Стихи не были лучшими, но они были последними. Прощаясь с Байроном, Гамба вдруг понял это ясно.

Он снова вернулся к Байрону вечером.

Его друг, раздетый, лежал в постели и при входе Гамбы обернул на него мутные большие глаза, полные тоски и страха.

— Я умираю, — сказал он тихо и покорно, — но это мне безразлично.

Гамба смотрел на него. Желтый и острый профиль его друга напоминал лицо карточного короля. Дышал Байрон хрипло и медленно, с трудом выталкивая из груди свистящие порции воздуха.

— Ничего, — сказал Гамба весело, — ничего, Джордж, это просто маленькая простуда, я думаю, что завтра...

Внезапно Байрон схватил за руку Гамбу и сжал ее до боли.

— Смерть мне безразлична! — повторил он хрипло, — но страданий я не перенесу.

На другой день Байрон проснулся совсем здоровым. Он послал за Перри и рассказал ему об успехах займа.

— Вот увидите, — скзала он радостно, — как пойдут у нас дела. Я на собственные средства вооружу артиллерийский корпус, мы купим судно и будем бить турок с моря.

Потом поглядел на Перри и покачал головой.

— А пушки-то! — сказал он с веселым удивлением,— совсем забыл о пушках. Я куплю специальные горные пушки, и мы начнем обстреливать небо. Греция, черт возьми, будет свободна!

Он прошелся по комнате, потирая руки.

— Мы еще повоюем! — сказал он.

И до вечера Байрон и артиллерийский капитан Перри сидели, составляли план финансирования летней кампании.

V

Дождь окутывал сушу, дождь окутывал море.

Две недели над Грецией свирепствовал сирокко.

Байрон больше не вставал с постели.

Строгий и неподвижный, он лежал поверх одеяла, и лоб его казался желтым, как мрамор надгробного памятника.

Приходили доктора, приходили друзья.

Они на цыпочках шмыгали мимо кровати и, когда он пробовал говорить, отвечали ему с ласковой предупредительностью, как будто говорили с ребенком. Это было противно, и он замолкал сейчас же. А температура поднималась все выше и выше. Помутневшими от жара глазами он смотрел на своих друзей, и лица их колебались и плыли, как сотканные из голубого дыма.

Так начинался бред.

Перси Бишше Шелли с сконфуженной улыбкой сидел у его постели.

— Ну вот, — говорил он успокоенно, — теперь все хорошо, все отлично. Я очень долго ждал вас на

Ариеле, я даже замучился от ожидания, но вы приехали, и все обстоит хорошо.

Раздувая паруса, стоял перед ними Ариель, он был серебристо-белого цвета, и в туго надутых парусах свистел свежий морской ветер. Зеленые волны, гудя, разбивались о его корму.

Шелли сидел рядом и улыбался.

— А ведь он не умеет плавать, — вдруг сообразил Байрон. — Когда нас застала буря среди моря, и я хотел его спасти, он лег на дно лодки и сказал, что сейчас умрет. На море дождь и ветер, как он решается ехать один в такую погоду? Ведь он утонет.

Он повернул голову, чтобы сказать об этом, и вдруг вспомнил, что Шелли в самом деле утонул. И сейчас же он увидел плоскую отмель моря, сиреневый волнистый песок и на нем бескостную человеческую фигуру лицом к небу. Волны, набегавшие на труп, шевелили его бумажные руки и перекатывали с места на место. Когда Байрон хотел посмотреть в лицо трупа, обращенное к хрустальному итальянскому небу, то увидел на месте лица сизую шероховатую маску. На месте глаз — страшно и тупо блестели два аккуратных, чисто вымытых отверстия.

— Это не Шелли, — сказал ошалело Байрон, — это кто-то другой! — Но ему подали небольшой кожаный томик, найденный в кармане трупа. Это были стихи Китса, с которыми Шелли никогда не расставался.

В другом кармане вместе с песком и пестрой морской галькой вытряхнули томик Платона.

Байрон стоял, опустив голову, и даже не взглянул на находку. Теперь для него было все ясно.

Он обернул голову на то место, где сидел Шелли, но его уже не было. Тускло блестел желтый таз и двое незнакомых людей с засученными рукавами, без фраков, стояли рядом с его постелью. Дальше на стуле серебристо блестели похожие на морских рыб ланцеты.

VI

Ланцеты недаром блестели на стуле и таз неслучайно попал в комнату. Всю ночь Байрон бредил не переставая, и друзья решили прибегнуть к крайним мерам. Они приступили к Байрону с настойчивым требованием крови.

— Ваш организм перегружен плохой, воспаленной кровью, — говорил Бруно, наклоняясь над лицом больного, — и если вы не разгрузите свои вены от ее чрезмерного напора, — она кинется в мозг, и мы не ручаемся за ваш рассудок.

Байрон больше всего боялся сойти с ума. Кривляющаяся рожа веселого Свифта пугала его даже на смертном одре. Однако он не хотел сдаваться так скоро.

— Кровопускание убьет меня, — сказал он через синий туман в лицо Бруно, — я слишком слаб, во мне и так мало крови, а вы хотите выпускать ее целыми тазами.

Миллинг взглянул на Бруно, Бруно взглянул на Миллинга.

— И все-таки мы настаиваем на этом, — сказал Бруно. — Вы стоите на грани воспаления мозга. С этим шутить нельзя. Вы и так бредили всю ночь не переставая.

Байрон посмотрел на ланцеты, лежащие на стуле.

— Неужели нет другого средства? — спросил он умоляюще. — Люди чаще умирают от ланцета, чем от пики.

Ответа он не слышал. Но сразу зазвенели ланцеты, блеснул и скрылся с глаз тазик, стоящий на кресле. Байрона подняли под руки и устроили на кровати сидя. В последнюю минуту он сообразил что-то и опять закачал головой, но слов его уже никто не слышал.

Миллинг аккуратно подобрал рубаху и обнажил сильную белую руку с синеватыми округлыми мускулами.

— Нет, нет, — крикнул Байрон.

Миллинг послушно отпустил его.

— Как хотите, — сказал он, — но за ваш рассудок я не ручаюсь.

— Вы — проклятая банда мясников, — крикнул Байрон через синий туман, застилающий ему глаза. — Вылейте из меня столько крови, сколько найдете нужным, и отвяжитесь.

Миллинг держал его руку выше локтя и следил, как на дно тазика, сначала струйкой, а потом частыми тяжелыми каплями падала вязкая, как смола, черная артериальная кровь.

VII

Семнадцатого апреля он бредил опять, и доктора, уже не спрашивая о позволении, выцеживали из него все новые и новые порции крови. К концу дня у Байрона побелели губы и заострился нос. Жар съедал его изнутри, и он безостановочно пил лимонную воду. Бред мешался с явью. Байрон думал о семье, Байрон думал о Греции. О Греции, которую он проклинал ежедневно, ненавидел иногда и которая была ему все-таки дороже всего: и семьи, и собственной жизни.

Какое безумие, какое непонятное и непростительное безумие, что там, в Европе, так медлят с деньгами, с пушками, со снарядами! Двадцать тысяч пехоты, полсотни судов, столько же горных пушек — собрать все это, бросить с моря и с суши на турецкие бастионы и все будет кончено в месяц. А прежде всего надо взять какое-нибудь укрепление. Ну, Лепант, например. Тогда мир увидит, на что способна освобождающаяся Греция. Лепант! Сколько времени прошло, а до сих пор ничего не сделано. Этот Перри только и умеет пить бренди да рассказывать анекдоты.

И мистер Перри предстал перед ним.

Это был артиллерист, присланный из Лондона вместе с пушками, английскими механиками и

ружьями французского образца. Он был коренаст, высок, напыщен, добродушен. Но Байрон знал его слабость. Не дав опомниться, он набросился на него с упреками.

— Очень хорошо, — крикнул он, — вы живете две недели, пьете бренди, рассказываете анекдоты, а арсенал до сих пор не построен. Кончится тем, что как-нибудь ночью на город нападут турки и перережут нас, как цыплят.

Он знал ответ Перри и ждал его. Но Перри вдруг стал оправдываться.

— Вы говорите, — крикнул Байрон, — что греки не хотят работать, что у них каждый день какой-нибудь праздник. Хорошо. Но что в таком случае делаете вы? Вы, доверенное лицо, командир, присланный из Лондона! Почему один я принужден заботиться о всех вас? Разве я прислуга, чтобы заниматься уборкой старых казарм? А я ведь занимаюсь ею.

Перри, не смотря на него, что-то часто бормотал под нос. Он казался очень смущенным, но на этот раз Байрон был неумолим.

— А где знаменитые ружья Конгрева, о которых уж с месяц говорит вся Марея? — спросил он язвительно. — Ах, с вами послали один старый чугун да с десяток дряхлых пушек. Почему? Где были ваши глаза, Перри? Где были ваши глаза, когда вы принимали эту рухлядь?

Байрон стиснул кулак и ударил им по постели.

— Вы приехали сражаться и умирать за свободную Грецию, мистер, а не пить английское бренди и рассказывать сомнительные анекдоты, — прохрипел он яростно.

Высокие слова ”Греция”, ”свобода”, ”сражаться”, ”умирать” — на минуту подняли его силу, и он повторил их еще раз. Что бы они там ни говорили, а Греция все-таки будет свободна! Слишком много крови пролито на ее жесткую, каменную почву, слишком много человеческих жизней поставлено на карту, чтобы все это прошло даром. Он сам умирает

за Грецию, и она будет свободна! — Он открыл глаза, понял, что бредит.

Ни Гамбы, ни Перри, ни даже Тита не было в его комнате. Четыре доктора наклонились над постелью и один из них, самый молодой и безусый, держал в руке банку с пиявками, накрытую полотенцем. Байрон посмотрел на него совершенно трезвым, здоровым взглядом.

— Ваши усилия, — сказал он, — спасти мою жизнь останутся тщетными. Я должен умереть. Я не жалею о жизни. Я и приехал в Грецию для того, чтобы окончить свое тягостное существование. — Он глубоко вздохнул. — Я отдал Греции все свое время и все свои деньги. Теперь я отдаю ей мою жизнь.

VIII

Во главе своих полков он шел на приступ. Вздымалась горячая пыль, лошади тащили тяжелые орудия. И только этот топот копыт да хриплое дыхание солдат нарушали тишину. Турецкая крепость стояла на высокой горе. Он смотрел на нее, прищурясь, в подзорную трубу. Развевались пестрые, как южные птицы, флаги, поднимались к небу подобные пальмам вершины минаретов, переливались перламутровой раковиной узорные купола. Когда войска подошли к подножию горы, высоко над головами людей пропело первое ядро. Лошади остановились, прядая ушами, а два всадника, ехавшие впереди, вспрыгнули с коней, и сейчас же по всей линии огня раздались сухие, короткие выстрелы, как будто кто-то брал и разрывал один за другим куски полотна. Сразу все заволоклось дымом. Через синие клубы прыгали люди, скакали обезумевшие лошади, поднимались боевые знамена. Турки стояли непоколебимо; низкие стены города, сплошь окутанные пороховым дымом, по-прежнему вздымали к небу свои радужные купола. Байрон взглянул на солдат. Первые ряды стояли

еще стойко, но задние сбились, рассыпались и поддались. Еще одно ядро упало в середину полка. Раскалываясь, оно расцвело, как огненная орхидея. Тогда он выхватил шпагу и бросился, крича:

— Вперед! Не робеть! Берите пример с меня.

И войско побежало за ним.

Это был последний бред.

Очнувшись, он сейчас же понял, что умирает. Обвел глазами комнату. Флетчер, Гамба, Титта, четыре доктора — нет ни Ады, ни Августа, ни Шелли. Он один. И вдруг что-то необычайно важное промелькнуло в его голове. Кажется, на минуту он понял все и решил для себя все вопросы своей бурной жизни. Это они выгнали его из Англии, мчали с одного конца материка на другой, отняли у него жену, детей и друга. И вот за одну минуту до смерти он решил их все. Сказать немедленно, сказать все. Пусть передадут, пусть запишут и передадут всему миру. Ведь ничего более важного нет на свете. И вот срывающимся шопотом, шевеля белыми губами, он стал рассказывать. Его слушали со страхом и вниманием. Кто-то открыл записную книжку, кто-то украдкой заплакал. Это Флетчер. С расширенными от ужаса глазами стоял старый слуга, наклонившись над постелью своего господина.

Байрон говорил, его слушали и не понимали.

Он вдруг заметил это и, схватив руку Флетчера, сказал зло и мстительно:

— Флетчер, если вы не исполните всего, что я вам сказал, я вернусь, если смогу, чтобы вас мучить. — Он увидел с удовольствием, как Флетчер пошатнулся, и повторил еще раз: — Обязательно вот приду и замучаю вас.

Около кровати зашептались.

— Я ничего не понял, милорд, что вы сказали мне, — в ужасе пробормотал испуганный слуга, из белого его лицо стало желтым.

Байрон опустил голову.

— Тогда слишком поздно, — простонал он. — Тогда все потеряно.

Но перепуганный Флетчер продолжал настаивать. — Пусть его светлость повторит еще раз, он уж передаст все, до одного слова.

Байрон покачал головой.

— Нет, нет, слишком поздно!

Но в его мозгу опять всплыли эти единственные важные слова, смысл всего, что он продумал, прочувствовал и пережил. И гибель Шелли, и разлука с дочерью, и судьба вечного изгнанника — все должны были объяснить эти простые слова.

Он их не мог, не имел права скрыть от своих ближних.

Он приподнялся, опираясь руками на подушки, и посмотрел на своих друзей.

— Я еще раз попробую, — сказал он жалобно.

И сейчас же пропало лицо Флетчера. Шли греческие войска, бил барабан, развевались знамена. Впереди ехал он, за ним шла его пехота, ветер свистел в ушах и жгучее греческое солнце концентрировалось в эфесах шашек. Это шли побеждать и умирать за свободу греческие войска, его войска.

— Бедная Греция! — сказал он громко. — Бедный город, бедные мои слуги.

Доктор сделал знак рукой, и все вышли из комнаты.

IX

Флетчер сидел всю ночь над своим господином. Неподвижное и страшное тело Байрона лежало, вытянувшись во весь рост. Поднималась и опускалась грудь, проходили судороги по вытянутым кистям рук, жесткое и порывистое дыхание вылетало из губ умирающего. Но и губы, и закрытые глаза, и лицо были неподвижны.

Желая привести Байрона в себя, доктора безостановочно ставили ему пиявки, и теперь все лицо умирающего было в лиловых пятнах. Кровь его, уже переполнившая несколько цирюльных тазиков, стекала по лицу медленными тяжелыми каплями. Подушка, простыни, носовой платок — все было в этих страшных ржавых пятнах.

Двадцать четыре часа провел Байрон в таком состоянии. А вечером девятнадцатого он открыл на минуту глаза, посмотрел на Флетчера и снова закрыл их. Это было так страшно, что Флетчер завопил от ужаса.

— Господин умер! — крикнул он.

Доктор подошел к Байрону и взял его за руку.

— Я думаю, что вы правы, — сказал он через минуту, — пульс уже не бьется.

X

Друзья не оставили Байрона и после смерти. Его тело было перевезено в Англию.

И вот начались поиски могилы.

Так как настоятель Вестминстерского аббатства наотрез отказался впустить обреченный прах в стены древней усыпальницы королей, друзья похоронили его в небольшой деревянной церкви Хэнкель-Торкард рядом с Ньюстодом, где похоронены все предки Байрона.

Хэнкель-Торкард — очень чистое и красивое место: цветут аккуратно подстриженные липы с шарообразными купами, в палисаднике около церкви играют дети и благоухают похожие на россыпи драгоценных камней чудесные английские клумбы.

И церковь, под плитами которой похоронен Байрон, чистая, нарядная и красивая.

В ней стоит статуя Байрона, а на могильной плите четко вырезано его имя, год рождения, год смерти.

Покойник может быть спокоен. Он попал в хорошее общество.

Впрочем, что касается покойника, то у него, кажется, было несколько иное мнение насчет своей могилы.

"Я надеюсь, писал Байрон, никому не придет в голову бальзамировать мое тело и тащить его в Англию. Мои кости будут стонать всюду, на всех английских кладбищах, и мой прах никогда не смешается с пылью вашей страны. Мысль о том, что кто-либо из моих друзей внезапно окажется настолько диким и безобразным человеком, чтобы перетащить даже мой труп в Великобританию, может вызвать у меня бешенство в минуту смерти.

Помните, даже червей Альбиона я не согласен кормить!"

Впрочем, червям Альбиона досталось не все тело Байрона. Его сердце находится в Греции. Аккуратно сделанную статую, памятник над могилой и самую могилу можно видеть в любом иллюстрированном издании Истории литературы.

Нужно сказать, очень хорошая могила и очень хороший памятник.

XI

Спят в земле Альбиона великие люди.

Спит обезглавленный Томас Мор, взысканный на эшафот милостью самого короля; спит Чаттартон, доведенный голодом до самоубийства; спит Шекспир — автор драм, неизвестных при жизни; спит под полом своей деревенской церкви лорд Джордж Гордон Байрон, сердце которого осталось в Греции, — мирно спят великие изгнанники, прощенные и признанные после смерти своей страной!

И всех их Англия чтит по-одинаковому!

АРЕСТ

Вскоре же после получения на Кавказе первых известий о декабрьских событиях в Петербурге в крепости Грозный арестовали и Грибоедова.

В комнатах наместнического дома в ту пору уже было порядком темно, и в залах пришлось зажечь свечи.

Ермолов, большой, желтый, слегка одутловатый, сидел за ломберным столом и раскладывал новый пасьянс. Карты были цветастые, блестящие и, разбросанные по столу, они походили на перья райской птицы.

Рядом стояла свита.

— Эту вот сюда, эту сюда, — методично говорил Ермолов и вдруг задумался с картой в руке. — А эту вот... — Он озабоченно смотрел на пасьянс.

Грибоедов сзади с трубкой во рту разглядывал его руки. Почему-то всегда случалось так, что когда он смотрел на наместника, больше всего ему запоминались именно его руки с белыми, тонкими, покрытыми рыжеватой шерстью пальцами.

— Ну, а вот эту... — беспокойно повторил Ермолов, обернулся, чтобы поискать взгляд Грибоедова. — Куда же эту-то девать? Червонную даму-то куда? Нет, видно, я чего-то тут напутал! Александр Сергеевич, а Александр Сергеевич?

Вот в это время и доложили ему о приезде фельдъегеря с секретным пакетом от военного министра.

— Так пускай он проходит сюда, — громоздко зашевелился в кресле Ермолов. — Из Петербурга? Сейчас же пусть идет сюда.

И он снова стал рассматривать карты.

— Ну, а где же я все-таки тут напутал? — спросил он раздумчиво.

Полминуты еще, упрямо наклонив голову, он смотрел на карты, а потом с досадой бросил колоду, и она легко рассыпалась по столу.

Фельдъегерь подходил к нему чеканной военной поступью. Не доходя шага три до наместника, он вдруг остановился, резко, отточенным, острым движением отдал честь, потом так же резко, четко и отчетливо полез в черную фельдъегерскую сумку на поясе, выхватил двумя пальцами тонкий пергаментный конверт и, сделав еще шаг, на вытянутой руке протянул его наместнику. Ермолов взял пакет, обернулся, посмотрел черные сургучные печати и быстро разорвал конверт наискось.

Грибоедов по-прежнему стоял сзади него, только трубку изо рта вынул. Текст бумаги ему был виден ясно. Его собственная фамилия вдруг бросилась ему в глаза. Написанная незнакомым писарским почерком, она показалась ему чужой и к нему вовсе не относящейся. Тогда он слегка приблизил голову к руке наместника, сощурил близорукие глаза и прочел первые две строчки:

"Прошу Ваше Высокопревосходительство приказать немедленно взять под арест служащего при Вас чиновника Грибоедова со всеми принадлежащими ему бумагами".

Это было так разительно, что он даже не испугался. Конечно, этого приходилось ждать. И все-таки все это он представлял себе совсем иначе. С секунду простоял он неподвижно, чувствуя, как у него заломило под ногтями и пересеклось дыхание, потом быстро взглянул на Ермолова. А тот уже кончил читать, аккуратно сложил бумагу вчетверо, не торопясь сунул ее в конверт, конверт положил в карман.

— Ну, так, — сказал он, обращаясь к фельдъегерю. — А доехали как? В дороге были долго?

Фельдъегерь начал что-то рассказывать, и Грибоедов, как при свете молнии, вдруг очень точно и ясно

увидел его. Заметил, что он молод и вместе с тем не по летам плешив, худощав, с длинным носом и оттопыренными негритянскими губами. Под левой бровью белел длинный шрам.

"Били его, что ли..." — подумал Грибоедов тускло. Ответ фельдъегеря он не слышал.

— Нет, это недолго, — раздался впереди него голос Ермолова. — Две недели — это совсем по-нашему недолго. Ну, ладно. Коли, говорите, не устали, расскажите нам, что же произошло в Петербурге.

Ничто не дрогнуло на его одутловатом лице, и даже глаза остались неподвижными и далекими. Правда, он сейчас же соскользнул взглядом мимо, наклонился к столу и начал собирать карты. Только собирал он их, пожалуй, слишком долго.

Фельдъегерь о чем-то рассказывал.

Грибоедов отошел от наместника, сел на кресло и положил руки на подлокотники. Потом сейчас же вскочил.

"Немедленно взять под арест служащего при Вас чиновника Грибоедова со всеми принадлежащими ему бумагами", — последние слова, на которые он не обратил сперва было внимания, сейчас снова всплыли в его памяти. Да, да, бумаги! Вот что главное — суметь уничтожить бумаги. Как он был глуп, ах, как он был глуп, что не подумал об этом раньше.

Он стоял, вытянувшись у стены, и усмехался.

И вдруг до него опять дошел голос фельдъегеря:

— Якубович, ранее разжалованный приказом Его Императорского Величества в солдаты, ходил по площади от одной стороны к другой и предлагал свою помощь государю. После он был тоже арестован, так как оказался злоумышленником.

— Бывший чиновник архива министерства иностранных дел Кюхельбекер с заряженным пистолетом искал повсюду Его Императорское Высочество великого князя Михаила Павловича.

— Вы слышали, господа? Кюхельбекер! — охнул Ермолов так громко и искренне, что Грибоедов

опять усмехнулся. — Это ведь наш Вильгельм Карлович. Он же у меня в канцелярии лет пять тому назад работал. Вы помните его, господа?

Он стал было с креслом поворачиваться к Грибоедову, но вдруг дотронулся до подлокотников и вскочил так быстро и легко, что под ним забушевали пружины.

— Ну, спасибо за рассказ, — сказал он любезно и величественно, — спасибо, голубчик. Очень хорошо все рассказали. Вы, чай, устали с дороги, так я вас больше и не держу, а вот вы, господа, — он обернулся к свите, — вечером прошу пожаловать ко мне на обед.

Он пошел из комнаты и, проходя мимо Грибоедова, не задерживаясь, показал глазами на дверь.

— Так вот, господа, милости прошу всех ко мне сегодня на обед, — повторил он с порога и вышел из комнаты.

Друг перед другом они стояли в маленькой, узкой комнате, такой маленькой и такой узкой, что в ней умещалась только одна жесткая деревянная кровать (верно, тут спал кто-то из прислуги) да табурет из некрашенного дерева. Ермолов говорил:

— Ну, вот и допрыгались, сударь мой, и допрыгались. Сказано вот: "со всеми принадлежащими ему бумагами". Чего, хорошо разве? А ведь я знаю, какие у вас там бумаги.

Грибоедов стоял перед ним по-прежнему прямой и неподвижный, чем-то неуловимо напоминая Робеспьера. Страха уже не было. Стойкое, спокойное чувство безнадежности охватывало его целиком. Он усмехался, глядя на Ермолова.

— Двум смертям не бывать, Алексей Петрович, — ответил он устало, называя Ермолова по имени и отчеству, как всегда, когда они были только вдвоем.

— Ага, вот-вот! — чему-то неожиданно обрадовался Ермолов. — Уже и о смерти заговорили. Двум

смертям! — Он фыркнул, как рассердившийся кот. — Подумаешь, четыре поэта — вы, Саша Одоевский да Вильгельм Карлович, да еще Рылеев начали бунт противу всего государственного быта Российской империи. Эх, — он с омерзением сплюнул, — со-чи-ни-те-ли! Разве этак такие дела делаются? А теперь вот: "одной не миновать".

Он сердито прошелся по комнате (а в ней-то всего было два шага) и снова остановился перед Грибоедовым. А тот очень медленно снял стекла, протер их кусочком кожи (это заняло у него с полминуты), снова надел их и полез в карман за трубкой.

— Двум смертям! — сердито повторил Ермолов, иронически смотря на него. — Смертям! Рано, рано, сударь, о смерти думаете! Под пулями стоять научился, а вот когда... — он не окончил и сердито махнул рукой с рыжеватыми пальцами. — Смертям! — фыркнул он и полез в карман за пакетом. — Ты видишь, что мне Чернышев-то пишет: "взять со всеми бумагами". Бу-ма-га-ми! Ведь вот оно что. Ну, так слушай: я тебе могу дать не более двух часов или даже того менее на сборы. А после этого, не обессудь, приду арестовывать со всей сворой. Так ты приготовься. — Он помолчал и спросил: — Слышишь?

— Слышу, Алексей Петрович, — тихо ответил Грибоедов. Вынул из кармана трубку, повертел в руках и опять сунул в карман. — Слышу.

— Иди! — скомандовал отрывисто, как на плацу, Ермолов. — Торопись! Видишь, уже смеркается.

Грибоедов пошел, и тут Ермолов окликнул его снова.

— Стой, слушай, — сказал он каким-то совершенно новым тоном, таким, какого Грибоедов никогда от него не слышал. — Ты иди там, почистись хорошенько, а о прочем не беспокойся. Здесь они, — он ткнул на дверь, — ничем у меня не поживятся. Не на такого напали! Я тебе аттестат дам наипохвальнейший, а если кого сюда о тебе пришлют разведывать,

так ты сам знаешь, все через мои руки проходит. Так, что ли?

— Так, Алексей Петрович, — тихо ответил Грибоедов.

— Ну вот. А голову-то не вешай, не вешай. Не надо голову-то вешать. Я, брат, сам при Павле в ссылках побывал. А вот видишь, — он слегка пожал плечами с генеральскими погонами. — Ничего еще не видно! Они там, в Санкт-Петербурге, от страха все с ума сошли. Ну и хватают всех без разбору. Не чаю, чтоб ты чего-нибудь особого наболтал или — того паче — наделал. А все остальное чепуха! Как пристали, так и отстанут. На следствии-то не болтай и никому не верь. Они одно слово сказали, десять соврали. Ихнее дело такое. Ну, да ты и сам знаешь. Ученого учить... есть такая пословица, — он положил ему руку на плечо. — Обнимемся, что ли, на прощанье? — спросил грубо и конфузливо.

Он взял Грибоедова обеими ладонями за виски, поглядел ему в глаза и несколько раз крепко, по-солдатски, поцеловал в самые губы. Потом резко ладонью оттолкнул его голову.

— Ну, иди, иди, — сказал он торопливо, с трудом переводя жесткое дыхание. — Иди, делай, что тебе надо. — И, не удержавшись, добавил: — Рес-пу-бли-ка-нец.

Грибоедов сидел на полу над чемоданом и жег бумаги. Его казачок Александр Грибов стоял рядом. Дверь комнаты они не заперли. Кроме Грибоедова, здесь квартировало еще пять или шесть человек из свиты, но он не боялся, что им помешают. Конечно, старик не отпустит от себя никого весь вечер. Грибоедов вытащил из чемодана большую синюю тетрадь, со всех сторон исписанную незнакомым ему почерком, — сборник стихотворений вольнолюбивых, — слегка перелистал ее и сунул в огонь.

Пламя охватило рукопись всю сразу, и она зашумела, как ветвь под ветром.

И на торжественной могиле
Горит без надписи кинжал, —

вспомнил он неожиданно для самого себя.

— Что-с? — спросил Сашка Грибов с пола.

— Ничего, — недовольно ответил ему Грибоедов. — А чего ты тут расселся, как лягушка? Смотри, вон пепел из печи на пол падает.

— Никак нет-с, — сказал Сашка беззаботно и принялся сгребать его с пола прямо ладонями.

Стоя над огнем, Грибоедов думал.

"...Рылеев, Кюхельбекер, Одоевский, Якубович, а кто еще? Может быть, Пушкин? Странно, однако, что Уклонский (так, кажется, зовут этого лысача) не назвал его фамилии. А вот Кюхля-то, Кюхля-то... — Грибоедов усмехнулся. — И тут ведь остался верен себе. Как это рассказывали: выбежал на площадь во всем штатском, без шубы, в каком-то лапсердачке да еще, кажется, в мягкой шляпе с загнутыми краями — это в декабре-то месяце! — и стрелял в великого князя. Или нет, не стрелял, только хотел стрелять, в дуло набился снег, так, что ли, рассказывал Уклонский? А вот Каховский, тот выстрелил в петербургского генерал-губернатора, когда тот подскакал к мятежникам, и убил его. Лошадь пронесла по Сенатской площади его мотающееся в седле тело. Что теперь сделают с ним и с Кюхлей? А с Рылеевым, с Сашей Одоевским?"

А с ним что?

Вот он сидит на полу с Сашкой Грибовым, жжет бумаги и ждет, когда за ним придут.

— Сашка, что ж ты смотришь, тетеря? — сказал он сердито и подбросил ногой пачку. — Кидай, кидай их в огонь!

Пламя охватило всю кипу и бурно листало страницы. Он стиснул голову. Голова у него слегка кружилась. Он чувствовал себя, как после стакана хорошего вина.

Сашка пугливо смотрел на него.

— Ничего, ничего, Сашенька, — сказал Грибоедов, — ничего, милый. Твое дело нехитрое: знай, подкладывай. — Он выхватил из чемодана рукопись, просмотрел ее, и рука его задержалась с секунду над огнем. — В огонь, в огонь все!

"Что не берет железо, то берет огонь", — так учили его в детстве. Пусть горит и эта тетрадь, недописанная трагедия о 1812 годе. Он встал с пола, отряхнулся всем телом и зашагал по комнате. Сашка на корточках сидел около печки и перемешивал пепел. Желтые отблески плясали по его лицу.

И внезапно он всхлипнул. Грибоедов обернулся к нему. Сашка плакал. Крупная слеза стыдливо и медленно ползла по его щеке.

Грибоедов подошел и поверх стекол заглянул ему в лицо.

— Что это ты, Александр? — спросил он озадаченно.

— Ничего-с, — грубым голосом ответил Сашка, отвернулся от Грибоедова и вдруг не выдержал: — Как же-с, Александр Сергеевич? Писали, писали, ночи при огне сидели, и все вот куды! — он кивнул головой на пылающую печку.

Грибоедов сверху вниз посмотрел на его лицо.

— Ничего, Сашенька, — сказал он медленно, подыскивая слова. — Пусть горят. Вот видишь ли, Саша, есть такая птица. То есть, я говорю, в сказке есть такая птица...

Ему вдруг ужасно захотелось рассказать Сашке о Фениксе — чудесной птице, которая сжигает сама себя, чтоб потом опять молодой и сильной возродиться из пепла, но он сейчас же подумал, что, пожалуй, не подберет подходящих слов, усмехнулся и ничего не сказал больше.

— А что нам эта птица? — сказал натуженно Сашка с пола. — Нам эта птица вовсе ни к чему-с даже. Грех вам, Александр Сергеевич, так со мной разговаривать. Ведь не маленький. Вот сколько с вами езжу.

Маменька-то, маменька-то что скажут, — продолжал он, размазывая слезы кулаками.

Грибоедов сморщился, как от зубной боли и, стараясь больше не слушать ничего, что говорит ему Сашка, и ни о чем не думать, сунул в печку все, что осталось на полу, и пошел в угол.

— А меня увезут, Сашенька, — сказал он оттуда.

— Мы это понимаем, Александр Сергеевич, — ответил Сашка и вдруг ожесточенно зачастил: — Вот вас остерегали хорошие господа не водиться с этим хлебопекарем (так Сашка за глаза называл Кюхельбекера), вы не слушались, а вот теперь, ну что же, очень просто: и увезут и посадят. Вон про Питер небось какие страсти рассказывают: из пушек по людям палили. Ведь это что такое!

— Ты прибери, Сашенька, комнату, — сказал миролюбиво Грибоедов из угла. — Сейчас они... — он вынул часы и посмотрел на них, ему оставалось минут пять-десять, не больше, — сейчас они придут.

Он подошел к окну и прильнул к нему лицом. Прикосновение чистого холодного стекла было как глоток ключевой воды.

Горы стояли за окном синие и далекие. Воздух был лиловым и густым. Кусты, деревья, большие круглые камни около дома казались погруженными в него, как в густой сироп. Где-то вдалеке на склоне неподвижно стояло два тусклых желтых пятна.

Горели костры.

Грибоедов вздохнул и провел рукой по волосам.

В дверь постучали, сначала тихо, одним пальцем, а потом, секунду спустя, еще раз, уже громко и требовательно.

—Войдите, — сказал громко и спокойно Грибоедов, не отходя от окна.

Вошел знакомый офицер Мищенко с бумагой в руках, и позади него два солдата с примкнутыми штыками.

Грибоедов стоял не двигаясь и ждал, когда он заговорит.

ЕРМОЛОВ – ДИБИЧУ

Имею честь препроводить господина Грибоедова к Вашему превосходительству. Он взят таким образом, что не мог истребить находящихся бумаг, но таковых при нем не найдено, кроме весьма немногих, кои при сем препровождаются.

28 генваря 1826 года.

К. Н. БАТЮШКОВ

К 150-летию со дня рождения

Трагическая судьба поэтов пушкинского времени общеизвестна. Пушкина убили. Лермонтова убили. Веневитинов сгорел от скоротечной чахотки, полученной им во время допросов в 3-м отделении. Странная и неожиданная смерть Дельвига прямо связывается современниками с именем жандарма Бенкендорфа. Полежаев, разжалованный в солдаты, был приговорен к "прогнанию сквозь строй" и умер в полковом госпитале. Декабрист Марлинский погиб от пули на Кавказе, куда он был послан царем "для выслуги". Кюхельбекера сгноили в Сибири...

Среди этого синодика задушенных, подведенных под пули, вогнанных в чахотку поэт Батюшков стоит как бы особняком. Он родился 29 мая (н.ст.) 1787 года, а умер в июне 1855, прожив 68 лет. Однако, если раскрыть эти календарные даты, смерть поэта придется отнести к самому началу двадцатых годов. Именно в 1821 году Батюшков пишет из Италии следующие полные горечи строчки:

"Оставляю поле словесности не без признательности к тем соотечественникам, кои... удостоили одобрить мои слабые начинания. Обещаю даже не читать критики... ибо я совершенно и, вероятно, навсегда покинул перо автора."

С этого года, точно выполняя свое обещание, поэт пропадает не только из литературы, но даже из жизни. Следующие 34 года, проведенные им в различных психиатрических лечебницах Европы от Зонненигтейна (Саксония) до Петербурга — пустое место в его творчестве.

”Мы все рождены под каким-то бедственным созвездием, — писал Вяземский А.И.Тургеневу, узнав о болезни поэта, — черт знает как живем, к чему живем...”

Черт знает как живем, к чему живем! — в этом была трагедия не только одного Батюшкова. Как похоже это трагическое восклицание на скорбные слова Пушкина: ”И дернул меня черт родиться в России с умом и талантом!”

В чем сила яркого дарования Батюшкова?

”Стих его не только слышим уху, но видим глазу: хочется ощущать извивы и складки его мраморной драпировки,”— пишет Белинский, подводя итоги творчества поэта и в этом восторженном отзыве заключается бесспорное право Батюшкова на внимание современности.

В пышную, торжественную, но тяжелую, неуклюжую поэзию первого десятилетия Х1Х века Батюшков входит как смелый новатор, как яростный поборник тщательной работы над словом. Он не просто пишет стих, он отшлифовывает его как кусок мрамора. Хорошо знакомый с итальянским языком, он смело берется за труднейшую и, как тогда считали, невыполнимую задачу — перенести в русский стих, привыкший к неуклюжему величию державинских од, мелодичность и выразительность итальянского языка.

Батюшков не только оттачивал свой стих так, что тот лился как мелодия флейты, но заставлял русский язык, привыкший к славянизмам и варварским усечениям, звучать всей причудливой гаммой итальянской речи.

— ”Звуки итальянские, что за чудотворец этот Батюшков!” — восторженно писал Пушкин на полях одного из его стихотворений. И со стороны мелодики стиха, выпуклости образов у Батюшкова, действительно, нет соперников в поэзии пушкинского периода, кроме самого Пушкина.

Пушкин шел за Батюшковым и по следам Батюшкова. Он почти полностью проделал весь путь его творческого развития, но для этого ему понадобилась не целая жизнь, как Батюшкову,а всего 3—4 года. Все стихотворения Пушкина, относящиеся к так называемому лицейскому периоду (1814—1818), связаны с именем Батюшкова. Батюшков не был великим поэтом, но взволнованное дыхание его стиха с гениальной силой зазвучало именно в мощных ямбах Пушкина. После Батюшкова приход Пушкина был уже исторически подготовлен.

До какой музыкальности доходит в своих стихах Батюшков, видно из следующего стихотворения, которое А.Майков ошибочно приписывал Пушкину:

О, память сердца! Ты сильней
Рассудка памяти печальной
И часто сладостью своей
Меня в стране пленяешь дальной.
Я помню голос милых слов,
Я помню очи голубые,
Я помню локоны златые
Небрежно вьющихся власов.
Моей пастушки несравненной
Я помню весь наряд простой,
И образ милый, незабвенный
Повсюду странствует со мной.
Хранитель — Гений мой — любовью
В утеху дан разлуки он:
Засну ль? приникнет к изголовью
И усладит печальный сон.

”Это еще не пушкинские стихи, — писал Белинский, — но после них уже надо было ожидать не каких-либо стихов, а именно пушкинских.”

В огромной работе по созданию русского литературного языка — после Пушкина Батюшкову следует отвести одно из первых мест.

В. КЮХЕЛЬБЕКЕР

Среди пятерых казненных и ста двадцати сосланных в Сибирь декабристов Кюхельбекер занимает особое место. С пистолетом в руке, без шубы, в одном легком пиджаке штатского покроя он вышел 14 декабря на Сенатскую площадь и оставался на ней до тех пор, пока поток картечи не смел с торцов мостовой всех участников восстания.

Таким и зарисовал его Пушкин.

Кюхельбекер в одном пиджаке, в высокой шляпе стоит около какого-то полного человека в медвежьей шубе и в вытянутой руке его зажат пистолет.

Среди военных мундиров молодых вождей декабрьского восстания длинная неуклюжая фигура Кюхельбекера в штатском платье должна была выделяться особенно резко. Несомненно, что правительственная реляция, сообщавшая наряду с именами военных о "штатских в фраках гнусного вида", подразумевала кроме Рылеева, Якубовича и Каховского и этого высокого голубоглазого человека.

Поведение Кюхельбекера на площади отличается особой решительностью. Пистолет, зарисованный Пушкиным, отнюдь не был в руках Кюхельбекера декоративной деталью. Из него он стрелял в генерала Воинова, из него метился в великого князя Михаила Павловича, и только случайность (снежная пробка, закупорившая дуло пистолета) спасла "рыжего Мишку" от серьезного ранения, если не смерти. Николай, державший в руках все нити декабрьского восстания и прекрасно разбиравшийся во взаимоотношениях и удельном весе его вожаков, был особо беспощаден к Кюхельбекеру. В решении верховной уголовной комиссии после Рылеева, Пестеля, Каховского, Бесту-

17–1949

жева-Рюмина, Муравьева-Апостола — приговоренных к четвертованию, — идет имя Кюхельбекера, приговоренного к повешению.

Император "смягчил" приговор: четвертование он заменил виселицей, виселицу пятнадцатилетней каторгой. Под эту монаршию "милость" подпал и Кюхельбекер. Николай издали зорко следил за судьбой своей жертвы, он сменил Кюхельбекеру одиночку Шлиссельбургской крепости одиночкой Динбургской, Динбургскую крепость заменил Ревельской, Ревельскую Свеаборгской. Десять лет просидел Кюхельбекер в одиночках, потом его сослали в Сибирь.

Даже после смерти Кюхельбекера (в 1846 году в Тобольске) запрет, лежавший на его имени, не был снят царской цензурой. Первое собрание его стихотворений вышло в Берлине в 1862 году, второе тоже в Германии (Веймар) в 1880. В царской России Кюхельбекер не издавался.

Только сейчас издательство "Советский писатель" готовит издание сочинений Кюхельбекера под редакцией Ю. Н. Тынянова и это издание, по существу, будет первой попыткой донести до читателя творчество одного из наиболее убежденных и последовательных декабристов.

* * *

Обреченность Кюхельбекера была слишком ясна всем его друзьям еще задолго до событий 1825 года.

"Какой-то неизбежный фатум управляет твоими делами и твоими талантами, совращая те и другие с правильного пути", — писал Кюхельбекеру его друг В. И. Туманский.

Истинная причина жизненных и литературных неудач Кюхельбекера не находила себе правильного объяснения ни среди его друзей, ни в среде его немногочисленных биографов.

Дело, конечно, сводится не к той жизненной инертности и неприспособленности, на которые так

согласно указывали ближайшие современники Кюхельбекера. Издательские планы Кюхельбекера вовсе не были абсолютно неудачны. Четырехтомный альманах "Мнемозина", выпущенный в свет совместно с В. Одоевским, очень скоро нашел огромный резонанс в обществе и пользовался большим авторитетом.

Пушкин, не разделявший всех убеждений автора альманаха, свидетельствует о крупном успехе теоретических статей Кюхельбекера. "Никто не стал опровергать его, потому ли, что все с ним согласились, потому ли, что никто не надеялся сладить с атлетом, по-видимому, сильным и опытным", — пишет он в статье, посвященной выходу альманаха.

Стих Кюхельбекера, несмотря на его некоторую архаичность и тяжеловесность, высоко оценивался Грибоедовым, Одоевским, Катениным. Причина же "фатума" заключается прежде всего в той огромной революционной принципиальности, которая выделяла Кюхельбекера еще в среде лицеистов. В отличие от литературного и жизненного окружения молодого Пушкина, от его умеренных и либеральных друзей, в разных степенях близких к декабризму и кидающихся от конституционной монархии к умереннейшей буржуазной республике, — Кюхельбекер всегда занимал самые левые для своего времени позиции.

Еще в лицейские годы он взялся за составление словаря, как бы предназначенного для молодого революционера. Кюхельбекер строил этот словарь на выписках из высказываний революционно настроенных умов Европы. Наибольшее количество таких выписок взято из сочинений ученика Руссо — швейцарского политического деятеля Ф. Р. Вейса, примкнувшего к французской революции, весьма популярного среди декабристов своими освободительными идеями. Много раз Кюхельбекер цитирует и Шиллера.

Вот, например, цитаты, взятые Кюхельбекером для определения в его словаре понятий "рабство" и "свобода".

"...Для гражданина самодержавная верховная власть дикий поток, опустошающий права его..." (Шиллер).

"...Нет середины: или терпи, как держат тебя на веревке, или борись, но с твердым намерением разорвать петлю..." (Вейс).

В 1820 году друзья устраивают Кюхельбекеру поездку за границу. Он едет секретарем богатого и влиятельного графа Нарышкина. Едва добравшись до Парижа, он объявляет о цикле лекций, которые намеревается прочесть всем любопытным парижанам. Кюхельбекер рассказывает о древнейших временах Руси, говорит о падении Новгорода, о деспотизме московского государства, о задавленной вольности, о вечевом колоколе, который будил граждан ночью, напоминая о их гражданском долге перед родиной.

На другой день русское посольство потребовало от Нарышкина уволить Кюхельбекера. Приказ посольства был исполнен в точности. Кюхельбекер уехал в Россию, чтобы через пять лет вместе с Рылеевым и Каховским выйти на Сенатскую площадь.

Яростный революционер, в жизни Кюхельбекер не менее яростно ломал и застывшие литературные нормы русского стиха. Он последовательно и успешно борется с влиянием Байрона, объявляя его однообразным и противопоставляя ему Шекспира с его огромным творческим диапазоном, с его гениальной лепкой характеров, поразительной остротой и силой анализа. Впоследствии почти текстуально повторил его Пушкин, отдавая решительное преимущество Шекспиру и столь же решительно развенчивая Байрона.

В своем четырехтомном альманахе, а впоследствии во всем своем творчестве Кюхельбекер выступает как убежденный проповедник народности, указывая на "нравы, отечественные летописи и сказания народные как на лучший, чистейший и вернейший источник нашей словесности".

В этом же альманахе находится первое в литературе изображение живого Пушкина, находящегося в то время в ссылке.

Кто же в сей священный час
Один не мыслит о покое,
Один, в безмолвие ночное
В прозрачный сумрак погружась,
Над морем и над звездным хором
Блуждает вдохновенным взором?
Певец, любимец россиян.
В стране Назонова изгнанья
Немым восторгом обуян,
С очами, полными мечтанья,
Сидит на крутизне один,
У ног его шумит Евксин...

(Мнемозина, 1824 г., 3 часть)

Пушкин всю жизнь помнил своего опального друга. Он посылал ему в Сибирь книги, хлопотал (и не без успеха) об издании его трагедии "Ижорский". Если верить Плетневу, Пушкин обессмертил своего друга в "Евгении Онегине", изобразил под видом Ленского — крикуна, мятежника и поэта — трагическую и страстную фигуру Кюхельбекера.

”И Я БЫ МОГ...”

Заметки и размышления писателя

”И я бы мог как...” — остальное зачеркнуто. Но первое из зачеркнутых слов читается ясно: ”шут”. А вот дальше неразборчиво: не то ”на”, не то ”ви”, но скорее, кажется, ”ви”.

И я бы мог как шут ви (сеть?)

Внизу нарисована виселица, и не какая-нибудь, а именно лета 1826 года, с телами декабристов. Так осенью того же года Пушкин попробовал зримо представить себе, что с ним случилось бы, окажись он год назад на Сенатской площади с четырьмя из этих пяти.

А затем на листе портреты, портреты... Две пляшущие фигуры, не то чертики, не то еще какая-то паутинная нежить. И опять — ”И я бы мог...”. Там, где лист уже обрывается, еще одна виселица. Нарисованы стена крепости, вал, закрытые ворота, даже крючки на виселице, каземат, а на крыше каземата что-то когтистое, железное, крючковатое — не поймешь что. Скудный смертный пейзаж... (см. Т.Г.Цявловская, ”Рисунки Пушкина”, 1970, стр. 89).

”В этом проклятом заговоре замешаны также знаменитые писатели Пушкин и Муравьев-Апостол. Первый — лучший стихотворец, второй — лучший прозаик. Без сомнения, оба поплатятся головой”, — сообщал 3 февраля 1826 года своему корреспонденту известный чешский просветитель Франтишек Челяковский. Он спутал С. И. Муравьева-Апостола с его отцом И. М. Муравьевым-Апостолом, написавшим ”Путешествие по Тавриде”, но грозящую опасность уловил очень точно.

Споры о степени участия Пушкина в движении декабристов, о готовности поэта выехать в Петербург в декабрьские дни 1825 года возникли среди исследователей много позже. Одни говорили: "Вряд ли можно сомневаться и в самом намерении Пушкина выехать в Петербург. Что же касается целей этого (пушкинского. — *Ю. Д.*) выезда, то всякое решение этого вопроса более или менее гипотетично" (сб. "Пушкин. Итоги и проблемы изучения". М.—Л. 1966, ч.2, гл.2, написанная В. Вацуро). Или: "Можно говорить об очень большой близости Пушкина к декабристам. Но абсолютно нет никакой надобности разукрашивать эту близость легендами" (А. Шебунин, "Пушкин и декабристы" — в сб. "Пушкин. Временник пушкинской комиссии", М. — Л. 1937, Т. 3). (Под "легендой" подразумевались доводы тех пушкинистов, которые доказывали, что Пушкин был посвящен в заговор и ждал вызова своего друга декабриста Пущина.)

Другие исследователи — М. Нечкина, Д. Благой, А. Эфрос, М. Цявловский, Т. Цявловская-Зингер — "легенду" защищали (иные из них, правда, с некоторыми оговорками). Вот об этой "легенде" и о том, легенда ли она, я и хочу высказать свои соображения. Уж много лет я интересуюсь проблемой, и несколько раз она поворачивалась ко мне все новыми и новыми гранями.

Начну с одного очень личного воспоминания. В 30-х годах мне некоторое время пришлось работать в Республиканской библиотеке Казахстана (тогда она не именовалась еще Пушкинской). Таких, как я, там работало человек пять, и называли нас "индексикаторами". Книг было много, как потом оказалось, больше полумиллиона. Все они лежали в подвале в шершавых, плохо сбитых ящиках, и когда эти ящики расколачивали, а книги вытаскивали и складывали в общие кучи, уже невозможно было определить, что тут и откуда. Книги привозили из Оренбурга,

Уральска, Петропавловска, Семипалатинска, из прочих старых сибирских и исконных русских городов. И каких только библиографических диковинок — фолиантов, залитых золотом, томов и томиков в пожелтевшей свиной коже — я тогда не насмотрелся!

Но особенно мне запомнились две книги. Они лежали на самом дне не ящика, а древнего бурого сундука. Кто-то (очевидно, сам хозяин) завернул их в толстый лист серой оберточной бумаги да еще обвязал и запечатал сургучом. Сургуч я сорвал и, надо сказать, разочаровался — ничего особенного, как мне показалось, под ним не было: третья часть альманаха Кюхельбекера "Мнемозина" за 1824 год (книга хотя не частая, но и не так уж редкая) и увесистый томик карманного формата, в крепком кожаном переплете — Фенелон, "Путешествие Телемака", Париж, 1703 год. Книгу эту не только много читали, но и штудировали. Отметки штудий остались на каждой странице, а кое-где и над каждой строкой. Но дело было не в этих не совсем понятных маргиналиях, а в надписи на первой чистой странице: "Книга, оставленная А. Пушкиным в Уральске. И. Кастанье". Об Иосифе Антоновиче Кастанье, ученом секретаре оренбургской архивной комиссии и преподавателе французского языка в оренбургской гимназии, я в то время был уже начитан и наслышан порядком. Был он человек ученый, деятельный, осмотрительный, и к его свидетельству стоило прислушаться. Во всяком случае, его статьи и описания древних памятников вошли во все монографии об архитектуре Средней Азии. И все же этого явно недостаточно, ведь никаких обоснований для своего утверждения — вот эта самая книга принадлежала действительно Пушкину и он оставил ее в Уральске — Кастанье не приводил. Да и то сказать — для чего бы Пушкин взял в такую дальнюю и трудную дорогу (поездка по пугачевским местам) "роман классический, старинный, отменно длинный, длинный, длинный, без романтических затей"? Ведь он, конечно, успел ему осточертеть даже

не "в садах Лицея", а в отрочестве в Немецкой слободе. С этого "Путешествия" да еще с басен Лафонтена и начиналось на Руси обучение дворянских и чиновничьих детей французскому языку. Правда, Пушкин многие годы обостренно интересовался судьбой, пожалуй, первого героического неудачника и подвижника русской литературы — В. Тредиаковского. Главным же, или, во всяком случае, самым известным, трудом почтенного Василия Кирилловича была "Тилемахида" — переложение романа Фенелона русским гекзаметром. Именно из этой огромной, осмеянной современниками и потомками эпопеи другой великий подвижник — Радищев взял эпиграф уже для своего "Путешествия из Петербурга в Москву". А Радищевым Пушкин интересовался по-особенному ("Вслед Радищеву восславил я свободу"). Так что какие-то мотивы перелистать Фенелона Пушкин, наверное, имел. К тому же не исключено и такое: на одной из почтовых станций какое-нибудь помещичье дитя или гувернантка (страницы хранят как будто бы ее пометки) просто забыли книгу, а Пушкин ее подобрал, а потом так же легко оставил, может быть, на следующей же почтовой станции. Все это теперь никак не установишь, и я, подумав, просто отнес книгу в отдел редких изданий: "Вот вам книга начала восемнадцатого века, возьмите". Так и простоял этот томик почти сорок лет и стоял бы еще сто, если бы в юбилейные дни о нем не вспомнили как еще об одной вновь обретенной книге из библиотеки Пушкина. Что ж, так тому и быть.

Но вот альманах "Мнемозина", когда я стал его листать, потряс меня по-настоящему. (Увы! Кажется, он скоро пропал, как изрядное количество книг из этой библиотеки.) На титульном листе его была надпись: "Кондратию Федоровичу Рылееву от Кюхельбекера". Чернила желтые, орешковые, буква "р" с фигурным завитком, я хорошо запомнил это, — так писали люди конца XVIII века. Никаких пометок в книге не было. Но зато было другое, не менее для

меня волнующее: на страницах остались округлые, зеркально вывернутые отпечатки букв. Кто-то поспешно сунул в книгу исписанный листок с еще не просохшими чернилами. Что это могло быть? Письмо? Стихи? Но чьи же? Кюхельбекера? Рылеева? Другого неизвестного владельца книги примерно того же времени? (Те же старые желтые чернила.)

Обо всем этом теперь можно только гадать, вернее — фантазировать. Вот я и фантазировал. Вряд ли исчезнувший листок принадлежал Кюхельбекеру. Кто же подносит книгу с испачканными листами? Да и в самой скоропалительности чувствуется что-то внезапное, стремительное, тревожное. Я долго старался как-то осмыслить эти дужки, скобки, черточки, смотрел их и так и в зеркало, показывал другим, но ничего, конечно, не вышло.

В альманахе "Мнемозина" во всех трех частях печатались стихи Пушкина, Кюхельбекера, Вяземского, стихов Рылеева там не было, он в то время издавал "Полярную звезду" и в других альманахах, понятно, не участвовал. Но кто-то, кому попала в руки эта книга (по всей вероятности, тот же Кастанье), связал ее бечевкой с другой — со старинным французским томиком, который, как он верил, принадлежал Пушкину.

Так сошлись для меня три имени — Пушкин, Кюхельбекер, Рылеев.

В годы моего детства на школьных тетрадях почти всегда помещались портрет Пушкина, лира, лавровый венок либо памятник на Тверском бульваре: "Слух обо мне пройдет по всей Руси великой". А в первые же месяцы революции уже появились другие тетради — с репродукцией картины Ге. "Пушкин в Михайловском читает Пущину "Кинжал" — так по крайней мере объяснили нам при раздаче этих тетрадей. Почему же именно "Кинжал"? Ведь стихотворение написано намного раньше встречи друзей в Михайловском, и Пущин скорее всего знал его в ту

пору наизусть. Да и лица у друзей не особенно подходящие для такого чтения — они же улыбаются. Но нет, мы, первоклассники, твердо знали, что Пушкин читает именно стихи, напечатанные на последней странице тетради:

Лемносский бог тебя сковал
Для рук бессмертной Немезиды,
Свободы тайный страж, карающий кинжал,
Последний судия позора и обиды.

Бессмертная Немезида! Карающий кинжал! Последний судия позора! — какие строки! Какие пронзительные, обнаженные, прямые, действительно кинжальные слова! В них так и чувствуется скрежетание стали. После уроков мы бежали на Тверской бульвар и видели Пушкина с красным флагом в руке. И все вокруг него было красным — ленты, лозунги, цветы. Так и вошел в нашу ребячью память, в мою, да и, пожалуй, всего поколения десятых годов, кануна революции, этот железный ряд — Пушкин, Рылеев, Пестель, Муравьев-Апостол. Все они были молодые, красивые, смелые и потому, конечно, погибли. Но так оно и должно было быть — в такой гибели не было ничего страшного! Только возвышенное! Только героическое! И этим героическим и жертвенным был освещен весь образ молодого Пушкина.

А однажды на школьный вечер (это было в самый разгар Февральской революции) к нам приехал писатель (кажется, А. Толстой), и он долго говорил о Пушкине и революции, а потом сказал: "В своей потаенной тетради Пушкин нарисовал виселицу и написал: "И я бы мог как шут..." Пушкин поехал, чтобы присоединиться к декабристам, и, вероятно, тоже погиб бы в петле, если бы ему дорогу не перебежал заяц". И это для нас тоже не было страшным, потому что, во-первых, "где, скажи, когда была без жертв искуплена свобода?". А потом, этот заяц. Ну к чему он тут? Заяц для нас был фигурой очень несерьезной.

Но через несколько месяцев пришел очередной номер ”Огонька”. Целую страницу в журнале занимала статья ”Таинственная находка на о. Голодай в Петрограде”:

”В ”Биржевых ведомостях” недавно появилось сообщение секретаря Общества памяти декабристов В. В. Святловского о знаменательной находке на о.Голодай в Петрограде могил и останков 5 казненных декабристов, находке, произведенной 1 июня с. г. во время прокладки водопроводных труб около одного строящегося на острове здания. На глубине двух с лишним аршин, позади двухэтажной каменной постройки, на дне узкой и отчасти покрытой водой траншеи видны были остатки трех полуразрушенных гробов, стоящих близко друг от друга.

2 июня В. В. Святловский, руководивший работами, нашел на протяжении 2 1/8 саженей остатки пяти гробов, из которых только один, первый из найденных, представлял собой нечто более цельное.

В этом лучше сохранившемся гробе были видны останки человека, одетого в форму полковника александровского времени.

Хорошо сохранились части мундира, эполеты, а также обувь на ногах. Обращало внимание большое количество ремней, найденных на ногах трупа, что давало возможность предположить, что ноги трупа были связаны этими ремнями.

Все останки были тщательно собраны и сфотографированы.

Все собранные предметы, тщательно уложенные в лучше сохранившийся гроб, а равно остатки остальных гробов перенесены в подходящее помещение и сданы на хранение. Возникает серьезный вопрос, представляют ли пять найденных гробов действительно гробы пяти казненных декабристов.

Местонахождение могил совпадает с рассказами старожилов и литературными данными. Военная форма первого гроба относится к 20-м или 30-м годам прошлого столетия...

По определению военных, бывших на раскопках, найденная форма могла принадлежать только штаб-офицеру, полковнику или подполковнику. Похороненный был положен в гроб без оружия, а самые гробы были поставлены, по-видимому, в общую могилу, не в обычном порядке, чересчур тесно один к другому, не так, как обычно хоронят на православных кладбищах..." ("Огонек", 1917, № 23).

А на другой странице — черная длинная фотография: разваливающийся гроб без крышки, а из него торчит что-то очень страшное, неприбранное хозяйство нагой и наглой смерти. Треугольная шляпа, лохмотья мундира, длинные берцовые кости, еще что-то такое же. Чьи это останки? Действительно ли пяти повешенных? За это как будто говорит и количество гробов, их именно пять, и место захоронения, и обстоятельства, ему сопутствующие. Но как в гробу оказался мундир? Если осужденных вешали в мундирах, то почему мундир только один? Военных-то было трое! А ремни на скелете — они что такое? Разве ноги смертников связывают ремнями? Но тогда чьи же это гробы? Кого здесь, черт возьми, тайно задушили, а потом так же тайно зарыли? Какое еще злодеяние скрыто в окаянной земле скотского кладбища острова Голодай? Говорят, тут была тайная канцелярия.

Никто никогда мне так и не ответил на эти вопросы. В те времена было не до того, а потом и саму публикацию забыли настолько прочно, что я не встречал людей, которые ее помнят.

"И теперь нам точно неизвестно место погребения пяти казненных декабристов. Считается, что вдова Рылеева точно знала место могилы. Это остров Голодай, т. е. северная оконечность Васильевского острова... Мысли о декабристах, то есть об их судьбе и конце, неотступно преследовали Пушкина... Я не допускаю мысли, чтоб место их погребения было для него безразлично... Скорбный интерес, который проявлял к этому месту Пушкин, трижды описывая

его... позволяет нам предположить, что и он искал безымянную могилу на Невском взморье" — так писала А. А. Ахматова в заметках, помеченных январем 1963 года.

И еще: "Над виселицами... Пушкин пишет: "И я бы мог как шут", а в стихах к Ушаковой — "Вы ж вздохнете ль обо мне, если буду я повешен?..", как бы присоединяя себя к жертвам 14 декабря. А безымянная могила на Невском взморье должна была ему казаться почти его собственной могилой..."

"Как шут..." — эти потешные крошечные фигурки в колпачках и лоскуточной одежде еще в мое время продавали на вербное воскресенье. Они висели в ряду на длинной палке, и когда их дергали за нитку, они корчились. Вот так бы мог висеть и Пушкин. В мои школьные годы я думал именно так. Потом, в студенческие, стал рассуждать иначе — мог бы, да заяц помешал.

Так вот об этом зайце.

"Известие о кончине императора Александра Павловича и о происходивших вследствие оной колебаний по вопросу о престолонаследии дошло до Михайловского около 10 декабря. Пушкину давно хотелось увидаться с его петербургскими приятелями. Рассчитывая, что при таких важных обстоятельствах не обратят строгого внимания на его непослушание, он решился отправиться туда; но как быть? В гостинице остановиться нельзя — потребуют паспорта, у великосветских друзей тоже опасно — огласится тайный приезд ссыльного. Он положил заехать сперва на квартиру к Рылееву, который вел жизнь не светскую, и от него запастись сведениями. Итак, Пушкин приказывает готовить повозку, а слуге собираться с ним в Питер; сам же едет проститься с тригорскими соседками. Но вот на пути в Тригорское заяц перебегает через дорогу; на возвратном пути из Тригорского в Михайловское ему — еще заяц! Пушкин в до-

саде приезжает домой".* В этот рассказ верили. С. А. Соболевский, опубликовавший его в № 7 "Русского архива" за 1870 год, был близким другом Пушкина и, конечно, многое о нем знал.

Имеются и варианты: Пушкин поехал в Петербург после известия о смерти императора затем, чтобы "узнать положительно, сколько правды в носящихся разнородных слухах, что делается у нас и что будет...". Ехал он, "рассчитав время так, чтобы прибыть в Петербург поздно вечером и потом через сутки же возвратиться. Поехали; на самых выездах была уже не помню какая-то дурная примета... Вдруг дядька указывает с отчаянным возгласом на зайца, который перебежал впереди коляски дорогу" (В. И. Даль, в записи Л. Майкова).

О зайце рассказывает также соседка Пушкина по имению М. И. Осипова. И наконец, со слов брата Пушкина Льва Сергеевича (Левушки) декабрист Н. И. Лорер (только тут заяц превращается в попа).

"Да не было тут зайцев! Не было ни зайцев, ни попов, — говорил нам, студентам Высших государственных литературных курсов, а короче — ВГЛК, почтеннейший и ученейший Мстислав Александрович Цявловский и, распаляясь, даже повышал голос. Видимо, ему эти несчастные зайцы изрядно потрепали нервы. — Не требовался тут косой — вот его и не было. Не собирался Пушкин покидать Михайловское".

Мстислав Александрович — львиная грива, безукоризненной чистоты воротничок, суровый взгляд

---

* Соболевский явно ошибался: Александр 1 "скончался в одиннадцатом часу утра 19 ноября 1825 г. Сейчас же после смерти его из Таганрога выехали с извещением об этом два фельдъегеря — один в Варшаву... другой в Петербург...

Первый фельдъегерь приехал в Варшаву в седьмом часу вечера 25 ноября, второй прибыл в Петербург в двенадцатом часу дня 27 ноября. От этих фельдъегерей по пути их следования и узнавали неофициально о смерти Александра. Таким образом до Пушкина весть о смерти царя легко могла дойти 29 ноября" ("Литературное наследство", № 16—18, стр.1170).

из-под очков и добрейшее сердце — о Пушкине знал буквально все. На его лекциях мы действительно испытывали эффект присутствия, чувство того, что Пушкин вот здесь, рядом с нами. Но в этом случае мы с ним не согласились.

Хорошо, а свидание Пушкина с Пущиным в январе 1825 года в Михайловском, спрашивали мы его, а стихи, посвященные Пущину, — "Мой первый друг, мой друг бесценный..."? Так неужели и тогда Пушкин не спросил друга о тайном обществе? Ну да, Пушкин спрашивал, а Пущин отмалчивался. Причины объяснил сам Пущин: "Я уже не решался вверить ему тайну, не мне одному принадлежавшую, где малейшая неосторожность могла быть пагубна всему делу. Подвижность пылкого его нрава, сближение с людьми ненадежными пугали меня". Но ведь эти строчки относятся еще к первым послелицейским годам, с тех пор прошло шесть лет, и каких лет! Разве Пушкин не доказал на деле свою стойкость? "Нет! — отвечал Мстислав Александрович. — Ничего он не доказал. Разговор о тайном обществе, конечно, возник, но тут же и кончился. Да и Пушкин ни на чем особенно не настаивал, ведь он сам сказал: "Впрочем, я не заставляю тебя, любезный Пущин, говорить. Может быть, ты и прав, что мне не доверяешь. Верно, я этого доверия не стою, — по многим моим глупостям". И тогда — "молча, я крепко расцеловал его". Вот и все. При чем же тут заяц? Нет тут места для зайца!"

А примерно года через два Мстиславу Александровичу пришлось свое мнение переменить. Он присутствовал при разборе остатков вновь открытого пушкинского архива. В нем были бумаги хозяйственные — доклады управителей, — бумаги исторические (указ Пугачева, копия рапорта о взятии Арзрума, счета, планы). Судьба этой части архива примечательна: его теряли, снова находили и снова он проваливался сквозь землю, чтобы возникнуть через десятки лет на том же самом месте. В старом поме-

щичьем доме на станции Лопасне, куда наследники свезли остатки пушкинских бумаг, было много закоулков, кладовых, чердаков, и в них десятилетиями нарастали завалы старой мебели, бумаг, портфелей, ящиков, сундуков. В одном из таких ящиков лет восемьдесят хранились тетради истории Петра. И хотя были они никому не ведомы, но нельзя сказать, чтобы их уж вовсе не трогали. Отнюдь! "Наталья Ивановна Гончарова (племянница Натальи Николаевны Пушкиной) обратила внимание на исписанные листы, которыми была устлана клетка с канарейками... Тогда только и был обнаружен в кладовой затерявшийся ящик, оказавшийся в уже раскрытом виде, с бумагами, погрызенными мышами, и очевидно, что часть их уже уничтожена". Можно себе представить, что профессору Попову, которому первому пришлось заниматься "Историей Петра", не очень легко дались приведенные выше строчки. Ведь часть тетрадей "Истории Петра" так и пропала, разойдясь по канареечным клеткам да мышиным гнездам. Но как бы там ни было, портфель с пушкинскими документами наконец обретен (в третий раз!) за шкафом, а документы принесены в Государственную библиотеку имени Ленина.

Документов много. Сто. Были они завернуты в затрепанную газету такой ветхости, что, увидев ее на следующий день, Цявловский гневно воскликнул: "Ведь так он мог и все растерять по дороге!" Принес эти бумаги внук поэта Григорий Александрович Пушкин, человек уже немолодой, но отлично сохранившийся. Его военная выправка видна даже на фотографии. Как и его отец, он пошел по военной линии и в свое время дослужился до подполковника. В советское время работал в отделе рукописей Библиотеки имени Ленина, но в самих рукописях разбирался, видимо, мало. "Здесь автографов деда нет, —

сказал он. (Их оказалось семь.) — Здесь всякие хозяйственные бумаги". Гвоздем этих хозяйственных бумаг был следующий документ:

"БИЛЕТ

> Сей дан села Тригорского людям: Алексею Хохлову росту 2 арш. 4 вер., волосы темнорусые, глаза голубые, бороду бреет, лет 29, да Архипу Курочкину росту 2 ар. 3 1/2 в., волосы светло-русые, брови густые, глазом крив, ряб, лет 45, в удостоверение, что они точно посланы от меня в С. Петербург по собственным моим надобностям, и потому прошу господ командующих на заставах чинить им свободный пропуск. Сего 1825 года, ноября 29 дня. Село Тригорское, что в Опоческом уезде.
>
> Статская советница Прасковья Осипова"*.

Ниже сургучная пушкинская печать. Профессора посмотрели, подивились, как мог такой неинтересный хозяйственный документ из соседнего поместья попасть к Пушкину. Зачем? Документы отослали в Ленинград, и тут Л. Б. Модзалевский сделал ошеломляющее открытие: "Слушайте, да это же пушкинский автограф!" Тогда и выяснилось, что билет с начала до конца написан Пушкиным и что голубоглазый темно-русый двадцатидевятилетний крепостной помещицы Осиповой Хохлов Алексей и есть он сам, Пушкин. А Архип тоже числится в ревизских сказках. Это тот садовник Архип Кириллович Курочкин, которого Пушкин посылал в Тригорское за забытыми там пистолетами, когда за ним прискакал нарочный от псковского губернатора ("Пистолеты-то, маленькие такие, были в ящичке, жандарм увидел и го-

---

* Сб. "Звенья", т. 3—4, 1934, стр. 146.

ворит: "Господин Пушкин, мне очень ваши пистолеты опасны". "А мне какое дело? Мне без них никуда нельзя ехать; это моя утеха" — из рассказов кучера Пушкина Петра Парфенова).

Очень примечателен и сам билет. Почерк, которым он написан, и подпись, которой скреплен, словно принадлежат разным людям. И каждый из них имеет свою биографию и социальную принадлежность. Билет будто писал человек уже пожилой, учившийся в прошлом веке на медные деньги. Он изрядно поднаторел в написании поминаний, здравий, а потом был забран помещиком к себе. Строчки ровные, четкие, каждая буковка отдельно, в буквах много воздуха и просветов, поэтому текст читается сразу, без напряжения. Это образцовое графическое клише конца XVIII века. Буквы стоят прямо, как солдатики, все они одинаковой высоты и ранжира. И в каждой строчке количество их примерно одинаково. Такие почерки вырастали из полуустава. Они рождались в деревне, а не в городе. Уже гоголевский Акакий Акакиевич писал иначе, его почерк формировался в столичных канцеляриях. У Акакия Акакиевича буквы были неровные, каждая имела свой особый характер, у него были даже свои любимицы, а заглавные представляли собой подлинное произведение графологического искусства.

Почерк, которым выписан билет, совсем не таков. Этим почерком писались метрические записи, копии указов, ревизские сказки, всякое другое, выходящее из усадебной канцелярии. Выше чем в казенную палату или в крайнем случае к губернатору такие бумаги не поднимались. Надо было обладать исключительным графическим мастерством, чтобы создать документ такой безукоризненной подлинности, в сущности — портрет крепостного писца.

Подпись же помещицы Осиповой сделана другим,

острым пером. Это почерк человека иного происхождения. В нем свобода, легкость, плавность. В нем властность сочетается с мягкой женственностью. Это действительно высокая рука госпожи.

Когда был использован этот билет? В начале декабря? Или ближе к дням восстания?

Обратимся снова к ”Запискам” Пущина. ”Он спросил меня: что об нем говорят в Петербурге и Москве? При этом вопросе рассказал мне, будто бы император Александр ужасно перепугался, найдя его фамилию в записке коменданта о приезжих в столицу, и тогда только успокоился, когда убедился, что не он приехал, а брат его Левушка”. Тут слова стоят в превосходной степени, если царь перепугался, то ”ужасно”, если успокоился, то только тогда, когда узнал, что Пушкин, да не тот.

Конечно, если поэт так определял отношение императора к нему, надеяться ему было совершенно не на что. Его самовольный приезд в Петербург повлек бы за собой неизбежный арест.

Но вот ”властитель слабый и лукавый” умер. К этому времени, очевидно, и относится рассказ кучера Пушкина П. Парфенова. В город Новоржев Пушкин ездил? — спросили его. ”Не запомню, ездил ли, — ответил старый кучер. — Меня раз туда посылал, как пришла весть, что царь умер. Он в эвтом известии все сумневался, очень беспокоен был, да прослышал, что в город солдат пришел отпускной из Петербурга, так за эвтим солдатом посылал, чтоб от него доподлинно узнать”.

А раз умер, ссылка Пушкина приобретает несколько иной характер. Ведь он был сослан без предъявления обвинения, по личному приказу императора. Поэтому его появление в Петербурге вряд ли, считал он, будет расценено властями как большой проступок. К тому же новый монарх приходит всегда с милостивыми манифестами и прощениями. А легче всего простить того, кто и не был формально осужден.

Вот так, по-видимому, можно объяснить этот загадочный документ из помещичьего архива*.

Но что же дальше? Пушкин проехал несколько верст и вернулся. Почему? Действительно, заяц дорогу перебежал? Поп встретился? Еще случилось что-нибудь подобное? Вполне, вполне вероятно. Любая примета или препятствие могли повернуть Пушкина назад. Ведь ехать он решил сгоряча, на авось, поддавшись первому впечатлению, без всякой твердой уверенности в успехе (и верно, Жуковский через несколько месяцев спустя решительно советовал Пушкину в Петербург не рваться, а смиренно сидеть и писать: "Пиши Годунова и подобное: они отворят дверь свободы").

А раз так, то вспомним Шекспира: "Соломинкой перегградите путь мне, и я послушно поверну назад".

Вот заяц и явился такой соломинкой. Пушкин возвратился и больше Михайловское не покидал.

Он чего-то ждал. Чего же?

В 1930 году, за четыре года до опубликования билета, М. В. Нечкина в статье "О Пушкине, декабристах и их общих друзьях" впервые процитировала несколько строк из неизвестных тогда записок де-

---

* Противники "легенды", считая, что документ не имеет отношения к поездке Пушкина, обычно ссылаются на статьи А. Шебунина и С. Гессена. Но что касается Шебунина, то он, не приводя каких-либо новых доводов, просто ссылается на статью С.Гессена "Пушкин накануне декабрьских событий 1825 года". Гессен же исходит из ложной предпосылки, что Пушкин подделал только самый текст билета. Но в том-то и дело, что подпись помещицы, как и весь текст, фальсифицированы тоже Пушкиным. Эта подпись даже нисколько не напоминает обычную роспись П. А. Осиповой, которую Пушкин, конечно, знал. "Даже ей (Осиповой — *Ю.Д.*), обычно посвящаемой поэтом в его дела, Пушкин не решился доверить свой план", — пишет М. А. Цявловский. Следует отметить также, что Гессен, высказывая свои соображения, не скрывал того, что цель подделки ему совершенно не ясна ("Каково же происхождение этого таинственного документа? Мы сейчас не беремся дать исчерпывающий ответ").

кабриста Н. И. Лорера. "Однажды он (Пушкин — *Ю. Д.*) получает от Пущина из Москвы письмо, в котором сей последний извещает Пушкина, что едет в Петербург и очень бы желал увидеться там с Александром Сергеевичем. Недолго думая пылкий поэт мигом собрался и поскакал в столицу". А дальше речь идет опять о дурных приметах. "Не будет добра", — сказал Пушкин и вернулся ("Каторга и ссылка", 1930, № 4). И вот, похоже, в наших руках оказывается тот момент истины, исходя из которого можно себе представить, что случилось на самом деле. Возвратимся снова к запискам Пущина. При их свидании в Михайловском сначала разговор друзей заходит о том, как Пушкин очутился в деревне. Тема эта личная, интимная и для Пушкина не особенно приятная. Пущин почувствовал, что касается чего-то очень щекотливого, и расспросы прекратил. Наступила пауза. Тогда Пушкин и спросил, что о нем говорят в Петербурге и Москве. И, не дожидаясь ответа, сам стал рассказывать, как он перепугал императора. Вывод для обоих был ясен: в это царствование ни в Петербурге, ни в Москве Пушкину не бывать. А царю еще и пятидесяти нет, он здоров и бодр. На этом разговор, видимо, и прервался, чтоб через несколько часов возникнуть уже на совсем другом уровне.

Пущин не мог не почувствовать настроение друга. А друг метался, нервы у него были натянуты до предела, каждую минуту можно было ожидать срыва, катастрофы. От этого тревожного времени сохранилось письмо П. А. Осиповой Жуковскому. Сначала она пишет о том, что воздух Пскова не менее опасен для поэта, чем воздух Сибири. А потом: "Он теперь так занят своим положением, что без дальнего размышления из огня вскочит в полымя, а там поздно будет размышлять о следствиях. Все здесь сказанное не пустая догадка" ("Голос минувшего", 1916, № 1). Известен также следующий очень показательный факт: А. Н. Вульф собирался летом 1825 года за границу и предлагал Пушкину увезти его с собой под

в и д о м с л у г и. "Дошло ли бы у нас дело до исполнения этого юношеского проекта, — говорил впоследствии А. Вульф, — не знаю; я думаю, что все кончилось бы на словах". А сам Пушкин в письме к Вяземскому так определял свое положение и самочувствие: "Друзья обо мне хлопочут, а мне все хуже и хуже. Сгоряча их проклинаю, обдумаю, благодарю за намерения. А все же мне не легче".

Всего этого Пущин, конечно, не мог не заметить. Вот тогда, опасаясь катастрофы, он, видимо, и открыл Пушкину очень многое. Не беда, мог сказать он, что царь здоров и бодр, не беда, что он еще не стар. Есть люди, есть дело. Свобода придет только с этой стороны. А пока Пушкин должен смирно сидеть в Михайловском и ждать письма от Пущина. А получив его, немедленно выезжать. Видимо, при свидании была названа и явка — квартира Рылеева в доме Русско-американской компании. Именно этим и объясняется такое до сих пор не совсем понятное место в рассказе Соболевского: "Положил сперва заехать к Рылееву на квартиру и от него запастись сведениями". Но почему же именно к Рылееву? Разве не было в Петербурге того же Дельвига? Рылеев "вел жизнь не светскую", — объясняет Соболевский. Объяснение, надо сказать, довольно натянутое. Близко с Рылеевым Пушкин знаком не был. Наоборот, сначала была ссора, едва не закончившаяся дуэлью, затем примирение. Вот и все.

Но, конечно, Пущин Рылеева назвал не зря. Ведь именно Пущин принял его в тайное общество, то есть как бы являлся его патроном. А что они говорили о Рылееве, Пущин того не скрывает: "Пушкин просил, крепко обнявши Рылеева, благодарить его за патриотические "Думы".

Но точно ли за "Думы"? Ведь Пушкину они никогда не нравились. И он вслух говорил об этом. Весть об этом дошла и до самого Рылеева. "Пушкин суд мне строгий произнес и слабый дар как тайный недруг взвесил" ("К А. А. Бестужеву"), — писал он

тогда же. Так что благодарить за "Думы"Пушкин никак не мог. Это выглядело бы насмешкой. Не ошибся ли Пущин?

Нет, не ошибся. Он только сказал полуправду. И вот тут, кажется, приоткрылся крошечный краешек завесы, которую Пущин набросил на это свидание. В самом деле, как он мог забыть то, что привез письмо от Рылеева? А в нем, между прочим, были такие строки: "Я пишу к тебе: т ы, потому что холодное в ы не ложится под перо; надеюсь, что имею на это право и по душе и по мыслям. Пущин познакомит нас короче... ты около Пскова: там задушены последние вспышки Русской свободы..." Очень знаменательные слова. (И опять Псков!) Познакомить двух поэтом короче? Как же? Конечно, открыв Пушкину душу и мысли Рылеева! Так как же Пущин мог забыть про такое письмо? Все это очень странно. Разгадка, видимо, в том, что, если вдуматься, внешне простодушные "Записки" окажутся далеко не так просты и откровенны. Они ларчик со скрытыми пружинами. Назовем тому два примера.

В послелицейские годы Пущин на Невском встречает отца поэта очень расстроенным. Сергей Львович рассказывает Пущину о какой-то новой "проказе" сына, да притом такой, что, пишет Пущин, "я задумался, и, признаюсь... мысль о принятии Пушкина (в тайное общество — *Ю. Д.*) исчезла из моей головы". Так что же это была за "проказа"? "Право, не помню, что именно, да и припоминать не хочется". В этом и все дело. Не хочется Пущину припоминать и еще очень многое. А когда избежать этого трудно, он отделывается неясной скороговоркой, разобраться в которой не всегда возможно. Так, несколько туманных фраз о швеях, работающих в няниной комнате ("Я тотчас заметил между ними одну фигурку, резко отличавшуюся от других, не сообщая, однако, Пушкину моих заключений... Впрочем, он тотчас прозрел шаловливую мою мысль, улыбнулся значительно... все было понятно без всяких слов"), поро-

дили в 20-х годах обширную полемику между В. В. Вересаевым и П. Е. Щеголевым. Эту особенность ”Записок” Пущина надо принять во внимание. ”Молча, я крепко расцеловал его; мы обнялись и пошли ходить: обоим нужно было вздохнуть”. Так после чего вздохнуть? После молчания или разговора? Если после разговора, то получает разъяснение следующий неожиданный и малопонятный до сих пор факт: брат Пушкина Лев, по словам отца, ”в день ареста Рылеева поехал к нему... понесли лошади... и когда добрался к Рылееву — тот был уже арестован и квартира его запечатана”. Так рассказывала историку М. И. Семевскому младшая дочь тригорской помещицы М. И. Осипова. Теперь вспомним, что о письме Пущина мы знаем тоже только по рассказу этого самого Левушки. Таким образом, получается ряд — А. Пушкин, Пущин, Рылеев, Лев Пушкин. По-видимому, Пущин назвал адрес Рылеева как место встречи не только Александру Сергеевичу, но и брату его.

Что произошло дальше, рассказывает М. И. Осипова. Был обычный зимний вечер в Тригорском. Барышни и хозяйка сидели за чайным столом. Пушкин стоял у печки. Печки в помещичьих домах тогда делались высокие, жаркие, с синевато-белыми изразцами, около них хорошо было греться. О чем-то говорили. И вдруг хозяйке сообщили, что неожиданно приехал повар Арсений. Он был послан в город по хозяйственным нуждам и вот вернулся ”в переполохе”. Позвали, стали расспрашивать. ”Арсений рассказал, что в Петербурге бунт, что он страшно перепугался, всюду разъезды и караулы, насилу выбрался за заставу, нанял почтовых и поспешил в деревню. Пушкин, услыша рассказ Арсения, страшно побледнел. В этот вечер он был очень скучен, говорил кое-что о существовании тайного общества, но что именно — не помню. На другой день — слышим, Пушкин быстро собрался в дорогу и поехал; но, доехав до погоста Врева, вернулся назад. Гораздо позд-

нее мы узнали, что он отправился было в Петербург, но на пути заяц три раза перебегал ему дорогу". Таково единственное свидетельство очевидца, записанное, правда, через сорок лет после события.

Источники других рассказов — Даля, Соболевского, Лорера (со слов Льва Пушкина) — нам неизвестны. Одноглазого садовника Архипа никто не догадался опросить. А кучер Петр Парфенов явно про поездку ничего не знал. Он при расспросах рассказал обо многом, но не об этом. Так что, очевидно, первоисточником всех рассказов является сам Пушкин.

А потом все было спутано и свалено в одну кучу. Зайцев оказалось много, и они все бежали и бежали. И между ними затерялся тот единственно достоверный заяц, который перебежал дорогу Пушкину, видимо, в самом начале декабря, когда поэт, убедившись в смерти императора, сгоряча решил появиться в Петербурге, чтоб узнать, "что делается и что будет", и через сутки вернуться в Михайловское.

Другие зайцы были уже ни к чему. Как и сама поездка. Пушкин ждал письма. Письмо не приходило. Пущин смог выехать в Петербург только 5 декабря (а просьбу подал 27 ноября). Дорога занимала два-три дня, значит, в Петербург он прибыл не раньше 8 декабря. И вряд ли сразу же сел за письмо. А между тем обстановка складывалась очень смутная. В стране возникали и множились странные слухи. Говорили о насильственной смерти императора. В десятых числах декабря слухи просочились за границу. Пушкин продолжал ждать письма, а оно все не приходило. И наконец произошло то, о чем рассказывает Осипова, — приехал повар и рассказал об уже разгромленном восстании: везде караулы, по городу разъезжают конные. Ехать в Петербург в такой обстановке было бы, конечно, не только безумием, но и простой глупостью. И Пушкин остался. Вот тогда скорее всего и пришло столь запоздавшее и уже бесполезное письмо Пущина. Пушкин начинает готовиться к обыску и аресту. Он сжигает как само пись-

мо, так и свои записки ("...я принужден был сжечь свои записки. Они могли бы замешать имена многих, может быть, умножить число жертв. Не могу не сожалеть о их потере, я в них говорил о людях, которые после стали историческими лицами, с откровенностью дружбы или короткого знакомства"). От этого тревожного времени остались рисунки — колонка профилей декабристов на большом листе бумаги: Пущин, Дельвиг (он ведь тоже мог быть замешан), Кюхельбекер (несколько раз) и Рылеев. Вот он — самый ощутимый след разговора. Он и свой портрет было поставил в этот ряд, но потом зачеркнул — может, потому, что он ему не удался, а может, оттого (догадка А. Эфроса), что понял: ему еще нет места в этой скорбной колонке, оно еще где-то впереди.

В первую годовщину казни он так и напишет:

Нас было много на челне:
. . . .
Пловцам я пел... Вдруг лоно волн
Измял с налету вихорь шумный...
Погиб и кормщик, и пловец! —
Лишь я, таинственный певец,
На берег выброшен грозою.
Я гимны прежние пою
И ризу влажную мою
Сушу на солнце под скалою.

И на другом уже листе нарисует виселицу: "И я бы мог..."

Вот эта так резко оборванная и наполовину зачеркнутая строка и есть, по-моему, главный, решающий аргумент во всем споре.

Из нее, как мне кажется, вытекает, что Пушкин был действительно посвящен своим рассудительным и спокойным другом во все и ждал только вызова. Иначе как же можно толковать эту строку над виселицей?

В самом деле — за что поэт мог ожидать себе петлю? За вольнолюбивые стихи? Но с тех пор прошло пять лет и он уже поплатился за них ссылкой.

А еще за что? Ведь все эти годы он прожил далеко от Петербурга, то есть от политической и общественной жизни страны, и ни в чем антиправительственном не участвовал.

Рисунок — виселица и надпись над ней сделаны год спустя после восстания, между 9 и 28 ноября 1826 года. Понятно, что первые дни после событий Пушкин мог ждать всякого. Но вот прошли и следствие, и суд, и казнь пятерых, состоялся уже разговор с Николаем I. Значит, очень уж обдуманна, очень уж отстоялась в душе эта строчка над виселицей с телами пяти повешенных. Она итог пушкинских раздумий о своей судьбе и о возможном ее повороте.

Вот те выводы, которые, как мне кажется, можно сделать из всего изложенного. Конечно, все это только гипотезы. Но ведь и построения противников ”легенды” гипотетичны не в меньшей степени.

Во Всесоюзном музее Пушкина в Ленинграде хранится странная реликвия — пять сосновых щепок в деревянном ящике. Раньше он был запечатан печатью Вяземского, а к крышке прикреплена записка: ”Праздник Преполовения за Невою. Прогулка с Пушкиным. 1828 год”. Ящик как ящик, черный, с выдвижной крышкой на пазах, и щепки — не очень большие, свинцово-серые, такие же, как и всякая старая древесина. Откуда они? При чем тут Пушкин? При чем праздник Преполовения? Кое-что, но далеко не все поясняет письмо Вяземского жене: ”Сегодня праздник Преполовения, праздник в крепости. В хороший день Нева усеяна яликами, ботиками и катерами, которые перевозят народ. Сегодня и праздник ранее, и день холодный... Мы садились с Пушкиным в лодочку... пошли бродить по крепости и бродили часа два... Много страшного и мрачного и грознопоэтического в этой прогулке по крепостным валам и по головам сидящих внизу в казематах”.

Так что это — просто щепки, подобранные где-то в Петропавловской крепости? Память о месте, и все? Пять щепок — пять казненных? Но почему тогда

ящик был запечатан, а записка к нему так невразумительна: "Прогулка с Пушкиным"?! На эти вопросы сейчас невозможно ответить.

В том же году на черновиках "Полтавы" Пушкин снова рисует тела повешенных. Крупные, детальные рисунки. Казненные изображены со связанными руками, перекрученными шеями. Самые страшные из рисунков этой серии. "Можно сказать, что Пушкин, вернувшись вторично к зарисовке, пытался во второй раз еще нагляднее и острее представить себе жуткую картину мучительной смерти тех, с кем он был бы вместе во время восстания" (А. Эфрос).

И все-таки что означают эти пять стесанных топором щепок в наглухо запертом ящике? Неужели Пушкин и его друг имели какие-то основания полагать, что они завалялись здесь еще с тех времен, когда срубалась и ставилась эта проклятая виселица — одна на пятерых? С тех пор прошло ведь два года! Но, может быть, может быть...

В тревожные дни зимы 1826 года Пушкин рисовал не только декабристов, но и тех, кого он считал к ним причастными.

Баратынского он тогда не рисовал и ни в какую связь с событиями 14 декабря его не ставил. Набросал он его только через три года на тексте черновика "Полтавы", там же, где нарисовал фигуры повешенных. Набросал быстро, резко и, как всегда, мастерски. "Все эти черты, которые мы видим на разных портретах Баратынского, кажутся собранными как в фокусе в прекрасном, смелом наброске Пушкина" (Т. Г. Цявловская, "Рисунки Пушкина", 1970).

О политических взглядах Баратынского мы почти ничего не знаем, только, пожалуй, то, что он писал вольнолюбивые стихи и так называемые агитационные песни. О них упоминалось на заседании Верховного уголовного суда (сб. "Декабристы и их время", 1951). Но ни стихи, ни эти песни до нас не дошли.

"Сблизившись с Александром Бестужевым и Рылеевым, — пишет профессор К. В. Пигарев, — он при-

нимает участие в сочинении вольнолюбивых куплетов, которые распевались на ужинах деятелей Северного общества. Возможно, что отрывком одной из таких песен и является приписываемый Баратынскому экспромт о свободе:

С неба чистая, золотистая
К нам слетела ты,
Все прекрасное, все опасное
Нам пропела ты!"

Впервые эти стихи появились в 1869 году в книге "Материалы для биографии Е. А. Баратынского" и были там представлены как "несколько стихов, дошедших до нас по воспоминаниям на эту тему (свобода — *Ю. Д.*), внушенную ему (Баратынскому — *Ю. Д.*) на одном из ужинов этой молодежью".

Мне кажется, что существует и еще отрывок из этих стихов. Находится он в романе М. Воскресенского "Черкес":

Слетела к вам
С небесного я свода.
Пропела вам
Я песню о свободе!

Это как будто голос самой "девы Эвмениды", музы вольности святой. Но тогда ведь это не экспромт, а отрывок из стихотворения.

Фамилия М. И. Воскресенского сегодняшнему читателю ровно ничего не говорит, но в начале 40-х годов и до половины 60-х прошлого века он был очень расхожим плодовитым романистом охранительного толка. Роман, о котором идет речь, как литературное произведение стоит очень малого. Но ту общественную среду (кружки), в которой зарождались подобные песни (эти куплеты "визгливым" голосом поет один из участников кружка), он определяет довольно точно. Так как роман вышел в свет в 1839 году, хочется из довольно обширного описания, посвященного этим кружкам, процитировать несколько строк. Говорится о молодежи: "Все они принадлежали к тому жалкому, а более и смешному классу пустых

людей, которых именно можно назвать недовольными. В 1825 году в Москве белокаменной больше, нежели когда-нибудь, развелось этой вредной, хотя и ничтожной моли в светлом хитоне, одевавшем всеобщее благоденствие, но теперь выбитой из него совершенно жезлом благоразумных распоряжений высшего начальства..."

"Все эти крикуны... по большей части молодые выскочки, не занимавшие по ограниченности своих понятий никаких должностей в обществе... любили говорить свысока, рассуждать важно о вещах, совершенно недоступных для их понятий, толковать о правлениях..."

"Кричать — разумеется, впрочем, не во весь голос и не везде, — что у нас в России все глупо, гадко, стеснено, что не дают простора уму юного поколения, что Аристократия давит плебеизм и что нет ни дороги, ни поощрения ничему изящному, высокому, героическому!"

Это, конечно, говорится не о самих декабристах, а о кругах молодежи, близкой к ним. Участь мятежников их миновала только случайно, а может быть, и вообще не миновала.

Есть один потрясающий документ, с которым мы познакомились совсем недавно.

"При возмущении 14 декабря 1825 года убито народа:

Генералов	1
Штабофицеров	1
Оберофицеров разных полков	17
Нижних чинов лейбгвардии	
Московского	93
Гренадерского	69
Екипажа гвардии	103
Конного	17
во фраках и шинелях	39
женского пола	9
малолетних	19
черни	903
Итого	1271 человек".

(”Заметка чиновника Департамента полиции С. Н. Корсакова о количестве жертв при подавлении восстания декабристов 14 декабря 1825 г.”, хранящаяся в отделе рукописей Библиотеки имени Ленина. Комплект открыток ”Рукописные памятники”. М. 1975, открытка № 13.)*

Эта тысяча и есть та ”светлая моль”, как ее назвал Воскресенский, и такова, значит, была цена ”Благоразумных распоряжений высшего начальства”.

В 1930 году, то есть сорок пять лет назад, М. В. Нечкина написала статью ”О Пушкине, декабристах...” по неисследованным архивным материалам. Начиналась статья так: ”О Пушкине и декабристах исписаны горы бумаги. Кажется, об этом уже ”все” сказано”.

А совсем недавно, в 1975 году, появилась статья И. Ф. Иоввы ”Новые материалы о связях Пушкина с декабристами” (”Русская литература”, 1975, № 2).

Новые материалы. Все новые и новые... Поистине бесконечная тема. Такая же неисчерпаемая, как и сам Пушкин!

---

* Этот документ ошеломляет своей неожиданностью. Число жертв в нем оценивается в десять раз больше, чем считалось до сих пор. Но вот что писала М. В. Нечкина: ”Официальному подсчету жертв 14 декабря (около 80 трупов на площади) верить, конечно, нельзя... Евгений Вюртембергский говорит о ”нескольких сотнях...”. Сенатор Дивов говорит о 200 человеках. Бутенев, склонный преуменьшать бедствие, пишет о том, что ”молва” насчитывала до ”300 душ убитых и раненых...” (М. В. Нечкина, ”Движение декабристов”, т.2; 1955). Вспомним также свидетельство Н. Бестужева: ”С первого выстрела семь человек около меня упали: я не слышал ни одного вздоха, не приметил ни одного судорожного движения — столь жестоко поражала картечь на этом расстоянии... когда я оглянулся — между мною и бегущими была уже целая площадь и сотни скошенных картечью жертв свободы” (”Декабристы”. Л. ”Художественная литература”. 1975, т. 2, стр. 338. Николай Бестужев, ”14 декабря 1825 года”).

ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ НА УЛИЦЕ ГОГОЛЯ

1 глава

В начале апреля 1937 года в один из ярчайших, сверкающих стеклянным блеском дней — как же отчетливо я его помню! — вдруг определилась моя судьба. Я наконец, как тогда говорили, "насмелился" — явился в редакцию альманаха "Литературный Казахстан" и положил перед секретарем редакции свой первый опыт — "роман" "Державин". Оба эти слова приходится сейчас поневоле брать в кавычки — в моем "романе" было не то 40, не то 45 страниц, на большее меня тогда не хватило.

Редакция альманаха "Литературный Казахстан" помещалась в дощатом доме в половине небольшой комнаты, узкой и вытянутой, как коридор.

В Алма-Ате тогда стояло много вот таких времянок — не то дач, не то бараков — остатков первого строительства конца 20-х годов, тех лет, когда сюда перенесли столицу Казахстана.

Город бурно рос — не так давно был закончен Турксиб, развертывалось огромное строительство, на пустырях и казачьих полигонах вдруг возникали жилые корпуса, правительственные учреждения, многоэтажные школы; были построены здания телеграфа, Совнаркома, Дом наркоматов (в нем помещалось их сразу несколько), гостиница, управление Турксиба, но и старые лубяные коробочки тоже стояли нетронутыми. Так вот именно в такой постройке рядом со сберкассой наискосок парка и собора и размещалась редакция.

В первой половине комнаты сидела профсоюзная

19–1949

секретарь-машинистка и печатала свои сводки, во второй же половине, у окна, выходящего на двор, висела написанная от руки картоночка: ''Редакция литературно-публицистического альманаха''. В то время его штат состоял из ответственного редактора М. Каратаева, ответственного секретаря Ивана Бочарникова и заведующего прозой Гайши Шариповой. Вот эти три человека и делали альманах. Я до сих пор вспоминаю о каждом из них с чувством глубокой благодарности. Ведь именно они поочередно держали в руках мой первый литературный труд — те сорок листков, перепечатанных на машинке, которые я с великой развязностью (и со смешком даже) принес и выложил на стол.

— Что это? — спросил ответственный секретарь Ваня Бочарников, листая мою немощную рукопись.

Был он полный, добродушный, по виду рыхловатый, а на самом деле очень крепкий и, как мне сейчас кажется, походил на Пьера Безухова, или — еще ближе (хотя и специальнее) — на изобретателя первого электромагнитного телеграфа Шиллинга, как его однажды нарисовал Пушкин.

— Роман? — он поглядел на меня с некоторым недоумением. — Так тут же всего сорок страниц? Это о чем же?

Я сказал.

— О юности поэта Державина.

— Как Державина?

Тут он вскинул кудластую голову, и в его добродушных и умных глазах так и запрыгали смешинки. Несколько секунд он неподвижно смотрел на меня, и я как-то физически ясно, отчетливо почувствовал, что вертится у него на языке: ''А собственно, на кой дьявол нашему альманаху нужен ваш ''Державин''? Может быть, при этом он вспомнил еще и оду ''Фелица'', стихи, посвященные Екатерине: ''Богоподобныя царевна киргиз-кайсацкия орды...'', оду ''Бог'', еще что-нибудь подобное и совсем стал в тупик. Роман о таком поэте для альманаха, выходящего в Алма-Ате?

Но он ничего не сказал больше, а только открыл первую страницу и стал ее читать. Прочитал до конца, заглянул в середину, затем в конец и громко прочитал мою фамилию.

— Это ваш подвал о государственной библиотеке в "Казахстанской правде"? — спросил он.

Подвал был мой, и крови тогда он мне испортил преизрядно. Я написал о великих книжных богатствах иностранного отдела библиотеки и о том, как они небрежно и бесхозяйственно хранятся. Главный упор, конечно, был именно на книжные богатства (первые издания Галилея, Эразма Роттердамского, Торквато Тассо), а о небрежении и о недостаточной укомплектованности отдела (работала там только одна заведующая, да и то "безъязычная") говорилось мимоходом, в последней строке. Но ученый секретарь библиотеки — дама злая, неблагожелательная и насмерть чем-то перепуганная — все равно сочла эту несчастную строку за "выпад" и произвела ряд острых демаршей — и по телефону, и лично. Я однажды уже довольно подробно и правдиво рассказал об этом, и повторяться мне не хочется. Как бы там ни было, скандал получился изрядный. Дама бегала, звонила, грозила, но никаких результатов не добилась. Подписывал тогда газету и дельный редактор — Николай Александрович Верховский, талантливый очеркист и вообще человек во всех отношениях незаурядный, — но оскомину эта история набила у меня на всю жизнь. Я тогда серьезно приуныл, и тут меня очень поддержал тот же Николай Александрович.

— Ну-ну, голову не вешать! — бодро прикрикнул он, встретив меня в коридоре. — Хорошо, правильно написали, о статье говорят — значит, толк будет! Дело вы сделали! А то, что эта самая бегает — ну так это же... — он широко отмахнулся, засмеялся и прошел — невысокий, широкоплечий человек лет тридцати пяти в роговых очках и мягкой шляпе. Через много-много лет мы повстречались с ним в редакции

"Нового мира". Он печатал там серию очерков о целине (великолепную по своей деловитости и живости прозу), и при встрече этой оказался все тем же собранным широкоплечим добродушным человеком. Встретившись, мы сразу заговорили о прошлом, об Алма-Ате, о "Казправде" тех лет, об этой моей статье и, наконец, о его сотруднике — незабвенном и незаменимом заве отдела культуры Михаиле Воронцове — о нем мне сейчас придется говорить — и тогда обоим нам стало вдруг так хорошо и тепло, что как-то само собой мы решили этот вечер провести вместе. Я предложил пойти в дом, где у меня в ту пору было крепкое и давнее знакомство. Он согласился. Мы пошли. По дороге я его спросил: не удивительно ли, что гениальные пушкинское строки "мне грустно и легко — печаль моя светла, печаль моя полна тобою" прежде всего относятся не к неведомой нам "ей", а к прошлому поэта. Ведь вот нам тоже сейчас грустно и легко, и не поймешь даже, отчего так. Он неопределенно хмыкнул и перевел разговор на другое. А через час вдруг заговорил об этом же сам.

— Не знаю, — сказал он медленно и задумчиво, — сам думал об этом "грустно и легко", но... не знаю! Вот после того, как вышел на пенсию, я стал набрасывать что-то из прошлого. Не мемуары, нет, бог с ними! Куда мне! А так — всякие заметочки о нашем городе, революции, тогдашнем комсомоле. Ведь городок-то, в каком я родился, был крошечный — Галич, — а сколько я в нем всего пережил! Так ведь жаль, если все это пропадет-то! И вот представляете, пишу и испытываю то же самое — грустно и легко. А потом я подумал, что это, пожалуй, законно — легко, потому что вспоминаю молодость, ну а грустно оттого, что она прошла, и вот я старик, пенсионер, седина... Может быть, так, а?

Он сидел за столом, тянул рислинг и смотрел мне в лицо умными, живыми и ничуть не печальными глазами. Мир праху вашему, Николай Александрович,

талантливый писатель, прекрасный редактор и просто добрый, честный человек! Потом я узнал кое-что из его прошлого. Воспоминания Верховский все-таки написал, и они появились уже посмертно в 8 номере "Нового мира" за 1970 год под заглавием "В лесном Заволжье". Во вступительной заметке к публикации редакция писала: "Николай Александрович Верховский (1902—1969) — публицист и очеркист — хорошо знаком читателю "Нового мира".

...Он прошел нелегкий путь и в жизни и в журналистике. Комсомолец с 20-го года и с 1925 — коммунист, А. Верховский сохранил до последнего своего часа молодость духа, по-хорошему беспокойный характер, не дававший ему — уже далеко не молодому человеку — безучастно взирать на недостатки, равнодушно проходить мимо нового, замечательного в нашей действительности.

Незадолго до своей кончины, словно чуя ее, Николай Александрович побывал в родных верхневолжских краях, где прошла его боевая комсомольская юность, и принес в редакцию свои очерки.

Печатая эти его посмертные очерки, редакция отдала должное его памяти, памяти литератора-большевика".

"Люблю страну отцов — родную землю, горжусь богатой родословной своего исконно русского древнего Галича", — так начиналась эта его последняя статья. А у Алма-Аты, в которой он жил и работал, не было богатой родословной, и поэтому он просто любил ее — и все! Как любил и знал весь Казахстан целиком. Ведь в родном городе Галиче он (и то как бы предчувствуя конец) побывал только перед самой смертью, а в Казахстане прожил последние сорок лет и всегда возвращался к нему, как бы далеко ни забрасывала его судьба (а она к нему не была доброй!). Но тогда, летом 1937 года, я знал только то, что редактору пришлось из-за меня не то с кем-то разговаривать, не то даже писать какую-то объяснительную, и поэтому, когда Бочарников спросил о

статье, я даже смутился. Статью все хвалили, но продолжали считать ее — как бы сказать? — скандальной, что ли! Не то я что-то в ней напутал, не то кого-то не того задел, не то неловко выразился. В общем, я молча кивнул головой, и тут Бочарников рассмеялся.

— Прекрасная статья! — сказал он раскатисто. — Я эту статью в "Труде" напечатал бы! Интересная статья!

И тут я узнал от него, что он спецкор "Труда" по Казахстану, а в этой профсоюзной комнате появился как бы по совместительству. Прежний ответственный секретарь Всеволод Вязовский не то сбежал, не то еще что-то с ним случилось, в общем, он поехал в отпуск на Украину, да так и не вернулся, альманах остался фактически беспризорным. Правда, был еще редактор М. Каратаев, но он состоял председателем Союза писателей Казахстана и мог уделять журналу только считанные часы в неделю — вот Бочарникова и попросили помочь; просто сказали: бери редакционный портфель, садись и принимай почту, людей, разговаривай с начинающими, а там посмотрим, как и что, и добрый человек Ваня Бочарников пришел, забрал портфель, сел и вот сидит здесь второй месяц, и непонятно, что будет дальше — так, по крайней мере, я понял сложившуюся ситуацию и искренне посочувствовал ему. Он слегка пожал плечами — что, мол, поделаешь? — и снова стал листать мою рукопись. Листал и по временам остро взглядывал на меня. Тут я понял, что он одновременно как бы делает три дела: с профессиональной быстротой и сноровкою просматривает рукопись, выхватывая то абзац, то десяток строк, разговаривает со мной, размышляет, что ему делать со мной дальше: может быть, просто отослать меня с рукописью в КИХЛ — Казахстанское издательство художественной литературы — это ведь его дело издавать исторические романы. "Державин, Державин", — бормотал он задумчиво. — "Старик Державин нас заметил и, в гроб сходя, благословил". Ну как же, как же, еще у Репина есть та-

кая картина! В этом году был юбилей! А где это тут у вас? — он остановился и прочел самый конец: ”Стоп! тридцатая верста! Ветер бил в лицо, и вереск под ветром звенел как стеклянный. Жизнь или смерть? Он сломал печать на пакете. Конец”. Почему же конец? Где же лицей? Пушкин-то где?

Я ответил ему, что это еще не тот Державин, мой Державин стихов не пишет. Разве так что-то кропает себе в тетрадь.

— Так что же, разве их два было? — спросил он озадаченно. — А вот этот кто же такой?

Я ответил, что нет. Державин-то был один, Гаврила Романович, но тут он еще не старик, а молодой, ему не стукнуло и тридцати.

— Тридцать, это уже не молодой! — резонно ответил мне Бочарников, — молодой, это до тридцати (ему недавно самому стукнуло тридцать), — ну и что же он у вас тут делает? И при чем степь? Зачем печать на пакете?

Я объяснил ему, что тут он у меня поручик. Родился, живет и служит в Казани. Хочет сделать карьеру, попасть в ”случай”. А время-то подходящее: пугачевщина, паника, войска бегут, и вот поручик предлагает генералу Бибикову, который возглавляет правительственную комиссию, похитить Пугачева. Подослать к нему лазутчиков, заманить и схватить. Из этого, как известно, ничего не вышло. Державин ловчил, хитрил, интриговал, а в результате совсем запутался, рассорился со всеми, насвоевольничал, а тут и его покровитель Бибиков умер, и новый генерал обещал повесить поручика на одном суку с Пугачевым. К счастью, и из этого тоже ничего не получилось. Державин бросил все и уехал в Петербург. На этом и должен кончаться роман о молодом карьеристе. Я же представил только начало — сорок страниц.

— Ага, так это, значит, не конец, а начало, — понял Бочарников. — А до конца-то еще ого-го! Как говорится, ”курочка в гнезде”, — он закрыл папку с рукописью, подержал ее на весу, как бы примери-

ваясь, что с ней делать: то ли мне возвратить, то ли показывать еще кому — и вдруг решительно сунул в портфель.

— Ладно, — сказал он. — Дам кое-кому, посмотрим. Заходите через недельку, — еще посмотрел на меня, подумал что-то и спросил, где я работаю. В библиотеке или меня уволили оттуда? Я сказал, что в библиотеке я не работаю, я преподаю литературу в старших классах.

— А-а, — засмеялся он. — Так вот откуда у вас Державин. Да, да, теперь его опять проходят в школе. "Науки юношей питают, отраду старцам подают" и еще там что-то о Невтонах...

Я ответил, что это не Державин, а Ломоносов.

— Да? — добродушно удивился он. — Все забыл!

Он встал и взял портфель.

— Так, значит, прошу дней через десять. Будет заведующая отделом. Поговорите.

Я поблагодарил и вышел. Профсоюзная машинистка вдруг оторвала лицо от "ремингтона" и посмотрела на меня насмешливо и недоброжелательно. Она, повторяю, работала в одной комнате с редакцией и всю пишущую братию — да еще такую, похожую на меня, — терпеть не могла. Я вышел с большой неуверенностью в душе. Но все равно в этот день судьба моя уже была решена, и я смутно почувствовал это.

Сейчас, дойдя до этого места, я вдруг понял, каким образом альманах очутился в помещении профсоюза водников. Все, очевидно, произошло как бы само собой, Бочарников состоял корреспондентом центрального органа ВЦСПС — газеты "Труд", и в этой профсоюзной комнате помещался его корреспондентский пункт. Понятно, что, став внезапно ответственным секретарем альманаха, он и все это имущество перетащил к себе в эту комнату — благо и имущества-то было всего один портфель с рукописями. Ваня Бочарников легко таскал его с собой.

Расставаясь с ним, мне хочется сказать ему на прощанье несколько теплых слов. Я не знаю твоих талантов, Ваня, потому что никогда не читал твоих корреспонденций, но ты был очень хорошим, доброжелательным человеком. Да будет же мир тебе, дорогой мой товарищ и первый мой редактор! Время, в которое мы жили, было трудное, отношения между людьми сложные, а сами люди... Да нет! Мне очень трудно, прямо-таки невозможно говорить о людях этой поры — я ведь тоже был одним из них. Во всяком случае, это были совсем не те люди, которые сегодня вас окружают, мои читатели. Очень, очень многое мы должны были тогда вынести на своих плечах. Война, т. е. угроза ее, ее неизбежность ощущалась нами почти физически. Она нависала, давила, ползла на нас из всех углов — и с Дальнего Востока, и с ближнего Запада. Не было такого номера газеты, в которой бы не писалось о войне. Политическая картина мира была так угрожающе ясна, что опытные международники угадывали будущее почти безошибочно. У меня чудом сохранилась старая вырезка из "Известий" от 17 января 1937 года. "Германия собирается взорваться, — писал обозреватель. — Германская печать проводит усиленную подготовку к захвату Чехословакии... Абиссиния, Испания, Марокко... Кто на очереди сейчас? Чехословакия? Данциг?.." Тут даже и очередность была угадана совершенно точно. Вот и мы тоже ждали — кто же на очереди? И все-таки, несмотря на это, мы жили полной жизнью и были неплохими людьми и товарищами. А ты, Ваня Бочарников, был среди лучших. И с каким же горьким чувством я прочел в том же "Труде" несколько лет назад траурное сообщение, что умер собственный корреспондент газеты И. Бочарников. Поверь, мне тогда сделалось по-настоящему больно. Да что делать? Все не так просто на свете. Нам так и не удалось увидеться с тобой вторично и вспомнить о прошлом...

В этот же день я устроил новую акцию. Отнес рукопись на консультацию моему доброму знакомому и шефу Михаилу Воронцову. То есть мне, конечно, надлежало отнести ее еще раньше, но я все не решался. И не потому, что боялся строгого суда, а от той совершенно как будто пустяшной причины, что был просто не в силах оставить рукопись, расстаться с ней, хотя бы на день. Еще бы! Я в первый раз держал в руках свое произведение, отпечатанное на машинке! Да как еще отпечатанное! На отличной бумаге, с широкими полями и интервалами,черной четкой печатью. Мне казалось, что она прямо-таки испускает сияние... Так могут выглядеть только шикарные издания инфолио. Я таскал с собой рукопись всюду, и даже когда пошел однажды в самый шикарный ресторан, то тоже прихватил ее с собой. Я сидел, пил пиво, а рукопись лежала передо мной, и я ее все время перечитывал. Увидел знакомого редакционного работника, составителя первого сборника казахских сказок Леонида Малюгу — подозвал его и показал рукопись. Тот присел к моему столику, прочитал несколько страниц и похвалил. Пришел художник Казахского театра оперы и балета имени Абая — Анатолий Ненашев (в следующем году он получил золотую медаль на Всемирной выставке в Париже за макет к опере "Айман-Шолпан") — я и его подозвал. Он тоже присел, почитал, полистал "роман" и тоже похвалил, а потом заглянул в конец и сказал мечтательно: "Эх, и декорации я тебе бы оторвал! Представляешь: все бело, и небо, и степь — не за что зацепиться глазу, но как часовые до горизонта торчат полосатые версты. А метель, метель! — тут, конечно, надо подключить осветителя — на горизонте ходят и сталкиваются белые столбы света. И прямо из них на зрителя несется гонец. Динь-динь-динь!!! Нет, представляешь? Слушай, — загорелся он вдруг, — сделай из этого оперу, а? Ведь такой букет: Пугачев, Екатерина, Потемкин, Суворов, Державин... Представляешь? А музыка... Музыканты! С одной стороны менуэты, а

с другой пугачевцы. — "Дрн, дрн, дрн!" Топоры, косы, дубинки! Или налет башкирской конницы! Бег коней! Несутся, несутся, несутся! —Представляешь?"

Вот так я и таскал за собой рукопись дня три, пока не решил снести ее в редакцию альманаха. Но снес-то я ведь первый, так сказать, заглавный экземпляр, а у меня же остался еще второй и третий, тоже достаточно хорошие. Вот с этим вторым экземпляросом я и пошел к Воронцову. Жил он около Головного арыка, т. е., по тогдашнему нашему понятию, на самом краю света. Дальше даже и фонари не горели. Дальше чернело огромное поле, заросшее колючками и изрытое болотистыми ямами с зеленой и синей тиной. Отсюда и начинался не обозначенный ни на каких картах знаменитый город Нахаловка (или Порт-Артур, кому уж как нравится). Состоял он из землянок, домов, сложенных из фанерных щитов, и камышитовых времянок. Все это ветхое, шаткое, гудящее под ветром, заливаемое дождями, ползло и рушилось после осенних ливней. В городе этом после захода солнца всегда стояла сырая тьма, ибо там не было не только фонарей, но даже и освещенных окон. Впрочем, не было там и многого другого — улиц, адресов, номеров домов, а под ночь даже, как ни странно, и людей. Все обитатели его, даже собаки и кошки, с наступлением темноты не то проваливались под землю, не то убегали из города. Мне пару раз приходилось проходить тут ночью, и я ни разу не встретил ни одного живого существа. Сейчас этот квадрат, пожалуй, самая оживленная и залитая светом часть города. Тут цирк, огромный кинотеатр, несколько институтов, сельскохозяйственная выставка. Все это так не вяжется с моим старым представлением об этом месте, что я до сих пор не могу отделаться от странного чувства — да полно, не перепутал ли я чего-то? Так вот, около самого Головного арыка в редакционном доме, похожем на большую дачу, и жил мой редактор Михаил Павлович Воронцов. О нем стоит написать подробнее.

Он был личностью примечательной. Был он тогда старше меня лет на пять, работал, как я уже сказал, в "Казахстанской правде", заведовал там отделом культуры. В редакции его ценили за легкое и быстрое перо, дружбу с редактором — он звал его папашей, — за то, что он кончил, кажется, Ленинградский институт журналистики, за красивые большие очки в чудесной оправе и модный костюм цвета гнилой древесины с дымом из японского коверкота, а вообще за то, что он настоящий свойский парень. Писать Воронцов действительно умел, и читать его было интересно. Но газетная работа его не удовлетворяла, он все время собирался что-то создавать: то ли повесть о своей любви, то ли драму из студенческой жизни, даже, кажется, начинал что-то подобное, но у него так ничего и не вышло. Во-первых, несмотря на свою легкость и оперативность, был Михаил Павлович все-таки изрядно ленив и на большую, никем не заказанную и не оплачиваемую работу пороху у него не хватило бы, а во-вторых, он никогда и не чувствовал себя творцом, не было у него сумасшедшего зуда души, когда хочется сорвать крышку черепа и хорошенько продрать мозги ногтями, или убежать от всех, схватить лист бумаги и, забыв весь мир, писать, марать, рвать, ругаться, всех ненавидеть, но сделать, сделать, сделать! Вот этих безумных качеств у него не было никогда.

Характера Михаил Павлович был легкого, компанейского. Любил посидеть, поговорить, послушать, сам рассказать что-нибудь такое-этакое из своей жизни, и постоянно таскал за собой не совсем понятный припев: "Ой дую, дую, мистер Дудль!" с резким обрывистым "л" на конце. Кроме всего прочего, он был просто красивый парень — рослый, кудрявый, как Есенин, только не блондин, а каштановый шатен, и жену Раю имел такую же веселую и красивую. Она была опытной линотиписткой и зарабатывала не меньше его. Зайти к ним всегда было приятно и интересно. Кроме того, Михаил Воронцов с какой-то сто-

роны был моим крестным. Это ему я принес свою первую заметку-рецензию на фильм ”Приключения Тома Сойера” и затем через короткое время другую — на ”Женитьбу”. Обе они были приняты и быстро напечатаны, и я тогда почувствовал себя приобщенным к великому таинству — рождению республиканской газеты. А когда Воронцов заказал мне сначала статью о Кюхельбекере, потом о Батюшкове и под конец подвал о Жан-Жаке Руссо (то были все юбилейные даты), и это появилось в газете,— я уже сам по собственной инициативе размахнулся на статью о сокровищах республиканской библиотеки. А когда и ее напечатали, решил, что приспело время приступить к давно задуманному мной роману. Так что по всем статьям к первому я должен был явиться именно к Воронцову. Кроме того, что я терял, если бы даже он изругал меня? Рукопись уже была сдана, мосты сожжены, пути назад не было.

Я позвонил — и мне отворили сразу двое: Воронцов и его друг по институту — Николай Д. Я с ним недавно познакомился, он ненадолго приехал к Воронцову и поселился у него.

— А! — закричал Воронцов так, как будто я действительно был долгожданный, запоздавший гость. — Заходите, заходите! Самое время! Рая уж в ларек пошла.

— Я роман вам принес, — сказал я, — почитать хочу. Не против?

— А, это тот роман о Пугачеве? И Державине? — засмеялся Воронцов. — Ну-ну, ну! Конечно, прочитайте. Правда, Николай?

— Я с удовольствием послушаю, — сказал его друг и отодвинулся, пропуская меня.

А тут уж подходила и веселая, смеющаяся Рая с туго набитым баулом.

Мы прошли в столовую. Рая расставила бутылки, достала стаканы.

— Нет, сначала послушаем, — сказал Воронцов. — Садись, Рая. Начинайте. Молчание! Слушаем!

Я начал. Это было мое первое публичное чтение: меня же слушали три человека!

2 глава

Тут мне хочется сказать несколько слов о романе и его герое. Оговариваюсь, отлично понимаю, что здесь это слово звучит попросту несерьезно. Ведь речь идет о произведении всего-навсего на 8 печатных листах, да притом еще и неоконченном, но что поделать? Во-первых, я тогда действительно замахнулся на роман, а во-вторых, у вещи этой менялось заглавие — в журнале она пошла под названием ”Крушение империи”, — но подзаголовок оставался неизменным. Итак, роман ”Державин”. Я его не дописал, не хватило ни сил, ни умения. Основная идея — преображающая сила творчества, власть творенья над творцом — требовала таких средств выражения, которых у меня тогда не было (не знаю, впрочем, есть ли они у меня и сейчас). На пушкинский вопрос: гений и злодейство — две вещи совместные ли ? — я задумал твердо ответить: нет! Ни в коем случае! Молодой Державин подходил для этого как нельзя более. В самом деле, не сходя, как говорится в ученых статьях, с твердой почвы фактов, невозможно понять, почему умный, дошлый, разбитной и довольно-таки бессовестный армеец, готовый пуститься во все тяжкие, оказался совершенно беспомощным, как только принялся за дело. Что он, этот народ не знал? В этих краях не жил? Да преотлично знал! Тут родился, вырос, жил и, как только получил свободу рук, так сразу просто закипел в действии. Он и убийц подбирал, снаряжал и подсылал к Пугачеву и заволжских старцев и, как въехал на коне, так сразу же целую мятежную деревню перепорол, мало этого, даже разработал обряд особой театрализированной казни —

ночью в лесу рядом с церковным амвоном перед мокрым от страха попом вздернул двух бунтовщиков, а других заставил, стоя на коленях, бить лбами и целовать крест на верность. (''И. И. Дмитриев уверял, что Державин повесил сих двух мужичков более из поэтического любопытства, чем по необходимости'', — писал об этом Пушкин. Ну чем не Буонаротти из ''Моцарта и Сальери''?) Словом, был он до крайности деятельным, а получился из всего этого пшик! Под конец главнокомандующий, как я уже говорил, даже сулил вздернуть его на одном суку с Пугачевым. И самое главное — это было не просто проклятое невезение, не тяжелое стечение обстоятельств, а Рок, прообраз всей дальнейшей его жизни. Вот он приближен, взыскан, титулован, высочайше обласкан и ободрен, державная ручка возводит его все выше, выше! — иди, поэт! Гряди, поэт! И поэт, как во сне, начинает взбираться — один марш лестницы, другой — вот он уж так высоко, что скоро и лезть будет некуда, но р-р-раз! — и сорвался, и покатился с грохотом по ступенькам. Почему? Характер? ''Я горяч и в правде черт''? Да, конечно, и это было; с кем-то разругался, с кем-то что-то не поделил, а раз в споре, забывшись, даже дернул императрицу за мантилью (''Посидите тут. Этот господин слишком уж распускает руки'', — сказала она по этому случаю вбежавшему придворному), но главное все-таки не в этом. Главное в том, что как ни обещал придворный поэт Державин: ''Самодержавства жезл железный Своей щедротой позлащу'', — ничего доброго из этого не вышло. Писал, да не то. В результате с Фелицей не сработались, с Павлом рассорился, а Александра Первого так даже и очень больно задел: в оде намекнул ему на убийство отца. В результате — отставка — Шлафрок, Колпак, Именье ''Званка'' и послание ''Жизнь званская''. Все! Конец! Вот так представлялась мне жизнь Державина. Сейчас, сквозь магический кристалл годов и пережитого, я вижу, конечно, всю искусственность этой схемы, как вообще любой

схемы и модели жизни любого из нас. Ведь человек всегда больше процесс, чем явление. Войти в него — это все равно что войти в сиюминутную гераклитовскую реку. А Державин, к тому же, был еще очень особым явлением. Есть люди-острова, есть люди-архипелаги, есть люди-материки. Державин был весь материковый, весь из одного куска, независимый ни от кого. "Един Бог, един Державин", — поучал он совершенно серьезно своего швейцара. Кажется, большей заземленности и представить нельзя, а между тем никто из его современников не имел такого чувства космоса и космического, как он. Да, Ломоносов тоже "умными очами" окидывал всю вселенную, но он был химик, физик, астроном и даже как поэт все высчитывал, вымеривал, выглядывал и порою в стихах угадывал больше, чем в трактатах (пример — его знаменитая картина солнечных протуберанцев). Но космос у него был безжизненный, ледяной и огненный. Когда же Державин поднимался туда же — в мир бесконечно больших величин, перед ним открывался совершенно иной космос — глубоко человечный, одухотворенный, не отрешенный от нас на миллиарды верст, а простирающийся от неподвижных звезд до души человеческой. "Я в прахе телом истлеваю, умом громам повелеваю. Я — червь, я — раб, я — царь, я — бог". Ломоносов так никогда бы не сказал. Эта великолепная диалектика просто не пришла бы ему в голову. Державин писал и о смерти. Страшно писал. Очень достоверно и так страшно, как вряд ли кто-то писал не только до него, но и после. И все-таки тягостного чувства после этих стихов его не остается. Это чистейшая поэзия, и она побеждает все... Даже ужас смерти. Он был косноязычен, этот величайший лирик века, но когда он говорил о сложнейших вещах и понятиях, его всегда понимали все.

Во время моего детства любимым анекдотом в учебниках словесности было то, что стихи Державина китайский император приказал написать на стенах своего дворца. Так вот разве такой поэт мог долго

выносить с собой рядом неудачливого авантюриста, безжалостного усмирителя, просто заплечных дел мастера? Совесть — орудие производства писателя. Нет у него этого орудия — и ничего у него нет. Вся художественная ткань крошится и сыплется при первом прикосновении. Все это я понимал, но как написать об этом — не знал, и бросил роман на первой части. Однако, это совсем не значило, что я сразу же сдался! Нет, куда там! Все, что положено настоящему писателю: все муки творчества, бессонные ночи, вечно возбужденное и раздраженное до болезненности состояние, все симптомы отравления словом, вплоть до безнадежности и неуважения к себе — все это я пережил с величайшей остротой. Мне и сейчас неприятно вспоминать об этих днях. Главное — я никогда не думал, что проза — обыкновенная "смирная проза" — так невероятно трудна и упряма. В мою бытность на высших литературных курсах в ходу была фраза француза Альбаля из самоучителя для начинающих (прекрасная книга! Совсем не то, что бойкие пособия на эту же тему Г..Шенгели, А. Крайского, Я. Абрамовича):

"Ты хочешь сказать, что ночью шел дождь, — ну вот и напиши: "Ночью прошел дождь"... Это казалось мне такой бесспорной истиной, что я не сомневался: — сяду, начну писать — и пошло у меня, пошло... Месяц, два — и готов роман. Именно поэтому, презирая легкость задачи, я и не брался за прозу — она-то, мол, никуда от меня не уйдет. Иное дело стихи. В ту пору стихи писали все мои сокурсники. Бешено, запойно, дерзко. Тут требовалось одно — четко знать, к кому, к какой аудитории ты обращаешься. Ибо одна аудитория была у пролетарских поэтов — Демьяна Бедного, Полетаева, Жарова, Безыменского, Казина (сюда же, но по другой линии примыкал Леф и Маяковский), — другая у Есенина и у "мужиковствующей стаи", и третья — у "рефине" П. Антокольского, Б. Пастернака, О. Мандельштама, Н. Заболоцкого. Из них я полностью понимал и принимал толь-

ко П. Антокольского. Пастернака хвалил, конечно, но потому, что так уж полагалось в моем кругу. Мимо О. Мандельштама проходил равнодушно и молча (боже мой, как все это переменилось и переломалось во мне уже через несколько лет!).Это были те баснословные времена, когда на могиле Есенина кончали самоубийством девушки, Ахматова считалась такой же архаикой и дряблой стариной, как и Вертинский, Цветаева или Бунин, а Сельвинского знали немногие и то понаслышке. Печатался не он, а пародии на него.

В такой обстановке стихи писать было нетрудно, и чем они были темнее, тем лучше. Вот так я и писал: высоко, звонко, непонятно. Память — великий дезинфектор и бракер, начисто смыла с моего сознания все написанное мной в ту пору. Так что мне сейчас уже не за что даже и краснеть! Как будто ничего и не было! Потом и стихи как-то само собой иссякли, и я даже не вспоминал о них. А затем пришел такой день, когда ко мне в дверь вдруг постучалась та самая смиренная проза. Я уже был к ней подготовлен и знал, о ком я буду писать. Четыре книги инфолио лежали у меня на столе. Это были тома роскошного девятитомного издания Грота "Сочинений Державина". Том его переписки, том записок и два тома библиографии. Вот с этим богатством в руках я и начал свой роман.

Однако, как это ни горько, приходится сознаться, что особого впечатления я своим чтением в этот вечер не произвел. Только одна Рая — добрая душа! — похвалила меня. Что именно сказал мне другой гость, я не помню, но вот слова Воронцова я запомнил. "Вы понимаете, — сказал он, выйдя меня провожать, — вот вы прочли нам о встрече и разговоре Державина с генералом Бибиковым. Все правильно, все на месте, но не обижайтесь, мутновато как-то это у вас получилось. Как будто бы смотришь на них через пыльное стекло", — и он слегка подышал и

поводил ладонью вверх и вниз, как бы протирая эти стекла. Что ж? В этом была, наверное, своя сермяжная правда, но мне тогда показалось, что в эту оценку вмещалось и еще кое-что. Я отлично понимал Воронцова. В самом деле, с чего это я вдруг вообразил себя писателем? Всего полгода назад как послал в редакцию рецензию на полстолбика и вдруг — пожалуйста! — уже размахнулся на целый исторический роман! Полно, не рано ли? Ну о Руссо я написал, о Кюхельбекере — сто строк, ну что-то там о новом произведении Ю. Н. Тынянова — все хорошо, грамотно, чистенько, но и все! Все! И добро бы я еще принес рассказ о шпионах, а то, видишь ли, роман о Пугачеве! Да что я, из рода Толстых, что ли?

— В скольких частях-то он у вас предполагается? — спросил меня гость. — Ну как же не знаете? Раз пишете, то знаете. Вам это надо знать! Надо! — и слегка усмехаясь, покосился на супругов Воронцовых.

Все эти сомнения я понимал и даже, честно говоря, до какой-то степени и разделял их, но ничего сделать с собой не мог. Во мне уже поселился тот неуемный бес бумагомаранья, который мучает графомана точно так же, как и гения. Я не мог уже не писать! Не мог, и все! Пусть плохо, бездарно, мутно и пыльно, но я должен был писать — и никаких гвоздей! — это-то мне было ясно.

Домой я пошел не прямо, а двинулся по бесконечной тополевой аллее, мимо яблочных, вишневых и урючных садов (у каждого дома свой сад). На улицах уже никого не было, где-то далеко скрипел колодец да заливались собаки: город в эти годы затихал рано, с темнотой. Возле меня по обочине мостовой безмолвно несся вздувшийся к ночи арык. Везде стоял тонкий сладкий настой цветущих деревьев. Пахло еще теплой сырой землей, мощными усадебными мальвами (я среди десятка запахов различал этот сухой жестковатый аромат), остывающим камнем, водой. Улица, которой я шел, была длинной и такой

стремительно прямой, словно ее одним взмахом прочертили по линейке (так оно вообще-то и было). Она тянулась через весь город от Головного арыка до старинного торгового тракта — Ташкентской аллеи. По всему этому пространству стояли и лежали многотонные щербастые глыбы — желтые, белые, черные, фиолетовые, некоторые чуть не с целый деревянный дом. Лет двадцать тому назад по этой магистрали полз с гор поток жидкой грязи и волок за собой эти громадины. Они, как ядра, ухали в стены, рушили и стирали в порошок глинобитные заборы, срывали с фундаментов, переворачивали и катили деревянные дома, ломали в щепу деревья.

Идти было далеко, я устал и опустился на одну из таких глыбин. Уже почти совсем смеркалось, фонарей в ту пору в городе было мало, а здесь и вообще их не было — только светились номера домов да пестрые занавески на окнах. Этот дальний конец города полностью сохранял еще в ту пору облик казачьей станицы начала века. Строенья стояли на нем одноэтажные, глинобитные, с тяжелыми, как плаха, ставнями. Зато заплоты были низкими, до плеч. Кто-то, видно, из здешних, прошел рядом, чуть не задел меня. Потом круто повернулся, встал, постоял, зажег спичку, будто чтоб прикурить, но взглянул и прошел. А я сидел и думал. "Да, — тяжко ворочалось у меня в голове, — за пыльными стеклами! За стеклами может быть — исторический же роман, должна же сохраняться какая-то дистанция времени, — но почему же все-таки за пыльными?" Ведь я ясно представлял себе все, о чем пишу: зимнюю дорогу, снег, безлюдье, "только версты полосаты попадаются одне", его верхом. Как он въезжает в родную Казань в первый день Рождества. На нем нагольный мужицкий тулуп, а из-под тулупа торчит офицерская шпага (купил у мужика в Москве за 3 рубля). И эту встречу генерала Бибикова с ним в зале кинутого губернаторского дома. Генерал вышел из спальни, величественный, строгий, милостивый. Поздоровал-

ся, уселся в кресло и поручика усадил. Поглядел внимательно. Ничего. Хорош. Высок, худощав, белокур, востроглаз, а с мороза еще нежно-розово-бел и весь опутан сеткой нежных золотых веснушек. Заговорили. Генерал спросил что-то о здешних делах. Но не чрезмерно быстро, не так, как, например, рапортуют на смотру, когда слова так и отлетают от зубов, нет, с некоторым все-таки достойным замедлением и раздумьем. Генералу это тоже понравилось. Вот вымуштрован, подтянут, но светскости не потерял и за словом в карман не лезет тоже. А главное — отвечает с пониманием, видно, что все тут знает, во всем разбирается и, если прикажут, то пойдет на все. Ну что же? Это и есть сейчас главное. Надо испробовать. По справкам оказывается, что у его матушки Феклы Андреевны где-то здесь домишко в Татарской слободе. Богатые и родовитые там не живут, конечно. Но, по чести говоря, что из себя представляет эта самая казанская знать? Нет, государи мои хорошие, увольте, увольте! Худородные-то, они, я вам скажу, лучше — они покорнее, исполнительнее и без всякого завирательства. Этот же тут и родился. Надо потом его легонько пощупать, небось, в отрочестве с кем-нибудь из этой сволоты (а у вора сейчас и купцы, и попы, и чернецы, и чиновники, и черт его знает кто еще) в орел-решку играл. Он тут каждого должен знать. Хорошо! Испробуем! Дадим поначалу какую-нибудь важную военную комиссию. Напортить он ничего не напортит (куда уж там портить-то), а если и в самом деле орел... Что ж, сейчас таким самое время. Кто из них поумнее, тот чины да кресты прямо из воздуха хватает. До свиданья, поручик. Жду завтра. Пиши-ка, секретарь: "Лейб-гвардии поручику Державину по секрету... Получа сие, имеете вы..." Вот так, наверно, и было дело. Чего же я тут недодумал или недовообразил? А ну-ка, посмотрим.

Я расстегнул портфель, вынул рукопись, тихонечко подошел к ближайшей избе, к окну, горящему яркими кочанами алых роз, сел сбоку прямо на зем-

лю и стал читать. Кончил одну главу, начал другую. Подумал: а может быть, люди у меня говорят не так, как нужно. Слишком уж по-книжному, с архаизмами — сей, оный.

Проверяя интонацию, прочел один маленький диалог вслух.

— Кто это? Ты, Иван? Нет, не он как будто...

И из дома вышли под руку двое: мужчина и женщина и за ними поодаль шагал третий провожающий с цыгаркой. Дошли до угла дома, неожиданно увидели меня и остановились. А я сделал вид, что ничего не вижу и не слышу, только читаю. Раз даже покачал головой и что-то пробормотал. Они стояли и смотрели. Я читал.

— Тю! Да это скаженный! — вдруг громко догадался провожатый и облегченно засмеялся.

— А ты смотри лучше, а то посидит тут, а наутро кур... — громко шепнула женщина.

— Та нэ, нэ! — добродушно ответил провожающий. — Нэ же! Он зачитаваный! У нас в Красносельском дьяконов сын... Пошли, провожу вас до Ташкентской...

И они прошли мимо, весело разговаривая, пыхтя цыгарками и вспоминая этого самого скаженного и зачитаваного дьякова сына из Красносельска.

Так у меня начался и кончился этот очень памятный день, и весь я его помню до последней мелочи.

Ваня Бочарников велел зайти за ответом через недельку. Но прошло две недели, потом три, потом месяц, два, три, а все еще ничего не было известно. А затем и Ваня Бочарников куда-то внезапно исчез — машинистка объяснила: уехал в Караганду, вернется в конце месяца. Я пришел в половине следующего и увидел, что Вани нет по-прежнему, а на его месте сидит и читает какое-то письмо полная женщина очень небольшого роста, но с высокой (тогда ее называли японской) прической. Я подошел к столу и остано-

вился перед ней. Она подняла голову и вдруг заулыбалась.

— А-а! — сказала она так радушно и просто, как будто только меня ей и не хватало, — наконец-то появились! Ну, здравствуйте, здравствуйте! Вы знаете, я второй день вас ищу, никто не знает, где вы живете. Собиралась уже в гороно звонить (каким-то непонятным для меня образом она сразу же догадалась, кто перед ней). Берите стул и садитесь, пожалуйста. Ну что ж, я прочла с большим удовольствием. Конечно, мы это напечатаем — настоящая крепкая проза.

Все это было сказано настолько спокойно и обыденно, что я даже не успел обрадоваться.

— Кстати, давайте познакомимся, — она слегка привстала, — Шарипова.

Но я уж по какому-то наитию тоже догадался, кто передо мной. В то время имя Гайши Шариповой значило много. Она недавно приехала из Москвы, но была уже самой известной в Казахстане журналисткой — его Мариэттой Шагинян и Ларисой Рейснер вместе. Кое-какие ее очерки появлялись и во всесоюзной печати. В Москве с ней считались. Я пожал вторично маленькую пухлую ручку и подумал, что эта уже совсем немолодая женщина чем-то очень похожа на девочку-подростка. Такая у нее была улыбка, и глаза круглые, простые, доверчивые. "Да, ну-ну? — спрашивала она иногда удивленно и недоверчиво, слегка поводя головой, и тогда хотелось смеяться от этой ее непосредственности и чуть не детской наивности. Но это было только самое первое впечатление, потом оно сразу пропало и уже не возвращалось.

— Итак! — она подошла к шкафу, достала рукопись, положила на стол и слегка перелистала — на полях во многих местах стояли галочки и восклицательные знаки. — Скажите, вы очень любите Тынянова? — Она не спросила, а как бы просто удостоверила факт.

— А что? — пролепетал я.

— Да нет, ровно ничего, — опять засмеялась она, — очень хороший писатель, я его тоже люблю. Люди у вас кое-где похожи на его героев: кричат много и, как бы это вам сказать, — она подумала, — подразумевают много. — Ну знаю, знаю, что так не скажешь, по-казахски и по-татарски можно, а по-русски не выходит. Ну как бы это поточнее сформулировать — говорят они одно, а подразумевают другое. Вот, например, разговор Бибикова с Державиным — в нем у вас подтекстовок больше, чем текстов. Генерал-то может так, конечно, говорить, а поручик-то...

Тут я даже вздрогнул. Так вот наконец в чем дело! Совсем не в мутных стеклах, а в ненужном и неумелом подтексте! Перемудрил! Перетончил! Да, я очень, чрезмерно даже тогда любил Тынянова, он меня даже потряс так, что я потерял вкус ко всякой иной современной прозе: она мне казалась пресной. В Тынянове меня поразила великолепная отточенность стиля. Его почти научная отточенность стиля. Его почти научная точность и четкость. Синтаксическая простота и ясность. Холодная бесстрастность автора. А больше всего то, что автор о самых простых обыденных вещах говорит в высшей степени необычно. Все у него на пределе, на втором дыхании, и герои действительно делают совсем не то, что от них ожидаешь, им бы радоваться, а они тихонько кусают губы, им бы взвыть, а они смеются. И в этом вся их сила. Да! В высшей степени необычайные и непонятные люди населяли книги Тынянова. И хотя они, так же как и события, в которых они участвовали, принадлежали истории, все выглядело так, как будто бы нормальную классическую или реалистическую драму взялся ставить режиссер из театра Мейерхольда или кто-нибудь из Фэксов (фабрика эксцентричного актера — Козинцев и Трауберг). Они от текста, может быть, не отступили и все реплики сохранили, а все равно уходишь со спектакля или из кино со странным двойственным чувством — да, свежо, современно, остроумно — но надо ли? Это были годы,

когда появилась и пышным цветом расцвела на наших сценах особая хохмящая драматургия. Актеры в таких пьесах обыкновенным человеческим языком не говорили. Драматург до него просто не снисходил. Колхозники в поле, геологи в глубокой разведке — дергались, подпрыгивали, сыпали афоризмами и парадоксами. Действие обрастало невероятными подробностями, диалог превращался в цирковую репризу, монолог в конферанс, а вся пьеса — в гала-представление, в состязание хохмачей. Один персонаж кидал словесный мячик, другой его подхватывал на лету. Вот эта броскость и ценилась превыше всего. На сцене этот гаерный попугайный язык, расходившийся обезьянник этот мне всегда казался невыносимым. Тут я спорил с актерами до хрипоты, но вот начал писать прозу, и герои мои заговорили точно так же. Это было хорошо у Тынянова, но никак не проходило у меня. Все это я осознал и понял почти мгновенно, глядя в круглые, как будто очень наивные глаза Гайши. И Гайша поняла, что я ее понял. Легким движением она подвинула ко мне рукопись.

— Так, может, вы сами еще хотите что-нибудь посмотреть? — спросила она ласково. — Вот тут я коечто отметила, может, дома взглянете?

Я взял рукопись и сунул ее в портфель. Гайша поднялась, провожая меня.

— Тут, по-моему, следует только снять кое-какие чрезмерные акценты, а так все сделано очень крепко.

Она подала мне руку.

— Ну! Я жду вас через три дня. Ну хорошо, через неделю. Даже, если хотите, дней через десять, но ни в коем случае не дольше. Вот отмечаю на календаре: "Домбровский, рукопись".

Я просидел над рукописью месяц и пять дней. Но теперь работать было уже легко. Я все понимал, все видел, что можно, что нельзя, где перебор, где недобор, где как раз, и иногда после долгой работы фраза действительно улыбалась мне. Видимо, я все-таки что-то усек (но, конечно, далеко, далеко не все).

Просидел бы я и еще, но меня в коридоре "Казахстанской правды" вдруг встретил Бочарников, сделал страшные глаза, выругал на чем свет стоит и сказал: — Ты что же это делаешь? Тебя уже хотели выбросить из плана, а больше номеров в этом году не будет. Вот и загорал бы твой "Державин" до 1938 года. Скажи спасибо Гайше, она грудью тебя отстояла. Ты беги к ней в редакцию сейчас же, хватай рукопись и мчись. Она хоть у тебя в порядке?

Рукопись была, к счастью, в порядке. Я и шел с ней от машинистки, но, конечно, просидел бы и еще с неделю, что-то правя и поправляя. Именно в то время я и понял, что в принципе процесс правки и переделок бесконечен. Никогда не увидишь ты той точки, после которой тебе уже нечего будет делать.

Я отнес рукопись в редакцию и оставил ее у машинистки. Стол был пуст. Шкаф открыт. Табличка "Литературный Казахстан" уже не висела. Я спросил, что это значит.

— А вот Гайша сегодня унесла, — ответила мне сердитая машинистка. — Теперь тут уже не будет редакции, останется только профсоюз. Ну и хорошо, а то ходят, разговаривают, дымят. У меня к концу работы голова вот такая становится.

— А редакция куда же? — спросил я, ничего не понимая.

— Да вот переезжаете, — зло и насмешливо ответила она. — Помещение получили. Знаете только что отстроенный Дворец культуры на проспекте Ленина у парка? Ну вот, туда вы теперь и будете ходить. Говорят, три комнаты дали, редактору — комнату, редации — комнату да еще кому-то там — комнату. Поезжайте, поезжайте, отдохнем от вас немного.

Она была зла, чем-то раздосадована, но рукопись у меня все-таки взяла.

Гайшу я в тот день по телефону не поймал, позвонил на следующий день вечером.

— А-а! — сказала она радостно, — это вы? А я жду, жду! Ну вы здорово, как говорится, все пере-

лопатили. Кое-где ведь все сызнова написано. Я думала, что все будет проще.

— Да это и было просто, — ответил я. — Очень все было просто, Гайша-ханум. Только я вот не сразу догадался, что надо просто. Поэтому столько и просидел.

— Ну и отлично, — засмеялась она, — через неделю приходите читать корректуру. Только уже не ко мне теперь придете, на моем месте будет другой работник. У него с вами, очевидно, будет особый разговор. Ведь с будущего года альманах превращается в журнал и будет выходить ежемесячно. Есть постановление ЦК об этом. А в этом году еще только один номер и появится — праздничный.

Это была уже осень 1937 года.

А теперь немного в сторону: не так давно мне пришлось отвечать одному обиженному мной автору. Он мне написал: "Итак, вы закрыли моей вещи доступ в журнал. Соображения, по которым Вы это сделали, изложены Вами весьма подробно, и я не хочу возражать и спорить, но скажите, не допускаете ли Вы возможность ошибки? Ведь рецензент тоже не Бог. Так не получится ли, что ошиблись Вы, неоправданно наложили вето на мою вещь, вполне заслуживающую печати? Разве так не может быть?"

"Уважаемый имя-рек, — ответил я, — ну, безусловно, каждый рецензент может ошибиться, и действительно хоть раз да ошибается. В этом вы безусловно правы. Но вот в чем вы так же безусловно неправы. Нет у рецензента никакого "вето", и как бы ему ни хотелось, он не в состоянии преградить путь Вашей вещи, если она действительно чего-то стоит. На необъективную, однобокую или какую уж там хотите скверную рецензию Вы легко найдете управу даже в стенах той же самой редакции. Пошлите только вашу повесть вторично и попросите дать ее другому рецензенту, и все сразу же разрешится. Кроме того,

ведь у нас есть еще с десяток столичных литературных журналов и свыше трех десятков республиканских — все они открыты для вашей вещи. Каким же образом при таких обстоятельствах кто-то может вам помешать напечататься? К слову, могу поделиться с вами своим довольно-таки горьким опытом. Всего я выпустил четыре книги — и вот только самая первая из них прошла, как говорится, без сучка, без задоринки, а три последующих были с ходу же зарезаны рецензентами. Да еще какими! Штатными, главными, редакционными. И все-таки все эти книги вышли. А две из них даже в том же самом издательстве. Если вы действительно уверены, что ваша вещь хороша, то вы обязаны, понимаете, — просто обязаны — бороться за нее. Точно так же, как я обязан быть непоколебимо уверен, что, не рекомендуя вашу вещь к печати по таким и таким-то соображениям, я не допустил тут ошибки".

Отвечая мне, автор спросил: "Очень любопытно, при каких обстоятельствах произошло издание той вашей первой книги, которая прошла "без сучка, без задоринки?" И очень странно, что это была, как вы пишете, самая первая книга. Может, у меня неверное представление, но мне кажется, именно первая книга и проходит труднее всего. Очень хотелось бы, чтобы вы поделились своим опытом".

На это письмо я тогда не ответил, но вот сейчас делюсь.

Союз писателей Казахстана в ту пору помещался в двухэтажном белокаменном особняке на улице Красина. Первый этаж был жилой, во втором находился Союз писателей. Но добро бы один Союз — но в нем, — это в трех комнатах! — помещалось еще и казахстанское издательство художественной литературы (КИХЛ), и редакция казахского литературного журнала "Адебиет жане искусство", и бухгалтерии всех этих трех учреждений, и машинное бюро, и литконсультация, и даже, кажется, еще управление по

охране авторских прав. Теснота, конечно, была невероятная. Войдешь, и с порога видишь только столы, столы, столы и над ними головы, головы, машинки, арифмометры, счеты. Все это стрекочет, жужжит, кричит, перебивает друг друга. Шум стоит такой, что для того, чтобы поговорить, надо выйти на деревянную лестницу. Автор же и редактор вообще могли обсудить что-то, если только они выходили во двор и усаживались на лавочку против Главархива (он помещался во флигеле этого же дома). И все-таки все это казалось нам совершенно в порядке вещей. Господи, какими мы были тогда молодыми, баззаботными, как плевали на все условности и корявости в нашей жизни, как не нуждались ни в каких особых удобствах! Молод был редактор журнала "Литературный Казахстан", молод был его заместитель, молоды сотрудники, ответственный секретарь, машинистки. А я-то был, кажется, самым молодым из всех. Сейчас, когда я прихожу в редакцию по существу того же самого журнала и стучусь к его ответственному редактору, иногда меня вдруг охватывает чувство полного неправдоподобия — ведь никого старше нас в редакции сейчас нет. Да что там — старше? Мы просто старые! Старые, да и все тут!

В том белом доме по улице Красина я впервые встретил Муканова, несколько раз подолгу разговаривал с Ауэзовым и впервые увидел Джамбула. И сюда же я принес в КИХЛ и сдал полную рукопись романа — уже не сорок страничек, а триста. Об этом белом доме на улице Красина стоит написать как-нибудь особо, но из всех впечатлений, связанных с ним, мне запомнилось больше всего одно.

Как-то, уже полной зимой перед новым 38 годом, под вечер, не знаю уж по каким нуждам, я шел мимо этого дома, и из деревянных ворот его навстречу мне вышли три человека. Впереди шел Павел Кузнецов (его только что назначили ответственным редактором журнала), за ним его первый заместитель, сзади всех шел Ваня Бочарников. Он только что сдал но-

вому заму дела и портфель редакции и, как говорил, словно сбросил с души стопудовую тяжесть.

"Я им так и сказал, — рассказывал он мне в тот же вечер, — вот вам вожжи, вот вам дуга, а я вам, товарищи, больше не слуга, свои дела замучили. Караганда, Балхаш, Чимкент, совсем дома не бываю, жена на развод подавать хочет".

Они шли и о чем-то оживленно разговаривали. У редактора под мышкой была стопка аккуратных синих книжечек. Я сразу понял, что это такое, и подошел к ним.

— Вот и он, — сказал Бочарников таким тоном, как будто только меня им и в самом деле не хватало.

— Седьмой номер вышел, — сообщил редактор.

— И знаете, что в нем самое лучшее? — спросил замредактора. — "Державин".

— Как только мы получили из типографии номер, — сказал Бочарников, — я открыл им "Державина" и сказал: "Ну, читайте". И они сели и стали читать и встали только, когда прочли все. Так? — спросил он замредактора.

— Так! — ответил замредактора.

— Так, — подтвердил редактор.

Несколько шагов мы прошли молча, слова как-то не шли у меня с языка, да и что было говорить!

— Ну, спасибо, — сказал я.

— Из спасиба я шубы-то не сошью, — усмехнулся редактор: был он человеком едким и насмешливым, и языка его боялись. — Теперь вот что: у вас тут стоит "отрывок" и "продолжение следует". Так не годится. В этом году, конечно, никакого уже продолжения не будет, а вот с будущего начнем печатать все полностью. Значит, нужно новое начало. Вы это сделайте побыстрее. А вообще у вас есть продолжение? Вы много написали?

Я покачал головой.

— Ну ничего, напишете, — успокоил он меня. — Гайша за вас ручается. Сколько, по-вашему, будет составлять вся вещь?

Я ответил, что пока думаю только о первой части, это что-нибудь вроде 180—185 страниц на машинке.

— Значит, около восьми листов, — подсчитал он. — Так сделайте ровно восемь, по два листа на четыре номера. Это будет как раз то, что надо. Договорились.

— А ты дай, дай ему номер, — сказал Бочарников.

— Нельзя, — строго улыбнулся редактор, — сигнал из редакции не выпускается. Дня через три я дам десяток. Вот зайдет за договором и получит.

И тем не менее номер я получил тогда же — чудесный, сыроватый еще, пахнущий типографией номер с синей печатью наискосок — "Сигнальный".

Из Союза писателей мы зашли в крошечный ресторанчик, что был рядом на углу, и тут редактор мне сказал, что со следующего номера журнал будет выходить в большом формате с красочной обложкой, цветными вкладками, рисунками в тексте.

— Иллюстрировать будем богато, — сказал он мне, — специально связались с Союзом художников. Я насчет вас думал. Даже уже говорил мельком с одним. Поговорите и вы. Он завтра придет в редакцию. Его звать...

(Так — замечу в скобках — я познакомился с чудесным мастером и человеком Валентином Осиповичем Антощенко-Оленевым. Он тогда еще не носил своей знаменитой бороды, наоборот, был всегда чисто выбрит, молод, очень подвижен, писал большие красочные полотна, портреты — "Куляш Байсеитова", "Портрет партизана". И только-только пробовал себя в линогравюре. Мне даже кажется, что те листы, которые он принес в редакцию, — иллюстрации к началу романа — и были его первыми работами в этом направлении.)

...Редактор сказал, что я сразу же должен засесть за работу,— надо, как он выразился, приделать хорошее эффектное начало. И это не терпит никакого отлагательства. Нельзя задерживать сдачу первой книги журнала за 1938 год — и я понимал его буквально, так что был готов прийти домой и сейчас же сесть за работу.

По дороге я уже придумал это начало и шел, повторяя про себя его первые строки. И они для меня были легки и певучи, как стихи. Я гудел их под нос и вслушивался в их внутреннюю музыку. Она — эта музыка биения строки — всегда значила для меня очень многое. Я сейчас же чувствовал провал в предложении, его риторическую ущербность и бедность — и был уверен, что и читатель это чувствует тоже. Когда фраза правильно, четко организована, ее легко читать. Она не заключает в себе ничего излишнего ни в отношении к слову, ни в отношении к наполнению этой фразы. Тут и проявляется главная особенность ритма прозы. Он растет сам из себя, сам себя организует и существует по собственным своим законам. У каждого писателя и даже у каждого отдельного произведения свой собственный особый ритм. Нельзя в "Мертвые души" вставить кусок повестей Белкина — сразу выявится не только стилистический, но и метрический разнобой. Читатель сорвется с ритма. А это очень болезненно.

Я прошел к себе. Все спали. Спали соседи, спала хозяйка, спал ее муж — отец моего ученика, — он прекрасно ко мне относился, но никогда не верил, что я могу писать книжки. "Да рази писатели такие? — резонно отвечал он на робкое возражение своего сына. — Вот посмотри: в книге у тебя писатели — Александр Сергеевич Пушкин, Толстой, Тургенев, Горький — ну? Похожи?" — и победно смеялся.

Все спали — мне некому было показывать своего "Державина". Но я и не хотел ничего показывать. Я просто открыл журнал и стал читать. Но теперь я читал отчужденно, холодно, как постороннюю мне

вещь. И вдруг музыка, звучащая во мне, стала глохнуть, глохнуть и исчезла совсем.

Я больно споткнулся о первую шероховатость. Это было так, как будто в темноте я налетел на косяк. Я даже ошалел немного, но потом так же я налетел и на вторую, и на третью промашку. Ясный, трезвый типографский текст обнажил все — и я увидел свои недоглядки, излишества, неуклюжесть оборотов, казенную гладкопись, невыразительную и бойкую скороговорку.

Тогда я взял лист бумаги и снова стал читать кусок с начала, делая пометки. Марать сигнальный экземпляр я не решался: а вдруг потребуют назад. Так и сидел и корпел, пока не услышал, что по улице идут, громко разговаривают и смеются.

Тогда я встал и вышел во двор. Все было белым-бело. За ночь выпал первый мягкий снежок и закрыл всю грязь и лужи. Деревья стояли тихие и мягкие, и нарядные — на них висели большие снежные гроздья. Сейчас в тени они казались голубоватыми. Значит, я не заметил, что просидел всю ночь, но спать не хотелось. Я весь был в ясном, не терпящем отсрочки настроении готовности. И еще я испытывал тихую радость творенья, какое-то новое сознание себя, что-то появившееся во мне совсем недавно, может быть, даже сегодняшней ночью.

Так я постоял и посмотрел и пошел к себе — надо было работать. И я знал, как это неотложно.

...Через три месяца в журнале начал печататься мой роман под несколько странным, но вполне понятным для меня заглавием — "Крушение империи" (можно было, конечно, спросить, какое же крушение царской России подразумевает автор романа, говоря о веке Екатерины, — но в этом заглавии для меня и заключалась основная идея произведения). Теперь в нем было уже не сорок, а двести с чем-то страниц. Да и большая часть тех сорока была мной переписана сызнова. Скоро вышло и отдельное издание с иллюстрациями Заковряшина.

Вот все это, взятое вместе, и было редким счастьем, необычайным везением, выпавшим однажды на мою долю, — в знойное лето и тихую южную зиму 1937-го — тревожного, напряженного и, конечно, уже предвоенного года. Так что в этом отношении я ничего не солгал своему автору. Вот только слова о том, что роман ''прошел без сучка и задоринки'', были безусловно лишние — два месяца я строгал, вырезал, убирал эти проклятые сучки и задоринки. Набил себе даже мозоль на пальце, и все равно некоторые из сучков торчат и до сих пор.

Вот что я мог бы рассказать своему недовольному автору в ответ на его настойчивый вопрос — бывает ли в жизни такое?

Да, раз в жизни и такое бывает, конечно.

Июль 1973 г.

ПОЭТ И МУЗА *стихотворения*

ДЕРЖАВИН

> О, домовитая ласточка,
> О, милосизая птичка.
> Грудь красно-бела, касаточка,
> Летняя гостья, певичка.
> . . . .
> Восстану, — и в бездне эфира
> Увижу ль тебя я, Пленира?
>
> *"Ласточка"*

I

К чужим стихам взыскательно-брюзглив,
Он рвет листы — тоскующий задира —
Год пролетел, как умерла Пленира,
Свирель цела, но глух ее мотив;
"Ла-ла, ла-ла! Ты должен быть счастлив
Сияньем благ, невидимых для мира.
Обвита элегическая лира
Листами померанцев и олив.
Почто ж грустишь, великий муж?"
— Я жив,
Как тяжело с живыми мне, Пленира!

II

Скрипя безостановочно пером
И рассыпая голубую влагу,
Он пишет: "Жадные к вещественному благу,
Вы златом убираете свой дом."
(Перо порвало толстую бумагу,
И волосы сверкнули серебром,
Тем матовым сияньем неживого,
Что притупляет голову и взгляд.

В долине старости ни Муз и ни Наяд —
Амур грустит у камня гробового.)
"Вы совесть променяли на венки,
На алчное ласкательство прелестниц" —
Встает. Не трость по переходам лестниц —
Стучится кровь в холодные виски.

"Таким рожден я — гордым и простым!"
Медлительная догорает осень,
Тихи закаты — золото и просинь
Плывут над парком — тоже золотым.
Свирель поет: "Будь спутником моим,
И молодость даров твоих запросит.
Кто мудр и тих — того прекрасна осень,
Тот любит дев и Музами храним."
Свирель сулит: "Будь спутником моим,
И женщина твою украсит осень."
Он ей: "Молчи! Есть камень на откосе,
Есть белый крест — моя любовь под ним!"

III

Река. Молчит алеющая гладь,
Все в красных, желтых, белых позументах.
Стоят рябины в гроздях, словно в лентах,
И клены собираются взлетать;
Растет поганка на трухлявой ножке,
Скрипит зеленый гравий на дорожке,
Осенним солнцем налиты кусты,
В глухих аллеях небо, как окошко,
В них иволга орет, как будто кошка,
И падают и падают листы.

* * *

Беседка Муз. На круглой крыше лира,
Она уж покосилась и давно
Разбито разноцветное окно.

Внутри темно, не прибрано и сыро...
Он снял колпак и думает: "Пленира!
Здесь смерть взяла твое веретено."
А жизнь течет, бежит горох по грядке,
Кудрявясь, вьются кисточки плюща,
И кружатся, и носятся касатки
Взлетая, упадая, трепеща.
О, птица милая! То в небе золотом,
То над тростинкой зябнущей и чуткой
Сверкают потемневшим серебром
И чернью отороченные грудки.
Заботницы! Вверх-вниз, туда-сюда
Несетесь вы в распахнутом пареньи,
Где ж ваш приют, касаточки? Куда
Течете вы, как воздух и вода,
Храня зарю на сизом опереньe?
Как колокольчик, горлышко у вас,
Вся жизнь — полет, а отдых только час!
Так он стоит, прижав ладонь к виску,
Весь в переливах осени и света.
"Вот ласточки! — и смотрит на реку, —
Ты жизнь моя...?"
И долго ждет ответа.

ГНЕДИЧ И СЕМЕНОВА

Мой путь одинок, я кончаю
И хилую старость встречаю
В домашнем быту одинок.
Печален мой жребий, удел мой жесток.

Гнедич

Благоговея богомольно
Перед святыней красоты...

Пушкин

"Она красавица, а я урод —
Какой все это примет оборот?
Я крив и ряб. Я очень, очень болен.
Она легка, как золотая пыль,
В ее игре и блеск, и водевиль,
А я угрюм и вечно недоволен.
Я хмурюсь, а она, смеясь, поет...
Какой все это примет оборот?

Но, други милые, она ведь так прекрасна!
В моей квартире, гулкой и пустой,
Она такой сияет красотой,
Таким покоем — ласковым и ясным,
Как будто бы в жилище дикаря,
Какого-то сармата или скифа,
Из Индии с кораллового рифа
Спустилась Эос — юная заря.

Но, дева милая! Нет, вы не Антигона,
Вы муза романтических поэм.
Пред кем же я теряюсь?! Перед кем
Склоняюсь и безмолвствую влюбленно?
Громка моя размеренная речь,
Вся в плавной неподвижности покоя.
Есть стих, как конь, есть стих, как бранный меч,
Есть стих, как слон перед началом боя!
Такой мой стих, да я-то не такой
Пред Вашей равнодушной красотой.

Вот отчего, рассудок разлюбя,
Мгновенно забывая все на свете,
Одну лишь Вас имею я в предмете,
Лишь Вас одну. — Тебя, тебя! Тебя!"

Отходит от трюмо и вперевалку
Берет свой плащ, разыскивает палку —
И в дверь бегом.
На берегу реки
Над камнями расселись рыбаки,
Достали где-то щепок на растопку,
Над огоньком повесили похлебку
И разговором занялись простым.
И вдруг глядят: развалистый и рябый,
Большой и желтокожий, словно жаба,
Высокий человек подходит к ним.
На нем убор блестящий, плащ крылатый;
Взглянул на них, поближе подошел,
Цилиндр снял, поправил свой хохол
И говорит:
— Как здравие, ребята?
— Спасибо, ничего.
— Вы чьи?
— Да чьи? Мы из деревни Светлые Ручьи.
— А, из деревни! — и единым оком
Он смотрит неподвижно и жестоко.
— Так из деревни? — подошел к воде,
И жадно мочит лоб, лицо и шею.
— Что ж, выпивши?
— Да пить-то не умею,
А помогает, говорят, в беде.
— Что ж за беда-то?
Вдруг взмахнул рукою,
Сквозь зубы выругался и пошел,
И вдруг Омир, огромен и тяжел
В колокола ударил над Невою.
Бежит, спешит, тяжелый и большой,
Все выше, выше поднимая спину,
И слышат рыбаки, как он запел:
"Гнев, богиня, воспой
Ахиллеса, Пелеева сына".

ВЕНЕВИТИНОВ

Внимайте; чтоб сего кольца
С руки холодной не снимали,
Пусть с ним умрут мои печали
И будут с ним схоронены.

"Завещание"

Века промчатся и, быть может,
Что кто-нибудь мой прах встревожит
И в нем тебя откроет вновь.

"К моему перстню"

Среди могильной пыли
И сами все в пыли,
Мы гроб его открыли
И перстень извлекли.
Среди могильной пыли
Кладбищенской земли.
Из тесной домовины
Мы вынесли на свет
Его большой и длинный
Мальчишеский скелет.
Из тесной домовины,
Тесней которой нет;
И вот два музыканта,
Девица знойных лет,
Два франта-аспиранта
И дед-пушкиновед,
Священники без шапок,
И в шапке землекоп,
И мы, две мелких шавки,
Разглядываем гроб.
Там чуждый нашим спорам
Лежит уж столько лет
Тот мальчик, о котором
У нас суждений нет.
Тот мальчик, о котором
Конца нет нашим спорам,
Но правды тоже нет.

И шептались духовные лица:
"Если руки простерты на бедра,
Это значит: самоубийца..."
Ах, молчите, духовные лица!

Спи, мой юный, мой чистый, мой гордый,
Не достать их догадливой сплетне
До любви твоей двадцатилетней.
У нее ни морщин, ни седины,
И ни повода, ни причины,
Ни начала, ни окончанья,
Только радуги, только звучанья,
Только свет из глазничных отверстий
Все светлей озаряет твой перстень,
Да шумит покрывало у милой,
Что пришла погрустить над могилой.

Что ж грустить? Не звала, не любила,
Только перстень она подарила,
Только перстнем она одарила,
Только гибелью благословила.
Осветила мучительным взглядом,
Напоила любовью, как ядом;
И твое утомленное тело,
Словно яблочный цвет, облетело,
Оставляя на старом погосте
Черный перстень да белые кости.

Так лежи, возлагая на бедра
В отверженьи, в бессмертьи пустом
Эти руки, простертые гордо, —
Но не сложенные крестом!
Пусть плюются духовные лица,
Негодующей верой полны,
И над черепом самоубийцы
Видят синий огонь сатаны!
Пусть трясут они гривою конскою,
Вспоминают евангельский стих, —
Там посмотрят княгиню Волконскую
И не очень послушают их!

КЛЮШНИКОВ

Однажды, поднимаясь от залива,
На памятник наткнулся я красивый:
Средь горных сосен в узком их кругу
Стоял он, ангел отрешенный, белый,
И девушка в хитоне, паче мела,
Грустила на высоком берегу.
Ее лицо, бровей ее дугу,
Все для полета собранное тело
И эту невесомость без предела —
Власть мрамора и розы на снегу.
Воспоминанье общее об этом
Я сохранил доныне. Пьедестал
Тяжеловесным золотом блистал
И отдан был лирическим поэтам:
Некрасов, Майков, Тютчев, Пушкин, Блок,
Конечно, Надсон, Лермонтов, Плещеев...
Кто притащил строку, кто десять строк,
Невесту провожая в дом Кащеев.
И говорил лирический букет:
Люблю тебя, хотя тебя и нет!
Как вдруг с высокой глыбы пьедестала
Совсем иная надпись проблистала:
"Я не люблю тебя, мне суждено судьбою
Не полюбивши разлюбить.
Я не люблю тебя моей больной душою,
Я никого не буду здесь любить.
Я не люблю тебя, я обманул природу,
Тебя, себя, знакомых и чужих,
Когда свою любовь и бедную свободу
Я положил у милых ног твоих.
Я не люблю тебя, но, полюбив другую,
На сотни мук я б осудил себя —
И, как безумный, я и плачу, и тоскую —
Все об одном: я не люблю тебя".
И подпись: "Клюшников". Да кто же он такой,
Обвивший крест у Южного залива?

Но как ни напрягаю разум свой,
Я многого не вырву из архива!
Да, при Белинском был такой поэт,
Одна из звездочек его плеяды,
Его и в словарях искать не надо,
И в сборниках его, конечно, нет, —
Но кости, погребенные в могиле,
Его стихов, конечно, не забыли.
А тишина! А тишина кругом!
Лишь зелень утомленная, да море,
Да девушка на камне гробовом,
Парящая в оранжевом просторе,
Да власть стиха! Немного лет назад
(Немного лет, раз есть стихи из Блока),
Стихами отправляли в Рай и в Ад,
И грозен был тяжелый ямб пророка.
Стихами убивали, и стихи
Врезали в мрамор, как эпиграф к смерти.
Их не стирали ни дожди, ни мхи,
Не заслоняли ни кресты, ни жерди.
Был стих суров, как воинский приказ,
И в оный день отчаянья и гнева
Он прогремел, и даже Бог не спас
Его лучом пронизанную деву,
А был ли то литературный жест,
Слеза ли Демона пробила камень, —
Ей все равно: над ней разводит крест
Недоуменно белыми руками.

Спускаюсь вниз — закат уже погас,
Знакомая актриса в пестрой шали
Идет навстречу: "А мы ждали, ждали,
Мы совершенно потеряли вас."
Гляжу на губы, на лиловый грим,
На тонкие и выспренные брови:
"Там на горе..." Мы долго говорим
О странной ненавидящей любови.
Когда искусство превратилось в кровь,
Тогда собьешься и не скажешь сразу,
Где жест актера перешел в любовь,
А где любовь переродилась в фразу!

КОЗЛОВ

Певец! Когда перед тобой
Во мгле сокрылся мир земной...

Пушкин. "Козлову"

"Ночь весенняя дышала
Светло-южною красой,
Тихо Брента протекала,
Серебримая луной." *
Тихо в сумрачном канале,
Отражающим луну,
Дева в черном покрывале
Молча смотрит на волну.
Он гребет, на лодке стоя,
Быстрый, яркий, как волна,
Но красавца за фатою
Не заметила она.
И не слышит, как в палаты
Бьет напевная волна.
. . . .
Ночь и грязь. Домов квадраты
Крестит дождик полосатый.
Тучи мчатся, ночь темна.
Заиграл сверчок на печке,
Ветер кинулся в окно;
Оплывают тихо свечки,
Утомленные давно.
Мелкий дождик нудит, нудит...
Дочка борется со сном.
Может, хватит, может, будет?
Может, тоже отдохнем?

Но вперяя взгляд лучистый
И сжимая пальцы рук,
"Заструился пар душистый!" —
Ты приказываешь вдруг.

---

* "Венецианская ночь".

И опять цветы и маски,
И рапиры, и щиты,
И корсеты, и подвязки —
Все взбесившиеся краски
Разъяренной красоты.

Знаешь? Я с тобой согласен:
Из скворешен и квартир
До нелепости ужасен
Этот вылинявший мир.
Так хватай же кисти смело
И не бойся ничего —
Только синим, только белым,
Только красным крой его!
И тогда средь одиночки,
Вдохновенной слепоты,
Из тугой и жесткой почки
Хлынут липкие цветы.
Ты увидишь на мгновенье,
Неподвижно и светло
Все, что гибнущее зренье
В темноту перенесло.
То, стыдясь и хорошея,
Вновь вошла в свои права
Абсолютная идея —
Неподвижность божества.
Светлый рай олеографий —
Красота добра и зла,
Все, что нам на мокрый гравий
С неба Муза принесла.

АНРИ РУССО

1

Мир этот многоцветен и нечист,
Мерцающий, безумный, исступленный;
Но ты пришел, ты свет зажег зеленый,
А солнце осветило каждый лист,
А там еще трепещут жемчуга
Змеиных тел, там дым и свет пожара —
На голубых танцовщицах Дега,
На розовых животных Ренуара.
Там есть еще багровый жирный цвет
Страстей и чувств кровавые изнанки.
Там так нежна фигура Таитянки.
Струящая почти лиловый свет...
Там чертово вертится колесо,
И бледный от томления и страсти,
Вселенную там рушит Пикассо,
Чтоб вновь срастить рассыпанные части.
Там словно висельник застыл в дверях
Потусторонним холодом овеян
Суровый католический монах
С ключом в руках и вервием на шее.
Взгляни — и мимо, около окна,
Стоит поэт твой — прост, многотелесен,*
С улыбкою он смотрит с полотна
В тот скорбный мир, где не хватает песен.
А рядом Муза — край ее плаща
Касается зеленого хвоща;
И море, недоступное для бури ,
Несется здесь из тюбика лазури.

2

Море, море, пароход,
Маленький кораблик.

* Картина ”Поэт и Муза”.

Отразились в ряби вод
Розовые сабли.
Из высоких труб идет
Голубая вата,
Где же этот пароход
Видел я когда-то?
Где я видел кудри скал,
Чаек в красном свете?
Для кого я рисовал
Пароходы эти?
О, далекий край земли,
Где по ровной глади
Проплывают корабли
В детские тетради?
Где в раскрашенный блокнот
Желтый, словно репа,
Пробирался хитрый кот,
Выгнутый свирепо.

3

Оглушительно дыша,
Вышел он из камыша
И глядит стрелою в цель.
Устремляется газель
Специально, чтоб упасть
В поджидающую пасть.
Тигр расправил для красы
Африканские усы,
Встал во весь звериный рост
И раскручивает хвост.

4

Точка, точка, бугорок,
Пара рог да пара ног...
Неужели, неужели
Это все, что от газели?

22–1949

5

Ира! Ира! Ира — план,
Посади меня в карман,
Разверни свои бока,
Подними под облака!
С воротом распоротым
Мы парим над городом,
Наблюдая с высоты,
Как горбатятся мосты,
Как ложится ловко
Синяя штриховка:
То у круглой арки
Разлеглися парки.
То, косматей медвежат,
Ели город сторожат.
То идет по улице
Лошадь меньше курицы,
С белою попоною,
С черною короною,
С красною каретою,
С гривою-кометою.

6

Точка, точка, запятая,
Минус, рожица кривая.
Ручка, ножка, огуречик —
Вышел к морю человечек,
И сияют на картинке
Человечкины ботинки,
И цилиндр, и часы,
И кудрявые усы.
И, подумав, я рисую
Рядом даму голубую —
Тонкую, унылую,
Бледную и милую.

Точки, точки, точки, точки,
Черный пудель на цепочке.
Дом, труба и из трубы —
Дыма черные клубы.

7

А на пестром рынке
Кринки да корзинки,
Ходят да толкуют,
Спорят да торгуют...
Рыбьими салатами,
Утками пернатыми,
Виноградом, розами,
Яйцами розовыми.

8

Шел однажды я по рынку,
Спотыкнулся о корзинку...
В этой маленькой корзинке
Все товары хороши:
Пудра, кружево, ботинки —
Что угодно для души.

9

Ах, угодны для души
Ваши мне карандаши!
Молодые игры,
Пожилые тигры,
Храмы голубые,
Дамы молодые,
Небо, в небе колесо...
Вы создатель их, Руссо...

*   *
*

Увы, весь этот мир не для меня!
Неискренний, двуличный и пытливый,
Я полюбил змеиные отливы
И радуги угарного огня.
Я полюбил разъятый, словно труп,
Мой страшный мир в палитре увяданья;
Но в оный час, когда из жестких губ
Вдруг вылетит склерозное дыханье,
И будет взгляд мой искренен и туп,
Но страстного исполнен ожиданья,
И я увижу смерть — совсем не ту,
Что с детства мне обещана преданьем, —
А дикий свет, нагую высоту,
Вне образов, времен и очертанья...
И вдруг пойму, что тяжкий подвиг мой,
Ты — жизнь моя! Не пращуров наследство,
А только путь бессмысленно прямой,
Бессмысленно пустой, в нагое детство.
И затоскую смертно трепеща;
Приди тогда из облачных расселин
И возврати мне тигра, солнце, зелень
И музу старую под щетками хвоща.

КАМЕННЫЙ ТОПОР

I

Обработанный слепо и грубо,
От столетий, как нищий, рябой.
О, обглоданный веком обрубок,
Путь истории начат тобой.
От дубины в руке человечьей,
От костра, покорившего жуть,
Через смерти, дожди и увечья
Начинает история путь.
И идет по разбитым шеломам
За атилловой скачкой коня
По преданиям, с детства знакомым
И дряхлеющим у огня.
Низколобый, тупой и упорный,
Он едва ли расскажет кому,
Как стонали подземные горны
И вселенная меркла в дыму.
Как от самой последней границы,
Где огонь разметал волоса,
Отрывались свирепые птицы
И летели гнездиться в леса.
Как лилась раскаленная ворвань
По звериным и птичьим тропам.
Как от стонущей плоти оторван,
Он в жестокие руки попал.
И три ночи металась пещера,
Заболевшая едким огнем.
Человек, толстогубый и серый,
Наклонялся над тонким кремнем.
Неподвижный и чертовски быстрый,
Он следил через бой молотка,
Как растут разноцветные искры
Сквозь змеиную шкуру песка.

И когда на горячем квадрате
Два кремня свой закончили спор,
Он корой примотал к рукояти
Этот первый в эпохе топор.

II

Он идет по косогору
Рыжий, сильный, молодой,
Через реку, через гору,
Через тень и через зной.
Светят звезды паутины,
Блещут радуги стрекоз.
И на солнце греет спину
Низколобый и звериный,
Отдыхающий откос.

Он идет — земля от жара
Стала гулкой и пустой.
Солнце маревом пожара
Наклонилось над землей.
И до белого каленья,
До свирепой седины
Жирных шпатов поколенья
У реки накалены.
Только крикни, только стукни,
Только прыгни не туда,
И глухое небо рухнет,
Расслоившись, как слюда.

Размахнись сильней руками,
Не сдержи движенье ног.
Под ногами вспыхнет камень,
Превращаясь в порошок.
Но заре и солнцу рады
Целый день трубят с плеча
Разноцветные цикады
И степная саранча.

Над сиянием прогалин
В их сиреневой тени
Шлифованием хрусталин
Занимаются они.

И остановив дыханье,
Тормозя движенье век,
Над поющим мирозданьем
Наклонился человек.

III

Ночь подходит к желтым водам,
И по отмели пустой
Полосатый махайродус
Проскользнул на водопой.
Он идет — сухой и четкий,
Подобрав в себя живот.
За кошачьею походкой
Камень выцветший ползет.
В тростнике прибрежном глухо,
Словно в звездной синеве.
И расписанное брюхо
Прижимается к траве.
Щуря острые глазницы,
Как всегда, свиреп и прост,
Зверь ползет, и шевелится
По песку тигриный хвост.
Ветлы стынут в лунном свете,
Светляков в траве не счесть!
И с горы приносит ветер
Оглушительную весть.
Жирной плоти дрожь и запах,
Голубых подпалин пот
В ноздри, в ребра, в зубы, в лапы
Он взволнованно несет.
Опустившись на колени,
Тростником дрожащим скрыт,
Слышит тигр шаги оленьи
И звучание копыт.

Каменистою тропою
Обгоняя звезды вскачь,
Первым сходит к водопою
Коронованный рогач.
И когда, тяжел и прыток,
Закачал он валуны,
Потонул тяжелый слиток
Расколовшейся луны.
Спит по-прежнему долина,
Но над четким тростником,
Развернувшись, как пружина,
Покатился рыжий ком.
А за ним, храня дыханье,
Ширя тьму разгоном век,
Через ночь и мирозданье
Пролетает человек.

IV

Был мамонт стар, но видел он впервой,
Как два комка сцепились в желтых травах,
Как тигр ревел и ширил след кровавый,
И в камни упирался головой.
Был мамонт стар, но слышал в первый раз,
Как рявкнул зверь отрывисто и глухо,
Как смерть вошла в белки открытых глаз
И убрала в грудную полость брюхо.
Как сделал зверь вдруг судорожный прыжок,
И сбрил цветы когтистой лапы расчерк;
Как сухо треснул первый позвонок,
И дрожью отозвался позвоночник.
Как, разрывая горло и язык,
Зверь затрубил в отчаяньи великом,
Но вдруг распался, вытянулся, сник,
Как будто кровью, захлебнувшись криком,
И в такт борьбы качая головой.
Вдруг сбился мамонт, увидав нежданно,
Как рыжая поднялась обезьяна
И волосы поправила рукой.

КОММЕНТАРИИ

В первый том собрания сочинений Юрия Домбровского вошли произведения разных лет, преимущественно — раннего периода творчества писателя. Большинство из них не перепечатывалось с конца 30-х годов.

ДЕРЖАВИН

Первые главы романа публиковались в журнале "Литературный Казахстан" в 1937 году (книги 7 и 8). В 1938 году в том же журнале под названием "Крушение империи" (книги 1-4) публикация была продолжена.

Отдельным изданием "Державин" вышел в 1939 году в Алма-Ате в издательстве КИХЛ.

Роман не окончен.

СМЕРТЬ ЛОРДА БАЙРОНА

Первая публикация новеллы — в журнале "Литературный Казахстан", 1938 год, № 1. До настоящего собрания сочинений больше нигде не печаталась.

АРЕСТ

Впервые рассказ опубликован в историко-библиографическом альманахе "Прометей" в 1969 году.

К. Н. БАТЮШКОВ

Статья напечатана в газете "Казахстанская правда" 30 мая 1937 года. Данная публикация является первой после пятидесятипятилетнего перерыва.

В. КЮХЕЛЬБЕКЕР

Опубликовано в газете "Казахстанская правда" 24 июня 1937 года. С тех пор не перепечатывалось.

"И Я БЫ МОГ..."

Статья опубликована в журнале "Новый мир" в 1975 году, № 12. Первоначальное название — "А был ли заяц?".

ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ НА УЛИЦЕ ГОГОЛЯ

Очерк публиковался в 1973 году в журнале "Простор", № 11. Перепечатывается впервые.

ПОЭТ И МУЗА

Стихотворения

Из всех стихотворений, написанных Ю. Домбровским, при жизни писателя напечатано только одно — "Каменный топор". Публикация состоялась в 1939 году в журнале "Литературный Казахстан".

Лагерная тетрадь писателя начинается стихотворениями "Державин", "Веневитинов", "Гнедич и Семенова", но написаны они, скорее всего, до лагеря. Похоже, неудовлетворенность тем, что ему не дали дописать роман "Державин" и высказать все свои размышления о судьбе поэта, вылилась у Ю. Домбровского в стихи. Может быть, окончательно они были обработаны уже в лагере. Поэзия помогала выживать, размышления о Веневитинове (о нем Ю. Домбровский тоже хотел писать повесть), Гнедиче, Козлове, Клюшникове спасали.

Дата написания того или иного стихотворения автором нигде не указана.

Уже после смерти Ю. Домбровского часть стихотворений опубликована в различных изданиях: журнал "Юность", 1988 год, № 2; сборник лагерной поэзии "Среди других имен" (составитель В. Б. Муравьев); альманах "Конец века".

К. Турумова-Домбровская

СОДЕРЖАНИЕ

Домбровский Ю. О.

Д66 Собрание сочинений: В 8 т. Т. 1. (Ред.-сост. К. Турумова-Домбровская. Худ. В. Виноградов.– М.: ТЕРРА, 1992. – 352 с.

Первый том собрания сочинений Ю. Домбровского составили произведения раннего периода творчества писателя: роман "Державин", рассказы "Смерть лорда Байрона", "Арест", статьи и стихотворения, посвященные русским поэтам XIX века.

ISBN 5-85255-172-4 (т. 1)
ISBN 5-85255-173-2

Д $\frac{4702010200-062}{АЗО (03) -92}$ **Подписное** **ББК 84,Р7**

Юрий Осипович
Домбровский

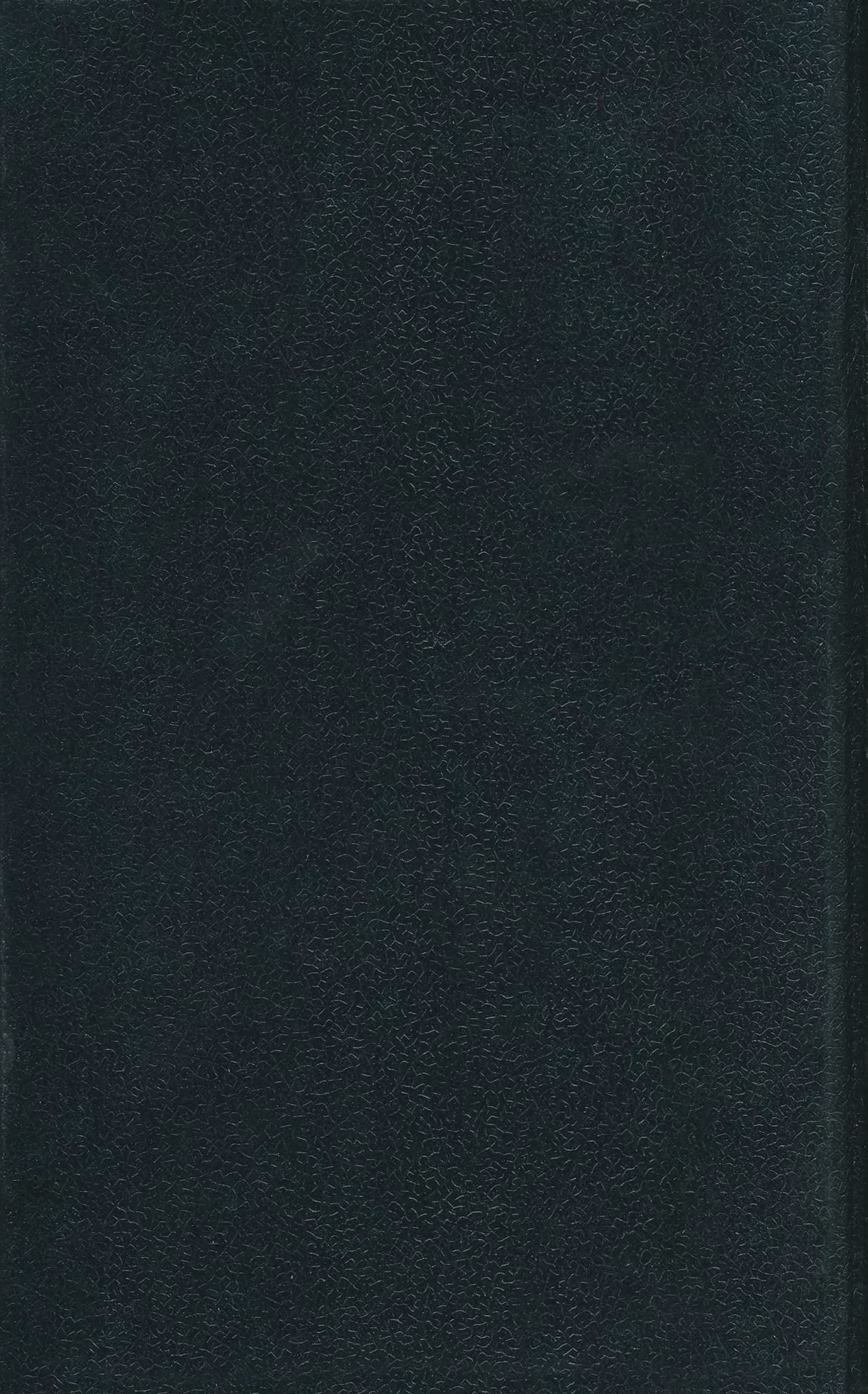
Собрание сочинений
Том первый

Редактор *М. Т. Латышев*
Художественный редактор *И. Е. Сайко*
Технический редактор *З. А. Прусакова*
Корректор *А. В. Пятковская*
Набор выполнен МП "Зодиак"
Оператор набора *О. А. Шеховцова*

Подписано в печать 30.06.92. Формат 84x108 1/32.
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 18,48. Усл. кр.-отт. 18,9. Уч.-изд. л. 16,59.
Тираж 25 000 экз. Заказ 1949.

Ассоциация совместных предприятий, международных объединений и организаций. Издательский центр «ТЕРРА»
109280, Москва, Автозаводская, 10, а/я 73.

Отпечатано с оригинал-макета на Можайском полиграфкомбинате Министерства печати и информации Российской Федерации, 143200, Можайск, ул. Мира, 93.





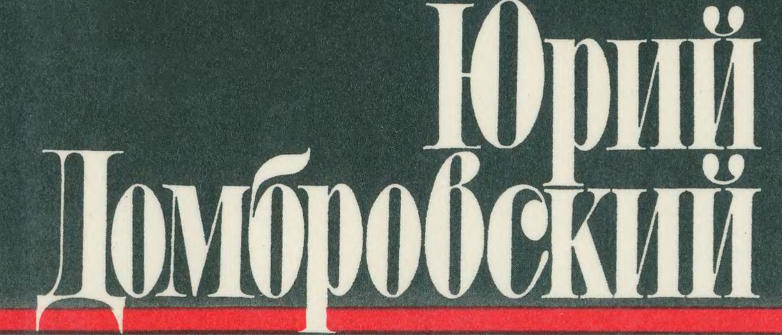
издательский центр
«Терра»

издательский центр
«Терра»



Юрий Домбровский



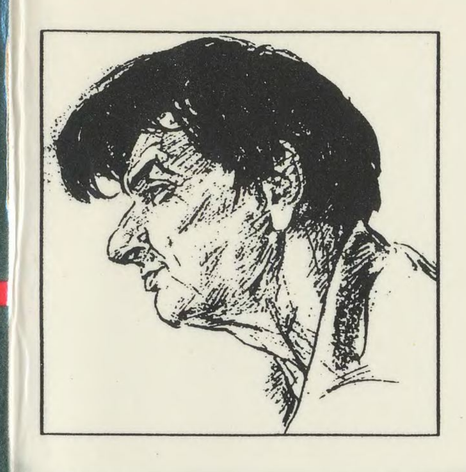


собрание сочинений
в шести томах

том первый

2 3 4 5 6

издательский центр
«Терра»



Я горяч
и в правде черт.

Г. Державин